



Энтони Смит
**национализм
и модернизм**



НОВАЯ НАУКА. ПОЛИТИКИ



Anthony D. Smith

nationalism and modernism

A Critical Survey of Recent Theories
of Nations and Nationalism



London and New York 1998

Энтони Смит

национализм и модернизм

Критический обзор современных теорий
наций и национализма

Праксис
Москва 2004



Данное издание выпущено в рамках проекта «Translation Project» при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса – Россия) и Фонда «Next Page» (Институт «Открытое общество» – Будапешт).

Перевод с английского А. В. Смирнова (гл. 4–9, закл.),
Ю. М. Филиппова (пред., введ., гл. 1),
Э. С. Загашвили (гл. 3), И. Окуневой (гл. 2)

Общая редакция А. В. Смирнова

На обложке: Б. Уэст. Смерть генерала Вульфа. 1770.
Канадский военный музей

Смит Энтони Д.

С 50 Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма / Пер. с англ. А. В. Смирнова, Ю. М. Филиппова, Э. С. Загашвили и др. – М.: Праксис, 2004. – 464 с. – (Серия «Новая наука политики»).

ISBN 5-901574-39-7

В книге профессор Лондонской школы экономики Энтони Д. Смит прослеживает сложную эволюцию представлений о таком противоречивом явлении как национализм. Обзор различных теорий национализма является первым всеобъемлющим теоретическим исследованием проблемы за последние тридцать лет. Книга представляет собой сжатый и сбалансированный путеводитель по дискуссиям о национализме, что делает ее незаменимым чтением для всех, кто заинтересован в получении полного и ясного представления об этом феномене.

ББК 60.5

© 1998 Anthony D. Smith
© 1998 Routledge
© А. В. Смирнов, Ю. М. Филиппов,
Э. С. Загашвили, И. Окунева,
пер. с англ., 2003
© А. Кулагин, оформление обложки, 2003
© Издательская группа «Праксис», 2003

ISBN 5-901574-39-7

Моим студентам,
у которых я многому научился

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	11
Введение. Модернистская парадигма	19
<i>Взлет и упадок национализма?</i>	20
<i>Взлет и упадок модернизма?</i>	21
<i>Задачи и план исследования</i>	26
1 Рождение классического модернизма	30
<i>Истоки классического модернизма</i>	32
<i>Классическая модернистская парадигма национализма</i>	48
Часть I	
Разновидности модернизма	61
2 Культура индустриализма	62
<i>«Нация» и «национализм»</i>	65
<i>Агрописьменные и индустриальные общества</i>	66
<i>От культуры «низкой» к культуре «высокой»</i>	70
<i>Национализм и индустриализм</i>	76
<i>Национализм и «высокие культуры»</i>	81
<i>Национализм и государственное образование</i>	83
<i>Национализм и историческая преемственность</i>	87
<i>Национализм и этническое прошлое</i>	93
3 Капитализм и национализм	97
<i>Империализм и теория неравномерного развития</i>	100
<i>Популизм и романтизм</i>	103
<i>Развитие, порождающее национализм?</i>	108
<i>Социальная основа национализма</i>	112

	<i>Внутренний колониализм</i>	116
	<i>Этнорегионализм</i>	121
	<i>Стратегии «рационального выбора» элиты</i>	127
	<i>Интерес и страсть</i>	131
4	Государство и нация	138
	<i>Источники политического модернизма</i>	138
	<i>Рефлексивное государство</i>	140
	<i>Нация вне государства</i>	143
	<i>Нации и межгосударственный порядок</i>	148
	<i>Государство и война</i>	155
	<i>Политическая теория национализма?</i>	160
	<i>Государство и общество: наведение мостов?</i>	163
	<i>Идентичность и политика</i>	171
	<i>Интеллектуалы и националистическая идеология</i>	175
	<i>Политический модернизм и этническая история</i>	178
	<i>Заключение</i>	182
5	Политическое мессианство	186
	<i>«Политическая религия»</i>	186
	<i>Маргинальная молодежь</i>	188
	<i>Кульм «темных богов»</i>	192
	<i>Милленаристский опиум</i>	196
	<i>Колониализм и интеллектуалы</i>	200
	<i>Милленаризм и прогресс</i>	207
	<i>Религия истории</i>	212
6	Изобретение и воображение	220
	<i>Изобретение наций</i>	221
	<i>Этнический или гражданский национализм?</i>	233
	<i>«Протонациональные» связи</i>	238
	<i>Нация как конструкция?</i>	241

<i>Воображение нации</i>	245
<i>Воображаемое сообщество?</i>	254
<i>Печатный капитализм и репрезентация</i>	257
<i>Массовое самопожертвование</i>	260
 Часть II	
Критики и альтернативы	267
7 Примордиализм и перенниализм	268
<i>Примордиализм I: итоговая приспособленность</i>	269
<i>Примордиализм II: культурные данности</i>	278
<i>Инструменталистская критика</i>	283
<i>Перенниализм I: этническая преемственность</i>	292
<i>Перенниализм II: перенниальная этничность, современные нации</i>	297
<i>Психология этнической принадлежности</i>	303
<i>Древняя нация?</i>	306
8 Этно-символизм	312
<i>«Старые, непрерывные» нации</i>	313
<i>Досовременные нации?</i>	317
<i>Культурный и политический национализм</i>	323
<i>Мифосимволические комплексы</i>	330
<i>Основа возникновения нации</i>	334
<i>Культура и граница</i>	338
<i>«Двойная легитимация»</i>	341
<i>Этнические общности и этносимволизм</i>	347
<i>Истоки и типы нации</i>	351
<i>Обоснованный этносимволизм</i>	356
9 После модернизма?	362
<i>Полиэтничность, прошлое и будущее</i>	362
<i>Постнациональная повестка дня</i>	366

<i>Фрагментация и гибридные идентичности</i>	368
<i>Гендер и нация</i>	373
<i>Либерализм и гражданский или этнический национализм</i>	382
<i>Национализм и глобализация</i>	388
<i>Национальная идентичность и наднационализм</i>	393
<i>После модернизма?</i>	396
Заключение. Проблемы, парадигмы и перспективы	401
<i>Проблемы</i>	401
<i>Парадигмы</i>	403
<i>Перспективы</i>	408
Примечания	414
Библиография	436

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда в 1770 году Бенджамин Уэст работал над своей знаменитой картиной «Смерть генерала Вулфа», его посетили архиепископ Драммонд и сэр Джошуа Рейнольдс, которые предупредили художника о том, чтобы он не изображал сцену смерти генерала Вулфа, если только он не «изобразит героя в античном одеянии, гораздо более соответствующем его величию, чем современная военная форма». На что Уэст, как известно, ответил, что

событие, которое предстояло увековечить, произошло 13 сентября 1758 года [на самом деле 1759 года] в той части света, которая не была известна грекам и римлянам, и в тот период времени, когда ни этих наций, ни их героев в соответствующих одеяниях более не существовало. Сюжет, который я должен изложить, — это завоевание обширной территории Америки британскими войсками... Если вместо реалий этого предприятия я изображу классический вымышленный сюжет, то как меня поймут последующие поколения!

(John Galt, *The Life, Studies, and Works of Benjamin West, Esquire*, London, 1820: 2, 46–50, цит. по: Abrams 1986: 14)

Национализм в западном понимании не является ни исключительно достоянием древних, ни героическим самопожертвованием во имя страны. Это феномен, более характерный для современности, нежели для древнего мира. Как нам известно, когда картина была закончена, Рейнольдс смягчился и предсказал, что работа Уэста «совершит революцию в искусстве». Вряд ли он осознавал, что Уэст был одним из первых художников, изобразивших революцию с точки зрения политического образа и содержания, возвестив о перевороте в обществе, продолжающемся и по сей день.

Безусловно, мы находимся в привилегированном положении потомков, к которым обращались Уэст и все художники той новой эпохи, которую он представлял. В отличие от Уэста, мы видим, что он создал ранний образец одной из величайших опор и сил современности. По сей день, когда мы смотрим на его творение, оно кажется нам столь же старомодным, как и революционным, поскольку за одеждой и военными принадлежностями того времени скрывается Пие-та, религиозный образ умирающего героя, подобного Христу. Работа Уэста, как и «Смерть Марата» Давида, отсылает нас к христианскому прошлому, несмотря на то, что она служит предвестием новой эпохи светского национализма. Возможно, Уэст хочет показать нам, что героическое самопожертвование во имя короля и отчизны — явление столь же древнее, сколь и современное, и что национализм, существование которого во времена художника было уже очевидным и которому предстояло столь широко расцвести в последующие два столетия, суть лишь новое издание чего-то более древнего?

В последние несколько десятилетий этот вопрос о современном или древнем характере наций стал основным в исследовании национализма. Современный рост этнического национализма в разных частях света поставил вопросы об истоках, природе и последствиях национализма еще более остро. Последнее десятилетие ознаменовалось феноменальным ростом национализма и его изучения. После распада Советского Союза образовалось около двадцати новых государств, претендующих на то, что они представляют «нации», угнетавшиеся прежде в империях или федерациях. В бывших СССР, Югославии, Чехословакии и Эфиопии мы стали свидетелями как мирного, так и насильственного вариантов национального отделения, а еще в ряде стран по сей день сохраняется отчетливая возможность дальнейшего разделения и отделения. Повсюду недовольство или более острые проявления движений этнического протеста породили более или менее скрытые — и более или менее безнадежные — восстания и войны, и не составляет никакого труда отыскать

множество примеров непростого сосуществования этнических групп как в старых, так и во вновь образовавшихся государствах по всему миру. В последнее десятилетие этнический национализм не только не проявил тенденции к ослаблению, но, наоборот, распространился шире и мощнее, чем когда-либо после окончания Второй мировой войны.

Такое невиданное возрождение стимулировало также беспрецедентный рост числа исследований феноменов этничности, наций и национализма. Безусловно, значительный массив исследований, посвященных этим явлениям, имел место в 1950–1960-х годах — эпоху деколонизации Азии и Африки. Однако в 1980-е годы внимание исследователей привлекли другие формы идеологии и социальных движений, в частности, различные варианты марксизма и коммунизма. Нация вне связи с государством (в качестве младшего партнера) — в концепции «национального государства» — привлекала к себе мало внимания; национализм, в свою очередь, вызывал гораздо меньший интерес, нежели «класс», «раса» или «гендер». Все изменилось после падения Берлинской стены и распада Советского Союза. С 1990 года хлынул настоящий поток публикаций об этничности и национализме: исследования конкретных примеров, доклады, монографии, учебники и в последнее время хрестоматии, а также работы по более узким темам в рамках этой обширной области. Даже за то время, что я писал заключение к этой книге, появилось несколько новых трудов, таких как «Создание нации» Адриана Гастингса (1997), «Национализм» Крейга Калхоуна (1997), «Археология этничности» Шона Джонса (1997), «Нация и историческая память» Лина Спилмана (1997), «Честь воина» Майкла Игнатъеффа (1998), а также новая хрестоматия по вопросам этнической принадлежности Монтсеррат Гиберно и Джона Рекса (1997), не говоря уже о ряде сборников статей по проблемам наций и национализма. Быть в курсе всех новинок в потоке публикаций в этой области становится практически невозможно.

Несмотря на такую исследовательскую активность, *теория* наций и национализма рассматривается в гораздо меньшей

степени. Действительно, в конце 1970 — начале 1980-х годов наблюдался интерес к построению теорий и рассмотрению общих проблем, но, как я надеюсь продемонстрировать, в наши дни наблюдается отход от попыток всеобъемлющего теоретического рассмотрения вопросов наций и национализма. По сравнению с 1950—1960-ми годами — периодом, которому я уделил внимание в своем первом обзоре теорий национализма, — наблюдается отчетливый рост количества общих подходов и теорий. Однако, учитывая небольшое число общих подходов и теорий в 1950—1960-х годах, выработка оригинальных концепций и подходов все еще выглядит весьма скромно по сравнению с подлинным изобилием других разновидностей исследований в данной области.

Цель данной книги — дать критический обзор современных *объяснительных* теорий и подходов к изучению наций и национализма. Таким образом, данная работа является продолжением моей первой книги «Теории национализма», которая впервые увидела свет в 1971 г. Несмотря на то, что в последнее время было опубликовано несколько статей с обзором новейших теорий национализма, попыток дать теоретический обзор данной области в формате отдельной книги не предпринималось; выдающееся исключение составляют книга Пола Джеймса «Образование наций» (1996), заставляющая о многом задуматься, а также более сжатые оценки некоторых теорий национализма в столь же стимулирующей дальнейшую разработку вопроса книге Томаса Эриксона «Этничность и национализм» (1993). Несмотря на то, что первая глава этой книги посвящена обобщению различных позиций 1960-х годов через рассмотрение необходимого контекста и подоплеку событий, в целом я сконцентрировался на точках зрения, моделях и теориях, появившихся *после* 1970 года — начиная со второй важнейшей работы Эли Кедури («Национализм в Азии и Африке», 1971) и пересмотра Эрнестом Геллнером своей теории в работе «Нации и национализм» (1983) до работы Эрика Хобсбаума «Нации и национализм после 1780 года» (1990) и второго тома труда Майкла Манна «Источники социальной власти» (1993), а также

некоторых попыток «постмодернистского» анализа, принятых в последнее десятилетие. В частности, я намерен детально рассмотреть различные варианты господствующего направления в данной области, а именно «модернистского» подхода к нациям и национализму, в то же время в полной мере принимая во внимание разностороннюю критику модернизма и основные теоретические альтернативы в данной области.

Я не претендую на беспристрастность в оценке различных подходов и парадигм. Надеюсь выделить как сильные, так и слабые стороны в каждом подходе или теории и являясь сторонником теоретической дискуссии, я ни в коей мере не претендую на роль человека, свободного от оценочных суждений в отношении различных рассматриваемых теорий и перспектив. В любом случае, это было бы просто невозможно в области, столь насыщенной глубокими расхождениями во мнениях. Вместо этого, я стремился привить исследователям, незнакомым с данной областью, вкус к полемике и взаимодействию с теми монологическими утверждениями, с которыми они сталкиваются, а также предложить некое подобие карты, которая позволила бы им ориентироваться в этой чрезвычайно смущающей исследователя области интеллектуальной деятельности. Во всех разделах книги я стремился вычленить возможности и проблемы всех крупных подходов, а также некоторые глубинные причины, стоящие за конкретными формулировками и возражениями.

Особенно трудной задачей оказалось писать последнюю главу этой книги. С одной стороны, она может показаться неуместной, поскольку в ней я утверждаю, что за исключением гендерной теории нации, последние постсовременные и постмодернистские подходы избегают великой теории и масштабных нарративов. Однако, не включив в работу анализ самых последних общих тенденций в рассматриваемой области, мы бы сформировали у читателей определенно неполный и, следовательно, односторонний взгляд на современное состояние изучения наций и национализма. С другой стороны, уделив каждой из этих тенденций должное внима-

ние, нам пришлось бы вдвое увеличить объем книги или же написать еще один том. В конце концов, было найдено компромиссное решение, заключающееся в том, чтобы сосредоточиться на четырех основных тенденциях, вкратце описав их достижения, уделяя особое внимание их теоретической значимости или отсутствию таковой в плане общего понимания проблем наций и национализма.

Чтобы не стать чересчур громоздким, труд таких масштабов предполагает выработку определенных четких критериев. Я ограничился главным образом анализом перспектив и теорий *наций и национализма*, концентрируя внимание, в первую очередь, на монографических сочинениях, используя отдельные статьи, только если они представляли более сжатое и доступное выражение той или иной теории. Единственным исключением стала Часть II, разделы по *этничности*, поскольку для примордиалистов, перенниалистов и этно-символистов этническая идентичность и сообщество являются своеобразной отправной точкой и необходимой составляющей теорий наций и национализма. По возможности, я избегал отдельного анализа других важнейших источников деления и идентичности: расового, гендерного, классового и религиозного, — за исключением тех случаев, когда эти источники востребованы самими теориями национализма. Это было сделано не потому, что я считаю это источники неважными или неподходящими, а потому, что глубокое рассмотрение каждого из них *самого по себе* изменило бы изначальную направленность книги, значительно расширив ее масштабы и объем. Поэтому в интересах ясности было необходимо строго придерживаться избранного пути. Аналогично, я опустил множество важных и захватывающих нормативных дискуссий, которые в течение последних десяти лет велись в политологии и теории международных отношений относительно совместимости или, наоборот, несовместимости либеральной демократии с преимущественно мирными формами национализма. Опять же заметим, что ограничения в объеме и желание сосредоточиться на объяс-

нительных теориях не позволили нам рассмотреть эти дискуссии.

Я в полной мере осознаю, что в этой книге есть множество других опущений, некоторые из которых я кратко упоминаю в тексте или сносках. Взаимоотношения между национализмом и такими перспективными для изучения областями, как миграции, диаспоры, постколониализм, неофашизм, геноцид, этнические чистки, права этнических меньшинств и мультикультурализм — все эти широко обсуждаемые сегодня темы я вынужден был оставить в стороне. Мои оправдания, помимо соображений объема книги, двояки. Во-первых, я полагал, что серьезное рассмотрение этой проблематики отвлекло бы внимание от основной задачи этой книги — описания и оценки объяснительных теорий наций и национализма. Во-вторых, хотя исследования этих вопросов являются важными и чрезвычайно ценными сами по себе, совсем не очевидно, что они могут способствовать объяснению истоков, развития и природы наций и национализма или стремиться к этому. Поэтому представляется правильным исключить их из данного теоретического обзора.

Я также в полной мере осознаю, что не смог уделить должного внимания всем теориям, рассматриваемым в этой книге, и справедливо оценить взгляды некоторых авторов. Я вынужден был проявлять избирательность и сконцентрировал свое внимание на главных представителях всех крупных подходов в данной области. Если же это привело к тому, что некоторые работы были рассмотрены мною поверхностно или бегло, что практически неизбежно в столь быстро развивающейся области, то я надеюсь, что их авторы согласятся принять мои извинения за эти упущения, а также за любые ошибки, ответственность за которые я целиком и полностью возлагаю на себя.

Данная книга прежде всего рассчитана на читателей, не знакомых с исследуемой областью. Я признателен своим студентам, которые и в хорошие, и в трудные времена обсуждали вместе со мной многие из рассматриваемых в этой книге вопросов в наших увлекательных и плодотворных дискуссиях.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ях на семинаре по этничности и национализму в рамках магистерского курса по национализму, на конференциях и семинарах, организованных Ассоциацией изучения этничности и национализма при Лондонской высшей школе экономики. Им я посвящаю эту книгу, с надеждой, что мы сможем продолжить поиск ответов на вопросы, поставленные фундаментальными проблемами наций и национализма.

Энтони Д. Смит
Лондонская школа экономики
ноябрь 1997 г.

ВВЕДЕНИЕ

МОДЕРНИСТСКАЯ ПАРАДИГМА

Одно-единственное явление красной линией проходит через всю новейшую историю — от падения Бастилии до падения Берлинской стены. Возникая спорадически в Англии и Голландии шестнадцатого и семнадцатого веков, оно расцветает во Франции и Америке в конце восемнадцатого века. Многократно разделяя страны и народы, оно охватывает Центральную и Латинскую Америку, выплескивается через Южную, Центральную, Восточную, а затем и Северную Европу в Россию, Индию и на Дальний Восток, а затем продолжает свой путь во многих обликах по Ближнему Востоку, Африке, Австралии и Океании. Следом за ним идут протест и террор, война и революция, объединение немногих и изгнание многих. Наконец, по мере того, как мир развивается, эта красная линия становится прерывистой, фрагментированной, исчезающей.

Имя этому явлению — национализм, и его история является той тонкой нитью, которая связывает и одновременно разделяет народы в современном мире. Несмотря на то, что национализм существует во многих формах, он все равно остается этой связующей нитью. История его развития — это история возникновения и упадка, роста и угасания наций и национализма. Историки могут расходиться в определении точной даты рождения национализма, но представителям социологии кажется очевидным: национализм — это современное движение и идеология, которое возникло во второй половине восемнадцатого века в Западной Европе и Америке и которое, достигнув своего апогея в двух мировых войнах, начинает клониться к упадку, открывая дорогу новым глобальным силам, выходящим за рамки национальных государств.

ВЗЛЕТ И УПАДОК НАЦИОНАЛИЗМА?

В начале национализм был объединительной и освободительной силой. Он разрушал замкнутые территориальные образования, основанные на общности религии, диалекта, обычаев или клановой близости и способствовал созданию обширных и мощных национальных государств с централизованными рынками, администрацией, системами налогообложения и образования. Заряд национализма носил массовый и демократический характер. Он наступал на феодальные порядки и жестокие имперские тирании, провозглашая суверенитет народа и право всех народов самим определять свою судьбу в рамках своих собственных государств, если они того пожелают. На протяжении девятнадцатого и значительной части двадцатого века национализм появлялся там, где национальная элита боролась за свержение имперской и колониальной администрации; этот процесс был столь мощным, что порой он казался неотделимым от народной демократии. Но уже к середине и концу девятнадцатого столетия имперские и колониальные власти нашли способ, как отделить национализм от его демократической основы; концепции «официального национализма» в царской России, Османской империи и Японии эпохи Мэйдзи выявили известную пластичность национальных чувств, традиций и мифов, а также искажения этой красной линии (Anderson 1991, ch. 6; Андерсон 2001, гл. 6).

Однако худшее было еще впереди. Широкомасштабный массово-демократический национализм начала девятнадцатого века дополнился рядом менее значительных «мини-национализмов» во главе с интеллектуалами, апеллировавшими к языковым и культурным различиям. Их успехи, следовавшие после Версальского мира, видоизменили карту Европы, но, что еще более важно, стали предзнаменованием складывания мира самодостаточных и уверенных в своих силах этнических наций. Они, в свою очередь, отошли в тень под влиянием более страшных форм национализма, апеллировавших к понятию «расы» — к форме черепа, крови и ге-

нам, — а также к насилию и культу жестокости, колыбели фашизма. В последовавших за этим сначала в Европе, а затем и по всему миру, потрясениях проходящий повсюду красной линией национализм смешался с темными силами фашизма, расизма и антисемитизма, что привело к ужасам Холокоста и Хиросимы.

В результате возникшего после этого, по крайней мере, в Европе отвращения к национализму у многих людей появилось стремление положить конец междоусобным конфликтам и создать наднациональный континент, свободный от национальных разделительных линий. Давняя вера в единство и превосходство нации и ее государства была поколеблена, а новые поколения на Западе, привыкшие к путешествиям, присутствию мигрантов и смешению культур более не чувствовали силу вековой национальной памяти, традиций и границ. Безусловно, в других частях света красные линии национализма все еще определяют жестокие антагонизмы этнического размежевания, которое угрожает взорвать хрупкое единство новых территориальных государственных образований. Но даже в Азии, Африке и Латинской Америке былая вера в массовую политическую нацию постепенно ослабевает под влиянием экономических и политических реалий крайне неравного разделения труда, мощи транснациональных сил и этнического размежевания внутри государств. В этом отношении только развитые индустриальные общества являют собой пример будущего развития мира, когда нации и национализм будут восприниматься как временные силы, быстро становящиеся ненужными в мире широких транснациональных рынков, центров силы, глобального консюмеризма и массовых коммуникаций (Horsman and Marshall 1994).

ВЗЛЕТ И УПАДОК МОДЕРНИЗМА?

Наряду с постепенным распадом уз нации в умах и сердцах многих ее представителей происходила эволюция в исследованиях и построении теорий национализма. Идея о том, что

нации являются реальными образованиями, укорененными в истории и общественной жизни, что они гомогенны, едины и представляют основные социальные и политические силы в современном мире — все это более не кажется столь же справедливым, как это было тридцать и даже еще двадцать лет тому назад.¹

В середине 1970-х годов, как собственно и до конца 1960 — начала 1970-х годов, господствовал оптимистический и реалистический взгляд на проблемы наций и национализма. Какими бы не были различия между исследователями и теоретиками национализма по другим вопросам, они сходились в признании психологического влияния и социологической реальности наций и национальных государств. Исследователи говорили о необходимости «построить» нацию при помощи таких приемов, как коммуникации, урбанизация, массовое образование и участие в политической жизни — то есть в значительной степени так же, как можно говорить о постройке машин или зданий с помощью дизайнерских приемов и технических средств. Это был вопрос институционализации, выработки необходимых норм, воплощенных в соответствующих институтах, чтобы можно было получать качественные копии западной модели гражданской нации, характеризующейся активным участием граждан в общественной жизни. Это стало техническим вопросом выбора подходящих рецептов национального развития, обеспечения сбалансированного и разностороннего экономического роста, открытых каналов общения и самовыражения, хорошо организованного и отзывчивого населения, а также зрелых и гибких элит. Это был путь воспроизведения доказавшей свою успешность модели западного национального государства в бывших колониях в Африке и Азии.²

В конце 1980-х и 1990-х годов такой оптимизм уже казался трогательно наивным. Не только прежние демократические мечты азиатских государств не были реализованы, но и развитые страны Запада столкнулись с негативными проявлениями этнического недовольства и размежевания, а на Востоке гибель последней великой европейской многонацио-

нальной империи способствовала распаду космополитической мечты о братстве на отдельные этнонациональные составляющие. Мощные волны иммиграции и значительный рост в области коммуникаций и информационных технологий поставили под вопрос прежнюю веру в возможность существования политической нации с гомогенной национальной идентичностью, которая могла бы служить моделью «здорового» национального развития. В результате старые модели отвергаются, как и, в значительной степени, сама породившая их парадигма национализма. Выходя за рамки старой парадигмы, новые идеи, методы и подходы, которые, впрочем, с трудом можно считать новой парадигмой, но, тем не менее, разлагающие установившиеся общепринятые представления, поставили под сомнение саму идею единой нации, обнажив фиктивную основу этого понятия в трудах его сторонников. Деконструкция понятия «нация» предвещает и конец соответствующей теории национализма.³

Парадигма национализма, пользовавшаяся столь широким признанием до самого последнего времени, — это парадигма *классического модернизма*. Это концепция, утверждающая, что нации и национализм внутренне присущи самой природе современного мира и революциям новейшего времени. Она получила свое каноническое определение в 1960-х годах, прежде всего, в рамках модели «строительства нации». Эта модель получила широкое распространение в общественных науках вследствие мощного антиколониального движения в странах Азии и Африки и оказала заметное влияние на политических деятелей Запада. Однако модель строительства нации, хотя она и является наиболее известной и очевидной, ни в коей мере не была единственной, не говоря уже о том, чтобы быть наиболее утонченной или убедительной версией модернистской парадигмы наций и национализма. После нее возникло множество других, более полных и разработанных моделей и теорий, которые, тем не менее, все соглашались с основными положениями классического модернизма. Лишь в 1970–1980-х годах были предприняты попытки критики, поставившей под сомнение основные по-

сылки этой парадигмы и вместе с ней — модель строительства нации. Эта критика показала нацию, с одной стороны, как изобретенную, воображаемую и гибридную категорию, а, с другой стороны, — как современную версию более древних и базовых социальных и культурных сообществ. Как мы увидим далее, история развития и упадка самих наций и национализмов в современном мире отражается в последовательной смене господствующих парадигм наций и национализма в совокупности со всеми связанными с ними теориями и моделями.

В течение последних тридцати лет наблюдается расцвет исторических, сравнительных и узко-предметных исследований национализма, которые продолжали, но также и вышли за рамки предшествующих исторических исследований националистической идеологии.⁴ Несмотря на то что *теория* наций и национализма рассматривалась в меньшей степени, в этой области также появились несколько важных новых подходов и моделей «национализма вообще». Вместе взятые они бросили вызов прежним органическим и «эссенциалистским» представлениям о нации, а также усовершенствовали и вывели общую модернистскую парадигму за рамки классического понимания модели «строительства нации» образца 1960-х годов. Эти подходы и теории отличают несколько характерных черт, безоговорочно признаваемых большинством исследователей и теоретиков последних тридцати лет. Они включают:

- 1 признание силы и непредсказуемости национализма, идею о том, что националистическая идеология и националистические движения являются одной из ведущих сил в современном мире; поскольку они принимают множество форм, невозможно предсказать, где и когда они проявятся;
- 2 с другой стороны, понимание проблематичности самой концепции нации; сложно точно сформулировать понятие «нация», дать точные определения. Вместе с тем признается, что исторически существующие нации являют-

- ся социологическими сообществами, обладающими значительным влиянием и мощью;
- 3 признание исторической специфичности наций и национализма. Это феномены, характерные для конкретного периода в истории, эпохи нового и новейшего времени, и только с окончанием этой эпохи нации исчезнут;
 - 4 растущий интерес к социально обусловленному качеству всех коллективных идентичностей, включая культурные идентичности и, следовательно, понимание нации как культурного конструкта, выкованного и спроектированного различными элитами с целью удовлетворения определенных нужд или специфических интересов;
 - 5 и, следовательно, приверженность к социологическим приемам объяснения, выводящим нации и национализм из социальных условий и политических процессов нового и новейшего времени, с соответствующей им методологией социологического модернизма и презентизма с опорой на данные, характерные главным образом для недавнего прошлого или современности.⁵

Конечно же, не все сторонники рассматриваемых теорий, даже среди мнимых модернистов, разделяют все эти положения. Однако существует четкое единство среди многих теоретиков в отграничении господствующей парадигмы модернизма от ее критиков. То, что объединяет эти характеристики вместе взятые, — это глубокая убежденность в реальности роста и упадка мощного, но исторически специфического и проблематичного феномена, эра господства которого берет свое начало с революций нового времени, а в наши дни постепенно подходит к концу. И на этом фоне, заслоня собой реальность, проявляется рост и постепенный упадок интеллектуального отражения этой эпохи, господствующей парадигмы современной нации, классического модернизма.

ЗАДАЧИ И ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ

Эта книга почти целиком посвящена росту и предрекаемому упадку этой господствующей парадигмы наций и национализма. В ее замысел входят четыре главные цели. В первую очередь, книга задумана для рассмотрения основных положений классического модернизма и описания его многочисленных вариантов и форм посредством анализа подходов и теорий некоторых ведущих его представителей. Во-вторых, исследование содержит критику этих подходов и теорий изнутри, используя их собственную терминологию и, таким образом, дает оценку сильных сторон и ограничений парадигмы, разделяемой всеми ими. В-третьих, в книге рассматриваются и оцениваются некоторые альтернативы, предложенные основными критиками классического модернизма. Лишь немногие из этих критиков полностью отвернулись от господствующей парадигмы; большинство восприняли одни ее положения, отвергнув при этом другие и дополнив их идеями, заимствованными из перенниалистской парадигмы. Наконец, в работе предпринята попытка рассмотреть некоторые новые явления в данной области, составить своеобразный баланс, чтобы определить, где мы находимся с точки зрения теории национализма, и наметить возможные продуктивные направления дальнейших исследований, способные обеспечить прогресс в этой области.

Книга делится на две части. Первая посвящена различным вариантам и проблемам модернистской парадигмы, вторая — ее критике и предлагаемым альтернативам.

Часть I исследует классическую парадигму и ее варианты. В первой главе кратко описывается развитие классического модернизма, то, как он потряс прежние идейные установки и ограничения концепции органической нации, а затем обрел основные черты своей классической парадигмы, достигшей апогея в 1960-х годах.

Последующие главы посвящены анализу основных разновидностей этой парадигмы в 1970—1980-х годах. Они включают:

- социокультурную версию, связанную с поздними взглядами Эрнеста Геллнера, которая соединяет нацию и национализм с потребностями выработки «высокой культуры» для нужд модернизации и промышленного развития;
- социальноэкономические модели Тома Нейрна и Майкла Хечтера, выводящие национализм из соображений рациональной эксплуатации мировой экономики и социально-экономических интересов индивидов;
- более сфокусированные на политических процессах версии таких теоретиков, как Чарльз Тилли, Энтони Гидденс, Майкл Манн и Джон Бройи, которые рассматривают взаимоотношения национализма с источниками власти, особенно пристально с войной, а также с элитами и современным государством;
- идеологические версии Эли Кедури, а из более современных авторов — Брюса Капферера и Марка Юргенсмайера, которые склоняются к рассмотрению национализма как системы убеждений, суррогата религии или светской религии, и связывают его зарождение и мощь с изменениями в сфере идей и убеждений.

Заключительная глава первой части продолжает тему развития классического модернизма как бы за его рамками. Важнейшие теории, принадлежащие Эрику Хобсбауму и Бенедикту Андерсону, могут рассматриваться и как марксистская разновидность классического модернизма, и как выходящие за рамки некоторых положений этой парадигмы. Понятия «изобретенных традиций» (Хобсбаум) и «воображаемого сообщества» (Андерсон) нации стали почвой для более радикальных «постмодернистских» концепций, в которых идея национальной принадлежности рассматривается как чрезвычайно проблематичная и распадающаяся на составляющие ее нарративы.

Во второй части книги рассматриваются различные направления критики классического модернизма и его новейшие формы. Варианты критики модернизма простираются от умеренной «внутренней» критики до радикальной «внеш-

ней». В последней наиболее важными являются образцы, выделяющие «примордиальные» качества наций и национализма, включая социобиологические версии, представленные Пьером Ван ден Берге, интерес к произведениям которого в последнее время вновь возрос, и культурный примордиализм, ассоциирующийся с именем Клиффорда Гирца, который подвергся критике со стороны таких «инструменталистов», как Пол Брасс. Менее радикальный отход от модернистских положений представлен фигурами вроде Уокера Коннора, Дональда Горовитца и Джошуа Фишмана, которые выделяют психологические родственные компоненты этничности и этнонационализма. Другая группа критиков представлена Джоном Армстронгом и Стивеном Гросби, которые подвергают сомнению принадлежность наций исключительно к новому и новейшему времени, возрождая тем самым дискуссию о «вечном» характере наций.

Вторая глава Части II продолжает дискуссию о существовании наций до нового времени и посвящена рассмотрению трудов таких историков, как Хью Сетон-Уотсон, Дорон Мендельс, Адриан Гастингс и Сьюзен Рейнольдс, которые вновь обратились к доказательствам существования наций до нового времени, таким образом, стремясь отделить понятие «нация» от понятия «модернизация». Затем следует анализ моей совместной работы с Джоном Хатчинсоном и Джоном Армстронгом. Авторы подчеркивают культурную и «этно-символическую» природу этничности и национализма. Хотя авторы придерживаются более феноменологического подхода и разделяют убеждение Барта относительно роли символов и мифов в поддержании этнических границ или же в иных случаях придерживаются более структуралистского и этно-исторического подхода к образованию наций, они критически относятся к тому, что называют неспособностью модернизма заметить повторяемость этно-символических уз и обосновать понимание современных наций при помощи концепции большой длительности (*longue durée*), а также более ранних этнических мифов, воспоминаний, символов и традиций.

Заключительная глава второй части представляет собой критический очерк, посвященный некоторым новейшим концепциям в рассматриваемой области, включая попытки исследования фрагментации и чрезвычайно гибридного характера национальной идентичности, а также использование понятия «ситуативной» этничности; феминистские исследования гендерных аспектов национальных проектов, женская символика нации и отношения гендера и этничности; также рассматриваются дискуссии о гражданской или этнической природе национализма и его взаимоотношениях с либеральной демократией и дискуссии о распаде национальных государств в «наднациональную» эпоху и век глобализации. Все эти построения оцениваются не столько с точки зрения их внутреннего содержания, сколько исходя из их теоретического вклада в общее понимание наций и национализма, и в этом отношении их можно считать ограниченным и частичным расширением или попыткой ревизии модернизма.

Краткое заключение призвано вычленить основные теоретические проблемы и подчеркнуть, что, хотя возможность создания единой теории столь сложного и раздробленного предмета представляется маловероятной, в некоторых направлениях был достигнут значительный прогресс, что привело к обогащению и углублению понимания такого неуловимого и многообразного феномена, как национализм. По крайней мере, мы можем рассматривать некоторые комбинации элементов господствующей парадигмы в данной области, которые, в свою очередь, могут стать основой для создания полезных исторических и сравнительных исследовательских программ, призванных разъяснить сложные проблемы в данной области.

1 РОЖДЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО МОДЕРНИЗМА

Три основные проблемы занимали теорию наций и национализма.

Первая проблема — этическая и философская. Она связана с ролью нации в человеческих взаимоотношениях. Должны ли мы рассматривать нацию как самоцель, абсолютную ценность, несопоставимую со всеми остальными ценностями? Или, возможно, нацию и национальную идентичность следует понимать как ключ к постижению других целей и ценностей общества, как непосредственно данную ценность, которая, таким образом, зависит от времени, места, контекста и, в особенности, от конкретных условий нового времени?

Вторая проблема носит антропологический и политический характер. Она связана с социальным определением нации. Какого рода сообществом является нация, и каково отношение отдельного индивида к этому сообществу? Является ли нация по своему характеру фундаментально этнокультурным явлением, общностью по (реальному или вымышленному) происхождению, члены которой от рождения связаны между собой узами родства, общей историей и одним языком? Или же нация преимущественно представляет собой социально-политическое сообщество, основанное на общности территории проживания, на праве гражданства и общих для всех законах, по отношению к которому люди свободны выбирать, принадлежат они к ней или нет?

Третья проблема — историческая и социологическая. Она связана с определением места нации в истории человечества. Должны ли мы считать нацию древним и занимающим особое положение сообществом, укорененным в длительной истории общих уз и культуры? Или, возможно, нации следует рассматривать как современные социальные конструкции

или культурные артефакты, однажды образовавшиеся и подверженные изменениям, как типичные проявления определенной стадии исторического развития и специфических условий нового времени? Исходя из такой точки зрения, нации неизбежно исчезают, когда эта историческая эпоха вместе с характерными для нее специфическими условиями проходит.

Эти три проблемы и связанные с ними дискуссии постоянно возникают при исследовании наций и национализма. Как и следовало ожидать, различные дискуссии часто сталкиваются и переплетаются между собой, а их участники нередко занимают четкие позиции по какому-либо вопросу только для того, чтобы неожиданно «повернуть» в другую «сторону» в тех или иных дебатах. Так, например, нередко утверждается, что нации являются древним и периодически повторяющимся, хотя и служащим другим целям феноменом, или, наоборот, что нации являются социально-политическими сообществами, но составляют при этом абсолютные ценности. Более того, третья проблема наций и национализма и связанная с ней дискуссия затрагивают два независимых друг от друга вопроса: проблему древности или современности нации в истории и вопрос о ее естественном или социально сконструированном характере. Как будет показано далее, такое наложение проблем делает затруднительным всякую попытку дать простую характеристику трудам тех или иных исследователей или классификацию основных подходов и теорий в данной области. Тем не менее, различные исследовательские работы и теории достаточно последовательны, чтобы предложить общую схему их классификации, основанную на последней из указанных выше проблем. Подобная классификация выявляет основные направления дискуссий в данной области в последние десятилетия, будучи, вместе с тем, лишь попыткой приблизиться к пониманию логики, стоящей за конкретными подходами и теориями.

ИСТОКИ КЛАССИЧЕСКОГО МОДЕРНИЗМА

Ранние предшественники

Ранние исследователи проблем национализма в действительности благополучно объединяли эти проблемы, смешивая представления об эволюционном развитии наций с некоторым волюнтаризмом, а указание на важность активной политической позиции — с чувством глубоких этнокультурных корней наций. Так, Мишле рассматривал нацию как лучший способ защиты индивидуальной свободы в эпоху всеобщего братства. Великая Французская революция ввела в руссоистскую религию патриотизма с ее представлением о «Человеке, по-братски относящемся к другим людям перед лицом Бога» идею о Франции как «общем детище наций», окруженной такими дружественными странами, как Италия, Польша и Ирландия, национализм в которых относился к той же группе характерных для Европы явлений, что и «Молодая Италия» Мадзини. В то же время, Мишле разделял натуралистский взгляд Сийеса и других мыслителей, для которых нации существовали вне социальных и законодательных рамок, будучи частью природы.¹

С другой стороны, для Лорда Актона главным был этический вопрос: до какой степени (французская) теория национального единства «делает национальность источником деспотизма и революции», в то время как (английская) теория национальности, основанная на представлениях о свободе воли и апеллирующая к Славной революции 1688 года, рассматривает нацию как «оплот самоуправления и первый предел, положенный чрезмерной власти государства». По Акто-ну, континентальный идеалистический взгляд на

национализм не имеет в виду ни свободу, ни благосостояние: и то, и другое принесено им в жертву повелительной необходимости сделать нацию шаблоном и мерилom государственности. Его путь будет отмечен как вещественными, так и нравственными руинами, и все

во имя того, чтобы новый вымысел восторжествовал и над трудами Господними, и над интересами человечества.

(Актон 1948: 166–195; Актон 2002: 51)

Консервативный анализ Актона, тем не менее, оправдывает существование многонациональных империй, таких как империя Габсбургов, на том основании, что, в отличие от национальных государств, они могут «удовлетворить различные народы». Приверженность Актона к разнообразию не похожа на позиции Мозера и Гердера, а в своей вере в свободу Актон близок к Джону Стюарту Миллю, являвшемуся сторонником права наций на самоопределение и коллективного волюнтаризма.²

Вероятно, наиболее значительным среди ранних примеров анализа данной проблематики является лекция Эрнеста Ренана 1882 года, направленная против воинствующего национализма Генриха Трейчке. Ренан сочетает признание этнокультурного характера образования современной ему Европы в течение большой длительности (*longue durée*) с верой в активную политическую позицию членов нации. Ренан начинает с противоположности, имеющей длительную предысторию – противоположности между слиянием «рас» в западноевропейских нациях и сохранением этнической определенности в Восточной Европе. Во Франции уже к десятому столетию исчезли представления о какой бы то ни было разнице между галльским и франкским населением; Ренан фиксировал в современной ему ситуации совместный опыт и общие воспоминания (наряду с коллективным забвением отдельных эпизодов) членов нации, что делает нацию

душой, духовным принципом... Нация – это великая солидарность, созданная ощущением жертв, принесенных в прошлом и тех, которые еще предстоит понести в будущем. Нация предполагает наличие прошлого, но она продолжается и в настоящем за счет осязаемого факта – согласия, ясно выраженного стремления продолжать

жизнь вообще. Существование нации — это волеизъявление, совершаемое каждый день, так же как существование индивида есть постоянное подтверждение жизни.
(Renan 1882, цит. по: Kohn 1955: 135–140)

В этих ранних комментариях о принципе национальности, написанных исходя из специфических политических целей, не содержится стремления создать общую теорию, применимую во всех случаях или способную связно и систематически разрешить противоречия в каждой конкретной ситуации. Это стало делом следующего поколения. К концу девятнадцатого столетия, когда понятие «нации» часто стало заменяться понятием «расы», появились более широкие и вместе с тем редукционистские схемы. Расистская схема биологической борьбы за господство между органическими нациями, основанная на признаке общности расы, была лишь одной, хотя и наиболее заметной и влиятельной из них. Даже марксисты не были свободны от ее влияния, несмотря на свое официальное инструменталистское отношение к национализму. Оценивая национализм в целом с точки зрения своих революционных целей, Маркс и Энгельс также находились под влиянием наследия немецкого романтизма и гегельянства с характерным для них вниманием к значению языка и политической истории для создания национальных государств и враждебным отношением к небольшим, исторически не значимым, а также отсталым, нациям. Последователи Маркса и Энгельса восприняли их презрительное отношение к «неисторическим нациям», придавая тем самым концепции нации некоторую историческую и социологическую независимость и размывая четкую связь национальности с развитием капитализма и правящих буржуазных классов.³

Мы встречаем подобную амбивалентность применительно ко всем трем важнейшим аспектам — этическому, антропологическому и историческому, — в работах австромарксистов, в частности, Отто Бауэра. С одной стороны, Бауэр прослеживает длительную эволюцию европейских наций от их

этнических истоков и образования классов до складывания «общности характера». С другой стороны, он и его сторонники полагали, что можно воздействовать на характер национальной и интернациональной эволюции при помощи активного политического вмешательства, которое отделило бы принцип культурной национальной принадлежности от территориального расположения и политических прав. В этой концепции принцип национальности является одновременно и абсолютной, и конкретной ценностью, и естественной этнокультурной общностью, и классовой социальной категорией. Организовав нации в рамках многонационального государства, можно будет как сохранить их уникальный исторический характер, так и обеспечить, чтобы они способствовали более глубокой общественной интеграции и реализации принципов социальной свободы и всеобщего благосостояния.⁴

Подобные перемены смысла и непоследовательность можно встретить даже в трудах самих националистов. Действительно, некоторые из них до конца следовали принципам немецкого романтизма и стали настоящими органицистами, убежденными в цельности, древности и даже биологической природе наций. Другие были менее последовательными, полагая вслед за Мадзини, что, хотя география, история, этническое происхождение, язык и религия в наибольшей мере определяют характер и положение нации, политические действия и мобилизация населения все же необходимы для того, чтобы нация «пробудилась» и вернулась к выполнению своей священной миссии. В этот ранний период подобные дилеммы эволюции и вмешательства в ее ход, «структуры» и «действия» были для националистов столь же острыми, как и для коммунистов.⁵

Интеллектуальные основания

Именно в этот период, на рубеже XX века, формируются интеллектуальные основания классической модернистской парадигмы национализма. В широком смысле существовали

четыре основные направления влияния: марксизм, психология толпы, а также два течения, связанные с именами Вебера и Дюркгейма. Рассмотрим вкратце вклад каждого из этих направлений в формулирование последовательного модернистского подхода к пониманию наций и национализма.

- 1 Важно отметить в начале, что все эти традиции касались анализа наций и национализма лишь периферийно. В случае с марксизмом интерес к данной проблематике может быть отнесен к раннему периоду, ознаменовавшемуся деятельностью основоположников этого направления, хотя в 1848 году национализм был уже влиятельной, хотя и ограниченной, силой в Европе. Отсутствие интереса к данной проблематике должно быть, вероятнее всего, отнесено на счет сознательного решения как основоположников марксизма, так и их последователей в контексте их выступлений против немецкого идеализма отодвинуть культурное влияние и влияние окружающей среды на второй план, концентрируя внимание на объяснении роли экономических и классовых факторов в эволюции человечества. В свою очередь, это означало, что, принимая во внимание объяснительную роль классовых конфликтов и противоречий, характерных для способов производства в рамках сменявших друг друга стадий исторического развития, этническим и национальным принципам и феноменам неизбежно отводилась вторичная или даже вспомогательная роль. В лучшем случае они воспринимались как своеобразные катализаторы событий или способствующие (или препятствующие) факторы, но не как основная причина явлений. Такое представление также дополнялось важнейшим этическим соображением. Принимая во внимание такую естественную черту человеческой эволюции, как саморазвитие через ряд стадий политической революции, а также фундаментальное значение классовых конфликтов при формировании революционной ситуации, для каких-то иных факторов просто не оставалось места, особенно для тех, которые могли бы

стать помехой или повлечь за собой отклонение от главного направления «хода истории», за исключением тех случаев, когда они способствовали бы ускорению этого развития в специфических условиях. Именно в таких обстоятельствах марксисты определяли конкретные националистические движения, характеризуя их «прогрессивный» или «регрессивный» характер по отношению к конкретной революционной ситуации. Исходя из такой перспективы, Маркс и Энгельс положительно оценивали польский и ирландский национализм, поскольку они ослабляли соответственно царский феодальный абсолютизм и британский капитализм и приближали тем самым наступление следующей стадии исторической эволюции. В то же время националистические движения среди «отсталых» небольших наций западных и южных славян вызвали у них только презрение или осуждение, поскольку, как полагали основоположники марксизма, они отвлекали буржуазию или пролетариат от их исторического предназначения в развитии Европы (Cummins 1980; Connor 1984).

Ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин, ни Сталин, ни Люксембург или Каутский не пытались создать теорию или модель наций и национализма *как таковую*. Так было не только потому, что сами эти феномены рассматривались ими с подозрением, если не с откровенной враждебностью, даже теми, кто признавал их политическое значение, но и потому что «наука», которой они занимались, была тесным образом связана со специфической картиной мира и политической стратегией, стремившейся свети все явления, по крайней мере, на уровне объяснения, к их экономическому базису, выводя культурные и политические особенности и движения из классовой принадлежности в рамках специфической стадии развития способа производства. Именно в данном контексте получил известность ассоциирующийся с марксизмом «формализм», заключающийся в представлении о том, что нации обеспечивают форму и внешний вид, в то время как клас-

совые образования со своей идеологией составляют содержание и цели, к которым стремится следующая стадия исторического развития. Такой тип редукционистского объяснения наложил заметный отпечаток на некоторые последующие подходы к изучению национализма, даже в тех случаях, когда их носители не разделяли более общее представление о мире и стратегию, в рамках которых это объяснение существовало, и даже когда исследователи избегали крайних форм экономического редукционизма и идеологического формализма, свойственного некоторым последователям Маркса.⁶

Столь же значимыми для наследия ранней марксистской традиции являлись ее историческое и общемировое значение, а также ее европоцентризм. Для Маркса, Энгельса, Ленина и их последователей нации и национализм — это явления, неотъемлемо присущие развитию капитализма нового времени. Они рассматриваются одновременно как проявления потребности европейского капитализма в еще более обширных рынках и торговых объединениях и растущего разрыва между капиталистическим государством нового времени и буржуазным гражданским обществом с одной стороны и нивелированием промежуточных институтов между государством и гражданином, характерным для развитого абсолютизма, с другой. Безусловно, марксисты не ограничивались только этими вопросами, и они остались относительно неразработанными в ранних марксистских сочинениях. Однако можно с уверенностью утверждать, что с повторным обращением к ранним работам Маркса, связанным с наследием Гегеля и младогегельянства, эти вопросы вновь стали приобретать большое значение по мере того, как все большее число исследователей обращали свое внимание на теорию национализма. Аналогично, наблюдающийся в наши дни интерес к концепции «глобализации», которая частично берет свое начало в интересе марксизма к развитию позднего капитализма, оказывается все более связанным с ролью национальных государств и национа-

лизм в развитом индустриальном обществе и сам по себе вновь делает актуальным западный и модернистский уклон, характерный для марксистской традиции (Davis 1967; Avineri 1968; Nairn 1977).

- 2 Влияние второй традиции психологии толпы и поздних работ Фрейда по социальной психологии является более глубоким, но и более узким. Трудно назвать конкретных исследователей национального самосознания, которые широко применяли бы теорию психологии толпы Ле Бона или стадного инстинкта Троттера или даже идеи Зиммеля, Мида, Адорно, а также поздние теории Фрейда, за исключением работ Леонарда Дуба или Мортон Гродзинса. С другой стороны, многие идеи названных теоретиков проникли в труды современных исследователей национализма. Вероятно, наиболее очевидным примером такого проникновения является созданная Кедури модель социальной психологии беспокойной и испытывающей отчуждение молодежи, возмущенной родительскими традициями и унижениями со стороны авторитетов. Можно также угадать влияние более ранней психологии толпы в некоторых попытках функционалистского анализа массово-мобилизационных форм национализма как «политической религии» в работах Дэвида Аптера, Люсиана Пая и Леонарда Биндера, а поведение толпы в социальных движениях — в работах Нейла Смелзера. Определенное влияние также оказали поздний Фрейд, а также Мид и Зиммель, что проявляется в современных теориях, подчеркивающих роль могущественных Других в формировании национальных идентичностей и оппозиции между включением и исключением в национализме.⁷

Эти различные подходы объединяет уверенность в разрушительном характере нового времени, нарушающего ориентацию индивида и способного подорвать стабильность традиционных источников массовой поддержки. Именно в таком ключе некоторые идеи ранней социальной психологии оказывали влияние на общую кар-

тину наций и национализма в классическом модернизме. В более общем плане социально-психологические послышки, взятые из различных источников, встречаются в самых неожиданных ситуациях — в работах социальных антропологов и социологов, а также историков и политологов, причем они не ограничиваются только лишь сторонниками модернистского подхода (см.: Brown 1994).

- 3 Третье важнейшее направление влияния проистекает из наследия Макса Вебера. Будучи глубоким приверженцем господствовавшей идеи немецкого национализма, Вебер так и не смог создать масштабное обобщающее исследование становления национального государства, которое он собирался написать, однако затронутые в его трудах темы стали основополагающими как для классического модернизма, так и для его последующего развития. Среди них: значение политических воспоминаний, роль интеллектуалов в сохранении «незаменимых культурных ценностей» нации, а также значение национальных государств в развитии особого характера Запада в новое время. Однако в наибольшей степени веберовское направление отличало внимание к роли политической активности, как при образовании этнических групп вообще, так и в развитии европейских наций в новое время в частности. Самого Вебера нельзя отнести к модернистам, несмотря на то, что, когда он пишет о нациях и национализме, в большинстве случаев речь идет о примерах из истории Европы. Тем не менее, влияние идей Вебера способствовало легитимации в большей степени политически ориентированных вариантов модернистской парадигмы (см. Weber 1948: 171–179, 448, note 6; A. D. Smith 1983b: ch. 1).

Постольку, поскольку в значительном корпусе сочинений Вебера затрагиваются события, связанные с вопросами этнической принадлежности и национализма, они всегда различаются по месту и времени. Это особенно справедливо в отношении анализа этнических групп, ко-

торые Вебер считал формами статусных групп (*Stände*), основанных на вере в общее происхождение. Вебер в очередной раз подчеркивает в этой связи важность политической активности и политического предания: «Вся история, — пишет Вебер, — демонстрирует, как просто политическая активность может породить уверенность в кровном родстве, за исключением только тех случаев, когда этому препятствуют значительные отличия в антропологическом типе». В качестве примеров приводятся швейцарцы и эльзасцы. О последних Вебер пишет:

Это чувство общности родилось благодаря общему политическому и, косвенно, социальному опыту, которые высоко ценятся массами как символы разрушения феодального строя, а история того, как это происходило, заменяет героические легенды первобытных народов.

(Weber 1968: I/2, 396)

Каковы бы ни были цели Вебера, политический уклон в его работах способствовал тому, что некоторые позднейшие теоретики национального государства подчеркивали в своих трудах значение политических аспектов национализма и особенно роль современного западного государства. На это повлияло и известное определение нации, данное Вебером:

Нация является общностью, основанной на чувстве, которое может быть адекватно выражено в собственном государстве. Следовательно, нация — это общность, которая, как правило, стремится создать собственное государство.

(Weber 1948: 176)

Именно это стремление к государственности отличает нации от других форм сообществ, основанных на солидарности, точно так же, как политическая и, особенно,

военная активность необходимы для того, чтобы превратить этническую группу в нацию. По Веберу, современное государство — это рациональный тип объединения, апогей западного рационализма и одна из основных движущих сил рационализации исторического процесса, тогда как нация — это конкретный тип объединения и группа на основе авторитета. В современном мире, по Веберу, эти два явления нуждаются друг в друге: государству требуется легитимация и народовластие, предоставляемые нацией, в то время как нация нуждается в государстве для защиты своих уникальных культурных ценностей от ценностей других подобных сообществ (*ibid.*: 176; см. также: Beetham 1974).

Косвенным образом различные компоненты работ Вебера о нациях и национализме, обладавших чрезвычайно большим влиянием, способствовали утверждению направлений политического модернизма, делавших акцент на роли власти и, особенно, государственной власти в определении нации и объяснении природы национализма. Современные исследователи в целом приняли концепцию западного рационализма (если не рационализации), лежавшую в основе веберовского подхода к политике, придали ей общемировой масштаб и применили ее для анализа международных отношений и влияния государства на гражданское общество.⁸

- 4 Последний источник влияния на классическую модернистскую парадигму является, вероятно, наиболее важным — это наследие идей Дюркгейма о человеческих сообществах. Как и в случае с Вебером, несмотря на свой искренний французский национализм, Дюркгейм мало писал о проблемах наций и национализма, за исключением нескольких полемических фрагментов, созданных по случаю в годы Первой мировой войны. В важнейших работах Дюркгейма национализм никогда не был самостоятельной темой. Однако в определенном смысле идея нации как моральной общности со своим общественным сознанием (*conscience collective*) красной нитью проходит

через все его труды, и это особенно заметно в анализе религии и ритуала в последней важнейшей работе Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни» (1912) (Durkheim 1915; Mitchell 1931; см. также: A. D. Smith 1983b; Guibernau 1996: ch. 1).

Большая часть из написанного Дюркгеймом об этничности и национализме имеет непреходящее значение. Это особенно справедливо в отношении его исследования религии как основы моральной общности и связанной с ним веры в то, что «в религии есть что-то вечное», каковы бы ни были изменения в ее символах, поскольку все общества ощущают потребность периодически подтверждать и возобновлять собственное существование через коллективные ритуалы и церемонии. В этом отношении, утверждает Дюркгейм, нет никакой разницы между христианскими и иудейскими религиозными праздниками, а также

собранием граждан, празднующих установление новой этической или правовой системы или какое-то важное событие в национальной жизни,
(Durkheim 1915: 427)

что наиболее отчетливо проявилось во время Французской Революции, когда

под влиянием всеобщего энтузиазма исключительно светские по своей природе вещи были обращены общественным мнением в священные: Родина, Свобода, Разум. Обозначилась тенденция к созданию религии со своим догматом, своей символикой, алтарями и празднествами.
(*ibid.*: 214; Дюркгейм 1996: 440–441)

По мере того, как опыт подобного анализа мог быть использован и использовался для определения роли массово-мобилизующего национализма в постколониальных

государствах Азии и Африки, еще один аспект теории Дюркгейма начал оказывать существенное влияние на классический модернизм. Им явился анализ перехода от «механической» к «органической» солидарности. Дюркгейм утверждал, что в то время как в строго этнических или родоплеменных обществах

людей сближают механические причины или импульсивные силы, такие как кровное родство, связанность к одной и той же земле, культ предков, общность обычаев и т. д.,

(Durkheim 1964: 278; Дюркгейм 1991: 260)

то в обществах нового времени, индустриальных обществах эти силы приходят в упадок наряду с традицией и влиянием общественного сознания, а их место занимают разделение труда и дополнительность социальных функций. Рост населения, возросшие интенсивность контактов и конкуренция, урбанизация и социальная мобильность — все это разрушило традицию и оборвало связи с наследием предков. Именно это произошло в развитых индустриальных обществах Запада. Тем не менее, отдельные элементы более раннего «механического» типа солидарности остаются даже в наиболее современных западных обществах, прежде всего, взаимозависимость и самообновление, необходимые каждому обществу, а также чувство социальной зависимости и индивидуальной принадлежности, порождаемое профессиональными группами и коллективными ритуалами. Здесь Дюркгейм предвосхищает появление темы этнического возрождения, ставшей важным элементом некоторых модернистских теорий национализма (Durkheim 1964; Дюркгейм 1991; Nisbet 1965; Giddens 1971).

Далее, для классических модернистов концепция Дюркгейма предоставила способ включения наций и национализма в эволюционную логику структурной дифференциации и модернизации прежде всего на Западе.

Вывод, который сделали классические модернисты из работ Дюркгейма, заключался в том, что современные им общества после всех крутых поворотов и деформаций модернизации нуждались в новом принципе внутренней связи и реинтеграции. Выходом из положения было обращение к идее нации и мобилизующей силе национализма. Тем не менее, как это станет ясно далее, классический модернизм оперировал весьма отличающейся от оригинала концепцией нации, наносившей чувствительный удар по идее непрерывного развития Дюркгейма.

Историки и социологи

Если традиции социологии и социальной психологии перед Первой мировой войной способствовали формированию классической парадигмы модернизма, то непосредственная движущая сила ее создания и основное ее историческое содержание стали плодом деятельности социологически мыслящих историков начиная с 1920-х годов. Объектом их пристального рассмотрения стало появление и развитие националистической идеологии и ее основных форм; отличительной чертой их исследований было стремление к непредвзятому анализу идеологии. В этом они не преуспели. Западническая и европоцентристская ориентация исследований очевидна в работах таких ведущих специалистов по истории национализма, как Карлтон Хейс, Ганс Кон, Фредерик Хертц, Альфред Коббан, Э. Карр, Луис Снайдер и Бойд Шэфер. Существовала также тенденция рассматривать национализм как этическое понятие, а нацию — как противоречивое средство достижения благородных целей. В результате моральное суждение часто стало смешиваться с историческим исследованием, что вполне понятно, если принять во внимание ужасы нацизма и Второй мировой войны, а фашизм стал часто рассматриваться как логическое следствие шовинистического национализма. Вероятно, наиболее известным примером подобного подхода является знаменитое

разделение на «западный» и «восточный» национализм, предпринятое Гансом Коном — к востоку и западу от Рейна. На западе, в Англии, Франции, Америке и Голландии возникла рациональная, волюнтаристская разновидность национализма, в то время как на востоке, в Германии, Италии, Восточной Европе и Азии существовала благодатная почва для различных вариантов органического, детерминистского национализма. Но есть и другие примеры: выделение Карлтоном Хейсом «гуманитарного», «либерального», «традиционного» и «якобинского» (а позднее еще и «экономического» и «интегрального») типов националистической идеологии; стадии национального самоопределения в работах Альфреда Коббана, а также ранняя хронологическая типология форм национализма Луиса Снайдера. Все эти варианты имеют тот же моральный подтекст (Hayes 1931; Snyder 1954; Kohn 1967a; Cobban 1969).⁹

Два аспекта этих ранних попыток исторического исследования национализма имеют особое значение для становления классического модернизма. Первый — это все более частое обращение к социологическим факторам, если не объяснительным схемам. В данном случае самым характерным примером опять-таки являются работы Ганса Кона. Основной критерий его типологии западного и восточного национализма носит социологический характер: отсутствие или наличие мощного слоя буржуазии во время распространения идеологии национализма в конкретном регионе или государстве. Территории и государства, где буржуазия занимала прочные позиции, стремились воспринять рациональный или волюнтаристский вариант националистической идеологии, который требовал от каждого выбрать свою национальную принадлежность, но не предписывал, какую именно. В то же время для государств и регионов со слабой буржуазией были характерны жесткие, авторитарные варианты национализма, во главе с небольшой группой интеллектуалов, исповедовавших органический национализм, который предписывал национальную принадлежность каждому индивиду с момента рождения. Э. Карр также апеллировал к со-

циологическим факторам, выделяя последовательные стадии развития европейского национализма: сначала монархическую, династическую и меркантилистскую, затем с конца XVIII века народную, демократическую, стадию свободной торговли (при финансовом господстве Лондона) и, наконец (с 1890-х по 1940-е годы), – стадию растущего экономического национализма полностью социализированных массовых наций, распространившихся по всей Европе и подталкивавших континент к всеобщей войне (Carr 1945; Kohn 1955; Kohn 1967a, 329–331).

Второй аспект заключается в предоставлении четких свидетельств времени появления (новое время) и европейских истоков национализма как идеологии и формы общественного движения. Было бы ошибкой утверждать, что все истоки сходились во мнениях относительно «даты рождения» национализма. Кон связывал ее с Английской Революцией, Коббан указывал на конец XVIII века, после разделов Польши и Американской Революции, тогда как Кедури определил ее 1807 годом, датой появления «Речей к немецкой нации» Фихте. Однако большинство исследователей соглашались с той точкой зрения, что Французская Революция была тем событием и периодом в истории, когда национализм впервые проявил себя в полной мере. Таким образом, они прочно ассоциировали национализм с гражданскими и демократическими движениями того времени в Европе. Они также сосредоточивали свое внимание на описании эволюции национализма как идеологии и движения в Европе в новое время. Если же исследователи обращали свой взгляд за пределы Европы, то они стремились вывести позднейшие проявления национализма в Индии, Японии, Китае, Индонезии или в арабских странах и у народов Африки из того или иного варианта европейского национализма, усвоенного местными интеллектуалами в метрополии или непосредственно у себя на родине. Такие выводы призваны были укрепить уверенность в том, что национализм был проявлением конкретного «духа времени» (*Zeitgeist*), связанного с конкретными пространственно-временными условиями Европы

нового времени. Хронологический модернизм был европоцентристским *ipso facto*: идеология, возникшая и развившаяся в ходе войн, сопровождавших Французскую революцию, в основе своей была европейской, как по характеру, так и по месту происхождения. Такое представление оказало глубокое влияние на парадигму классического модернизма и теорию национализма.¹⁰

Упомянутые выше историки занимались в основном историей идей и политической историей, при этом идеями и политической историей именно Европы. Только в 1950-х годах с ускорением процесса деколонизации и возникновением новых государств в Азии и Африке их достижения были дополнены и в известной мере превзойдены в рамках значительного потока работ по политологии и социологических исследований национализма в странах третьего мира. Только в конце 1950-х годов пришел конец традиционному господству историков в изучении национализма, и эта область оказалась доступна для представителей самых различных дисциплин. Это также было время оформления классической парадигмы модернизма (см.: A. D. Smith 1992c).

КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕРНИСТСКАЯ ПАРАДИГМА НАЦИОНАЛИЗМА

1960-е годы — эпоха либерализации Запада, последовавшей за экономической экспансией и ускоренной деколонизацией в Азии и Африке, — также ознаменовались широким распространением модели и идеала «строительства нации». Это было явление, созвучное оптимистическому, безрассудному характеру всего десятилетия, и оно служит классическим выражением того, что было названо нами модернистской парадигмой национализма.

Антиперенниализм

По сути, классический модернизм и особенно модель строительства нации были ответом на основополагающие идеи

и принципы предшествовавших поколений исследователей национализма, многие из которых соглашались с основными положениями окружавшей их националистической идеологии, даже когда они дистанцировались от наиболее крайних ее проявлений. Об этом свидетельствует использовавшийся ими язык, в котором идея «расы» зачастую приравнивалась к концепции нации, национальные особенности считались определяющими принципами исторического развития, а события на международной арене и международные отношения описывались с точки зрения национальных участников и первостепенных национальных интересов. В основе этих взглядов лежало представление о нациях как об основных сообществах в истории, существующих с древнейших времен и связанных с национальными чувствами и национальным самосознанием как фундаментальными составляющими и важнейшими объяснительными принципами всех исторических явлений. Такие представления могут быть названы «перенниалистскими». Имеется множество примеров популярного изложения истории Великобритании, Франции, Германии и других государств, в которых был воспринят дух таких представлений. Соответственно, история нации пересказывалась с точки зрения ее тяжелого становления, ранних миграций, золотого века святых и героев, превратностей ее судьбы, порабощений, упадка и возрождения и, наконец, славного будущего. Более серьезные историки обращались к изложению деятельности национальных лидеров и аристократии в античности и в средние века, демонстрируя тем самым определяющий характер и прочность идеи и конкретных проявлений нации в истории.¹¹

Все эти представления были поставлены под сомнение и отвергнуты вздымающейся волной модернизма. Его представителям послылки, на которых основывался перенниализм, казались либо непроверяемыми, либо просто ошибочными. Они утверждали, что:

- 1 нации никоим образом не являются древними, извечно существующими, так как такое предположение не под-

- тверждается документальными свидетельствами и само по себе служит проявлением слепой веры в древность современных культурных общностей;
- 2 нации не являются чем-то данным, не говоря уже о том, что они существуют в природе или возникают в ней первую очередь. Любое подобное утверждение опять-таки служит проявлением веры, не подкрепленной историческими или социологическими свидетельствами;
 - 3 как в Европе, так и (это стало ясно позднее) в Азии и Африке имелось большое число относительно недавно возникших наций, и уже одно это обстоятельство опровергает представление об извечном или изначальном характере наций;
 - 4 мы не можем и не должны приписывать черты современных наций и национализма более ранним, существовавшим до нового времени общностям и настроениям. Такого рода «ретроспективный национализм» только мешает нашему пониманию принципиально иных форм идентичностей, сообществ и взаимоотношений, существовавших в древности и средние века;
 - 5 нации не являются порождением природных или глубинных исторических сил. Их появление было вызвано самим историческим развитием и стало возможным и необходимым в условиях нового времени благодаря рациональной, спланированной деятельности.

Это была решительно антиисторицистская и рационалистическая критика. Она с подозрением рассматривала все «естественные» объяснения и использовала вместо них функционалистский анализ места наций в истории и роли национализма в современном мире. Она также была явственно оптимистической по своему тону и активной по духу, утверждая, что национализм создал нации и что деятельность национальных элит служит удовлетворению потребностей социально-политического развития. Таким образом, складывалась модель национального строительства, сразу же приобретшая структурный и всепроникающий характер, в которой

национальной элите отводилась ведущая роль в возведении здания грядущей нации в соответствии с рациональными, гражданскими принципами.

Активный, всепроникающий характер классического модернизма определил его трактовку предшествующего перенниализма, который, вообще говоря, рассматривал нацию не только как вечное, но и как «примордиальное», «изначальное» явление. Классический модернизм решительно выступил против свойственных прежним представлениям натурализма и эссенциализма, против уверенности в том, что нации являются элементами природы, существовавшими от века, против идеи о том, что человек обладает национальностью так же, как он обладает глазами и речью. В рамках модернизма такие представления считаются причиной экстремистских проявлений и массовой поддержки национализма. Таким образом, модернизм рассматривал всякую идею о том, что какая-то конкретная нация или нации в целом могут иметь глубокие исторические «корни», как часть натуралистских и «генетических» заблуждений.¹²

Позиция модернизма также была противопоставлена нерациональной и пассивной природе перенниализма. Если нации являются «сущностями» и элементами природы и если индивид принадлежит к той или иной нации от рождения и связан с ее существованием всю свою жизнь, тогда национализм любого толка представляет собой всего лишь нерациональное выражение нации, а индивиды суть пассивные проявления ее сущности. С точки зрения такого подхода национализм не может быть ни рациональной стратегией, применяемой индивидами для достижения своих личных или коллективных целей, ни выражением осознанного выбора или суждения. Такая точка зрения вступила в острое противоречие с активным и самоосвобождающим духом послевоенного времени.

Строительство нации

Основные принципы модернистской парадигмы и, особенно, ее классической модели строительства нации, наоборот, подчеркивали политический характер наций и активную роль граждан и лидеров в их создании. Вообще говоря, теории строительства нации утверждали, что:

- 1 нации представляют собой преимущественно территориальные политические образования. Они являются суверенными, ограниченными и внутренне связанными сообществами юридически равных граждан, сочетающимися с государствами нового времени в форме, называемой унитарным «национальным государством»;
- 2 нации образуют первичные политические связи и базовую лояльность своих членов. Иные узы — гендерные, региональные, семейные, классовые и религиозные — подчинены этой основополагающей преданности граждани-на его национальному государству, и это следует приветствовать, потому что так идеалы демократического участия граждан в жизни общества и государства обретают свою форму и содержание;
- 3 нации — основные политические игроки на международной арене. Они суть действительные социологические общности, наделяющие политическим весом жителей планеты и являющиеся единственным принципом легитимации и координации межгосударственных отношений и международной деятельности;
- 4 нации — это творения своих граждан, особенно лидеров и элит. Их строительство велось при помощи различных институтов и сопровождалось целым рядом процессов. Залогом успешного построения нации являлась институционализация социальных функций, ожиданий и ценностей, а также создание инфраструктуры социальных коммуникаций: транспорта, бюрократии, языка, образования, средств массовой информации, политических партий и т. п.;

- 5 нации являются единственной основой, движущей силой и целью социально-политического развития, единственным средством, гарантирующим удовлетворение потребностей всех граждан в производстве и распределении ресурсов, единственным инструментом, обеспечивающим устойчивое развитие. Это обеспечивается тем, что только национальная лояльность и националистическая идеология способны мобилизовать массы, обеспечить их преданность, самоотдачу и самопожертвование, необходимые для модернизации, учитывая все ее сложности и крутые повороты.

В поисках примеров для своей концепции теоретикам строительства нации достаточно было обратиться к современным им процессам освобождения от колониальной зависимости стран Азии и Африки. Они могли засвидетельствовать попытки националистически настроенных лидеров «построить» нации путем создания системы эффективных институтов, выражавших бы нормы гражданской нации, собиравших бы воедино интересы граждан и позволявших бы последним преобразовывать свои потребности и идеалы в эффективную политическую деятельность. Эти так называемые «государства-нации» (территориальные государства, пытавшиеся создать единые нации из этнически разнородного населения) служили доказательством важности «национального строительства», подчеркивая ограниченность территориального суверенитета и намечая путь дальнейшего развития через мобилизацию и участие в общественной жизни активной части граждан (см.: Deutsch and Foltz 1963).¹³

Исследователи, придерживавшиеся классической модернистской парадигмы и, особенно, модели строительства нации, прежде всего, Дойч, Фольц, Лернер, Эйзенштадт, Аптер, Алмонд, Пай, Бендикс и Биндер, — расходились во мнениях по конкретным вопросам, имевшим большое значение для модернизации и строительства нации. Одни подчеркивали роль социальной мобилизации и социальных коммуникаций, другие — значение мобильности и эмпатии, а осталь-

ные выделяли соединение разрозненных интересов, политическую религию и системы массовой мобилизации. Тем не менее, все они разделяли идею (и идеал) нации как политической культуры, основанной на массовом участии, и как гражданско-территориальной общности, в которую, как это особенно четко показано в работе Бендикса, за счет трудового найма, массового образования и гражданства включались еще более широкие слои населения данной территории. Внимание к участию граждан в управлении государством стало отличительной чертой модернизма в понимании этих исследователей. Поскольку достижение высокой степени политического участия масс стало возможным только в «современную» эпоху (т. е. современное им индустриально-бюрократическое общество), то и нации могли процветать и быть единственной политической силой и единицей управления только в современности. Лишь в современную эпоху самоуправление народа стало возможным и было достигнуто (Bendix 1996).¹⁴

Столь же важным было и то обстоятельство, что впервые самоуправление было необходимым. Потребность в нем объяснялась тем, что нация была идеальным носителем социального развития, а современная эпоха была первой эпохой в истории, когда устойчивое социальное развитие стало возможным. Это, в свою очередь, означало, что нации и национальное развитие являются неотъемлемой частью социального развития. В эпоху, когда такое развитие не происходило, не было ни потребности, ни пространства для наций. Наоборот, традиционные религии служили барьерами как для образования наций, так и для возникновения стремления к социальным переменам и развитию. С разложением традиционных религий и появлением наций национальное самоуправление стало единственным способом получения социально-политических ресурсов, необходимых для общественного развития. Следовательно, первой задачей строительства нации должно быть обеспечение независимости, необходимой гражданам для участия в принятии политических решений и управлении себе подобными. Без неза-

висимости, как давным-давно понял Энгельс, никакое устойчивое экономическое развитие невозможно, поскольку нельзя ожидать подлинной преданности и самопожертвования от людей, которые не являются хозяевами своей собственной судьбы (Davis 1967).

Модернизм и перенниализм

В основе непосредственно этой модели лежала более широкая парадигма классического модернизма. Вообще говоря, она настаивала на том, что:

- 1 нации представляют собой всецело современные явления — современные в смысле недавние, т. е. возникшие после Французской революции, и в том смысле, что компоненты нации также являются принципиально новыми, т. е. частью новой современной эпохи, новыми по определению;
- 2 нации — это порождения современности, т. е. их элементы являются не просто новыми и современными, но могут возникать и возникли только благодаря процессам «модернизации», рождению современности и проведению в жизнь соответствующей политики;
- 3 таким образом, нации не уходят своими корнями в глубины веков, а являются следствием тех революционных изменений, которые способствовали установлению современной эпохи, а, следовательно, связаны с их специфическими особенностями и условиями. Соответственно, при изменении этих особенностей и условий, произойдет либо ослабление наций, либо они просто будут вытеснены другими явлениями;
- 4 национализм также появился в современную эпоху, точнее, в процессе модернизации и перехода к современному порядку вещей. Таким образом, когда эти процессы завершатся, наступит упадок национализма или он просто исчезнет;
- 5 нации и национализм являются социальными и культур-

ными феноменами современной эпохи, созданными в век революций и массовой мобилизации. Они играют центральную роль в попытках овладеть этими процессами стремительных социальных изменений.

В чистом виде парадигма классического модернизма может рассматриваться как полная противоположность прежним перенниалистским допущениям и идеям, в соответствии с которыми нации были более или менее устойчивыми и периодически повторяющимися феноменами, характерными для всех эпох и континентов. Модернизм выступал против идей натурализма и примордиальности наций, которые были характерны для предшествовавших исследователей, как по политическим, так и по интеллектуальным соображениям. Сторонники модернизма полагали, что оба эти заблуждения оказывают разрушительное воздействие на общественное мнение и в разной степени ответственны за череду войн и жестокого кровопролития, в которую в XX веке оказались вовлеченными Европа и весь мир. Они систематически выступали против представлений, лежавших в основе перенниалистских идей о роли наций в истории, и стремились разрушить мистическую завесу вокруг национального самоопределения, противодействовать националистическим притязаниям, указывая на присущую им абсурдность, а также на их историческую мелочность.

Если рассмотреть предложения и притязания перенниалистов и модернистов, обнаруживается целый ряд противоречий, которые могут быть обобщены следующим образом:

- 1 Для перенниалистов нация является политизированным этнокультурным сообществом, объединенным общим происхождением и претендующим на этом основании на политическое признание. Для модернистов нация – это территориальная политическая общность, гражданское объединение юридически равных граждан на конкретной территории;
- 2 Перенниалисты считают нацию извечным, повторяю-

щимся феноменом, корни которого уходят в прошлое на века, если не на тысячелетия. Для модернистов нация является современным и новым явлением, порождением исключительно современных, актуальных условий. Она не существовала в прошлом;

- 3 С точки зрения перенниалистов, нация «укоренена» во времени и пространстве; она неразрывно связана со своей исторической родиной. Модернисты полагают, что нация – это сотворенный феномен. Она сознательно и продуманно «строится» ее членами или создается из сегментов;
- 4 Перенниалисты считают нацию народным или просто-народным объединением, общностью «народа», отражающей их потребности и чаяния. Модернисты же полагают, что нация сознательно создается элитами, которые стремятся влиять на эмоции масс, чтобы достичь своих целей;
- 5 Перенниалисты полагают, что принадлежность к нации означает обладание некоторыми свойствами. Нация – это форма существования. Для модернистов важно обладание определенными ресурсами. Нация – это возможность деятельности;
- 6 Перенниалисты мыслят нации как нечто целостное, с единой волей и характером. Модернисты полагают, что нации, как правило, расколоты и подразделяются на некоторое количество (региональных, классовых, гендерных, религиозных и проч.) социальных групп, каждая из которых обладает своими собственными интересами и потребностями;
- 7 Для перенниалистов основополагающими принципами существования нации являются связь с наследием предков и своеобразная культура. Модернисты считают, что принципы национальной солидарности основываются на социальных коммуникациях и принципе гражданства.

Данные дихотомии можно обобщить следующим образом:

Свойства нации с точки зрения перенниалистов и модернистов

Перенниалисты	Нация	Модернисты
культурная общность		политическая общность
извечный феномен		феномен нового времени
уходит своими корнями в прошлое		создана
органическая		механическая
целостная		разделенная
качество		ресурс
народная		создается элитой
основана на родовой принадлежности		основана на коммуникации

Данные дихотомии, безусловно, носят идеальный характер. Не все исследователи, которые в целом придерживаются перенниалистской или модернистской парадигм, согласились бы со всеми вышеперечисленными свойствами «своих» парадигм. Мы сознательно выделили различия, чтобы выявить некоторые противоречащие друг другу общие представления о нациях и национализме. В действительности же взгляды некоторых исследователей претерпели изменения, выходящие за рамки какой-то одной из этих парадигм и часто самым неожиданным образом сочетающие их элементы.

Следует добавить, что сами националисты, чего, вероятно, следовало ожидать, стремились сочетать два различных подхода: рассматривать нацию и как органическое явление, уходящее своими корнями в прошлое и существующее на конкретной территории, и в то же время как феномен, созданный и развитый националистическими элитами. Это не просто приспособленчество. Национализм сам по себе является активной, содержащей внутренний потенциал освобождения программой действий для угнетенных. С другой стороны, нация, которую националисты стремятся «пробудить ото сна» часто рассматривается как часть природы, подверженная действию законов эволюции, как и любой другой организм.

Существует еще один очень важный момент. Приведенный выше анализ двух полярных подходов к проблеме национа-

лизма соединяет вместе перенниализм и более радикальное представление об изначальном характере нации (примордиализм). Далеко не все перенниалисты разделяют взгляды сторонников примордиализма. Многие из них не считают нацию органическим, целостным и связанным с прошлыми поколениями явлением. Наоборот, они полагают, основываясь на том, что кажется им свидетельствами истории, что нации являются периодически повторяющимися и/или извечными феноменами, характерными для всех эпох и континентов, но ни в коем случае не частью «естественного порядка». К этому разделению мы вновь обратимся во II части книги.

С точки зрения логики выявленные дихотомии лежат в основе взглядов многих исследователей проблемы национализма. В таком случае требуется четкая ориентация на один из противоположных типов объяснения или осознанное решение сочетать их различные элементы. В каждом конкретном случае логика каждой из парадигм и ее противоречия требуют от исследователя приведения четких доводов и тех свидетельств, которые побудили его или ее занять какую-то определенную точку зрения в дискуссиях о нациях и национализме.

К 1960-м годам модернистская парадигма и ее модель строительства нации получили всеобщее признание. Это было время господства функционализма, когда даже его критики подчеркивали значительную роль классов, элит и лидеров в процессах модернизации и национального строительства. Такие разные по своим теоретическим убеждениям авторы, как Эли Кедури, Дж. Г. Каутски, Ш. Н. Эйзенштадт, У. Смит, Питер Уорсли и Эрнест Геллнер, — все они были сторонниками модернистской парадигмы и подчеркивали значение активного массового участия, выбора элит и социальной мобилизации в создании современных наций — факторов, которые были популяризированы Карлом Дойчем и теоретиками коммуникаций. Какими бы ни были теоретические и идеологические расхождения этих авторов, все они соглашались с тем, что эпоха национальных государств была но-

вой и современной, что именно условия нового времени послужили благодатной почвой для образования наций и что национализм является одной из наиболее успешных форм идеологии модернизации.¹⁵

В последующих главах я намереваюсь более детально рассмотреть основные варианты классического модернизма: социокультурный, экономический, политический и идеологический, — в том виде, в каком они развивались в 1970—1980-х годах. В этих различных концепциях модернизм достиг пределов своей объяснительной силы и эвристической полезности, практически полностью исчерпав свои возможности, открыв тем самым путь для критических выступлений, содержащих в себе потенциал для его ниспровержения.

ЧАСТЬ I

РАЗНОВИДНОСТИ
МОДЕРНИЗМА

Возможно, самое первое и радикальное изложение классического модернизма было дано Эрнестом Геллнером в седьмой главе своей книги «Мысль и изменение» (1964). В этой главе Геллнер в общих чертах описал новую теорию национализма, сделав акцент на последствиях процессов неравномерной глобальной модернизации. Уподобив модернизацию сильной приливной волне, которая несется по миру от западноевропейских центров, заливая все новые территории в разное время и с различной скоростью, Геллнер связывал возникновение национализма с новой ролью языковой культуры в современном мире. Вследствие неравномерного развития традиционные ролевые отношения в деревнях и маленьких городках были разрушены, многие крестьяне вынуждены были покинуть насиженные места и перебраться в большие, постоянно растущие города, а их образ жизни и верования в значительной степени были уничтожены. Растерянный и запутавшийся в анонимном городе, новый бедный пролетариат, состоявший из оторванных от своих корней крестьян, не имел больше ничего другого для восстановления общины и предотвращения анархии, кроме языка и культуры. В новых городских условиях язык и культура заменяли деревню и родовые структуры ролевых отношений в качестве скреп общества. Отсюда растущая значимость критически настроенной и амбициозной интеллигенции, производителей и поставщиков этих языковых культур. Но, чтобы стать гражданином и «достойным образчиком человеческой природы», каждый должен был научиться чтению, письму и арифметике, быть «грамотным». Это, в свою очередь, требовало нового типа обучения, всеобщего, государственного, стандартизованного обучения, контролируемого и финансируемого государством. Размер системы образования напрямую был связан с размерами наций.

Но у неравномерного развития была и своя изнаночная сторона. Приливная волна не только разрушила традиционные ролевые структуры, она также породила социальные конфликты в непомерно разросшихся городах. Конфликты между волнами вновь прибывших и городских старожилов, между работающими в центре города и частично безработным пролетариатом в трущобах городских окраин. Такие конфликты, как правило, были социальными — классовые конфликты между имущими и образованными и обездоленными и неграмотными массами. Но в некоторых случаях социальный конфликт перерастал в этнический антагонизм. Это происходило, когда вновь прибывшие — оторванный от своих корней пролетариат — заметно отличались по своему внешнему облику, имели совершенно иные системы верований и обычаи или говорили на непонятном языке. Тогда городские старожилы прибегали к культурному исключению и ограничениям по этническому признаку при приеме на работу. В таких обстоятельствах интеллигенция, находившаяся по обе стороны культурной баррикады, способна была превратить этнические конфликты в националистические движения, выступавшие за отделение от существующей политической единицы, в состав которой обе группы входили, как правило, довольно долгое время (Gellner 1964: ch. 7).

Поэтому, по Геллнеру, нации не создают национализм. Скорее националистические движения определяют и создают нации. В действительности,

национализм — это не пробуждение национального самосознания: он изобретает нации там, где они не существуют, но он нуждается в ранее существовавших отличительных признаках, даже если они, как было отмечено, исключительно негативны.

(*ibid.*: 168)

Национализм — это страстное стремление обрести норму нации, которую Геллнер на этом этапе определял как крупное, обладающее общей культурой, непосредственное ано-

нимное общество. Люди становятся националистами, заключал Геллнер, вследствие «подлинной объективной практической необходимости, подчас не очевидной», поскольку «именно потребность роста порождает национализм, а не наоборот». Таким образом, национализм обеспечивает разделение мира на замкнутые системы и служит гарантией от новой имперской тирании (*ibid.*: 160, 168).

Первый вариант его теории страдал от множества упущений и сложностей, и Геллнер осознал необходимость обращения к ним в новой, более полной редакции. Среди них:

- 1 сложности, связанные с приписыванием объединяющей роли языку, включая признание, что иногда языку не удавалось исполнить эту роль, например, в испаноязычных странах Латинской Америки или арабских государствах;
- 2 невозможность ассимиляции определенных культурных групп на «переходном» этапе, то есть неспособность модернизации интегрировать различные группы, особенно те, которые основываются на цвете кожи и религии священного писания;
- 3 затягивание процессов модернизации и неспособность концепции пролетаризации объяснить конфликты на ее поздних этапах, а также сомнительная причинная связь между индустриализацией и возникновением национализма;
- 4 значимость разделений внутри интеллигенции и их влияние на то, какими путями различные нации будут идти к современности;
- 5 проблема того, каким образом поддерживаются современность и ее письменная культура, и необходимость выявления институциональной основы, а не просто социальной группы, обеспечивающей их поддержание;
- 6 проблема объяснения отсутствия наций и национализма в досовременных обществах, в отличие от почти повсеместного их присутствия в современных индустриальных обществах.

Чтобы решить эти трудности, Геллнер по-новому озвучил свою основную модернистскую теорию сначала в статье 1973 года, а затем в завершенном виде в «Нациях и национализме» (Gellner 1973, 1983; Геллнер 1991).¹

«НАЦИЯ» И «НАЦИОНАЛИЗМ»

Стержнем новой версии теории была роль систем всеобщего государственного образования в подержании «высоких» культур в современных индустриальных обществах. Хотя в ранней версии акцент делался на роли языка и языковой культуры как новых скреп общества, поздняя редакция на первый план выдвинула то обстоятельство, что современные, ориентированные на рост общества нуждались в образовательной культуре определенного рода, которая могла быть создана и поддерживаться посредством «экзосоциализации», нового вида государственного стандартизованного образования, не встречавшегося в досовременных обществах.

Логической отправной точкой второй версии теории Геллнера служит его определение понятия нации. Ни «воля», ни «культура» сами по себе не могут считаться удовлетворительными определениями. Причина одна: оба понятия охватывают слишком широкое содержание. Хотя нации могут быть сообществами, которые *стремятся* продолжить свое существование, участвуя в своеобразном каждодневном непрекращающемся плебисците самоутверждения, как утверждал Ренан, так поступают и многие другие социальные группы: клубы, тайные организации, команды, партии, а также досовременные религиозные, политические или неофициальные группы, которые понятия не имели о национализме. Точно так же не поможет нам и определение нации с точки зрения общей культуры, поскольку в мире всегда существовало и существует огромное множество культурных различий: культурные различия лишь изредка совпадали с границами политических единиц и то обстоятельство, что число таких совпадений растет, свидетельствует о весьма специфических

условиях, сводящих вместе культуру и политику в современную эпоху (Gellner 1983: ch. 5; Геллнер 1991: гл. 5).

Иначе говоря, из почти 8000 языковых групп, существующих на планете, лишь небольшая часть (около 200) сумела превратиться в нации, обладающие собственными государствами, а если прибавить довольно большее число (около 600) других, стремящихся создать собственные государства, в сумме будет 800. Когда лишь десятая часть культур стремится стать нациями, едва ли при определении понятия мы можем использовать одну только общую культуру (*ibid.*: 43–50; *там же*: 103–116).

Именно поэтому необходимо определять понятие нации с точки зрения эпохи национализма. Только тогда, приняв во внимание особые условия эпохи, нам удастся определить нации как результат и *воли*, и *культуры*.

Но чем же тогда является национализм? По Геллнеру, национализм — это политический принцип, «суть которого состоит в том, что политическая и национальная единицы должны совпадать». Национализм — это теория политической законности,

которая состоит в том, что этнические границы не должны пересекаться с политическими и, в частности, что этнические границы внутри одного государства... не должны отделять правителей от основного населения.
(*ibid.*: 1; *там же*: 24).

Национальное чувство — это чувство негодования или удовлетворения, вызванное нарушением или осуществлением этого принципа, а националистические движения — это движения, вдохновленные этим чувством.

АГРОПИСЬМЕННЫЕ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА

Основное положение всей теории Геллнера (нации и национализм в современных индустриальных обществах логически случайны, но социологически необходимы) основывает-

ся на его исследовании перехода от аграрного — или агро-письменного — общества к современному индустриальному обществу. По Геллнеру, в истории можно выделить три основные стадии: доаграрную, аграрную и индустриальную. Все они напоминают такие стадии развития человеческой цивилизации, когда видимый прогресс отсутствует, а между ними находятся резкие, похожие на ступени переходы с одной стадии на другую. На первой стадии, стадии охоты и собирательства, никакого государства или государств не было, поэтому невозможно было существование наций и национализма в геллнеровском понимании этих понятий. На второй стадии возникло множество обществ, многие из которых (но не все) не имели своих собственных государств. На этом этапе появилась возможность возникновения наций и национализма, хотя на деле этого так и не произошло. И только на третьей, индустриальной, стадии государство стало обязательным; каждое общество имеет или стремится получить свое собственное государство, но это лишь отчасти объясняет то, почему национализм становится всеобщим стремлением в современном обществе (Gellner 1987, ch. 2).

Почему в агрописьменных обществах не было наций и национализма? Эти общества отличаются не только появлением государства, но и способом передачи знаний в среде элиты. Причем агрописьменные общества высоко стратифицированы. Это также означает, что власть и культура в них соответствуют статусу их носителя. Верхушку этих обществ образуют несколько немногочисленных, но влиятельных элит, организованных в горизонтальные страты, включающие касты военных, бюрократов, священнослужителей и аристократов, которые используют культуру — свою культуру, чтобы отделить себя от остального общества. Основное население государства составляют сельскохозяйственные производители, которые также разделены, но на сей раз на вертикальные сообщества, обладающие собственной народной культурой и обычаями. Вследствие экономической необходимости эти небольшие крестьянские общины замкнуты на себя, и их местные культуры почти незаметны. Члены

каждой такой общины связаны друг с другом *контекстуальной* коммуникацией. В результате, культура бывает либо горизонтальной, как социальная каста, либо вертикальной, разграничивающей небольшие местные общины.

Поэтому в стратифицированных агрописменных обществах нет ни возможности, ни стремления к созданию единой для всех представителей данного государства гомогенной культуры, а потому существование наций и национализма невозможно. В действительности, единственная страста, которая могла бы быть заинтересована в такого рода культурном империализме, духовенство, — либо не проявляет интереса к распространению своих норм и обычаев на все общество (подобно брахманам), либо не имеет для этого ни ресурсов, ни практической возможности (подобно исламским улемам), так как большинство населения должно присматривать за овцами, козами или верблюдами! Для других элит разрыв между ними (и их образом жизни) и остальным населением (и его народными культурами) должен поддерживаться и даже усиливаться теориями «происхождения» (Gellner 1983: ch. 2; Геллнер 1991: гл. 2).

Контраст с индустриальными обществами разителен. Последние нуждаются в гомогенной культуре, объединяющей всех членов государства, поскольку в таких обществах все мобильны, все должны быть образованными, коммуникация не должна зависеть от контекста, а власть должна быть безличной:

В век всеобщей учености и своего рода «мамлюкства» отношения культуры и государства в корне меняются. Высокая культура пронизывает все общество, определяет его и нуждается в поддержке государства. Именно в этом кроется секрет национализма.

(*ibid.*: 18; там же: 56).

В основе современного общества лежат идеи постоянного экономического роста и накопления знания, непрерывных открытий и изобретений. Подобно тому, как для обнаруже-

ния причинных связей предмет сначала необходимо разделить на составляющие, все люди и виды деятельности считаются равными, соизмеримыми единицами, способными объединяться в массовые общества или нации. Современные индустриальные общества по своей природе текучи, мобильны и постоянно меняются; способ производства во многом зависит от постоянно меняющегося разделения труда, когда индивидам приходится встречаться и общаться с большим числом ранее незнакомых людей и быть способными менять один вид деятельности на другой. Именно поэтому, в отличие от иерархических и стабильных досовременных обществ, современные общества неизбежно являются эгалитарными, если не всегда в действительности, то, по крайней мере, по своим идеалам (*ibid.*: ch. 3; *там же*: гл. 3).

В досовременном обществе труд преимущественно был ручным. В современном обществе он большей частью является семантическим. В этом обществе высока степень специализации труда, а производство строго стандартизировано и нуждается в том, чтобы каждый член общества имел определенное образование. Это означает, что все должны иметь *общее* образование, дополненное специальной подготовкой на работе. Общее обучение основным арифметическим навыкам и грамоте позволяет стать специалистом; без общих навыков семантической деятельности профессиональная подготовка невозможна. Такой тип обучения возник относительно недавно. Отличаясь от минимального, контекстуального образования, которое в досовременных обществах детям дают в основном семья или сельская школа, образование в современном обществе — дело государственной важности и играет гораздо более важную роль в жизнедеятельности общества. Государственные всеобщие системы образования или «экзосоциализация» обеспечивают тщательное обучение навыкам передачи четких и ясных сообщений и не зависящих от контекста смыслов в стандартном письменном языке и текстах (Gellner 1973; Gellner 1983: ch. 3; Геллнер 1991: гл. 3).

В отличие от предшествующих систем, современная сис-

тема образования представляет собой большую и сложную систему — государственный, стандартизированный, контролируемый и аттестующий институт по внедрению современных навыков, методов и ценностей. Только такая большая и сложная система в состоянии дать образование значительному числу людей, собирающихся стать «грамотными», и только грамотные люди могут быть полезными гражданами современного государства. Это означает, что масштаб всеобщего государственного образования устанавливает нижний предел образования нации, а также то, что только всеобщее образование в состоянии дать своим гражданам чувство самоуважения и идентичности:

Современный человек предан не монарху, стране или вере, что бы он сам ни говорил, но культуре.

(Gellner 1983: 36; Геллнер 1991: 90).

Масштаб важен также еще в одном, политическом, отношении. Только современное государство достаточно велико и компетентно для того, чтобы поддерживать и контролировать систему всеобщего государственного образования, подготавливающую индивида к жизни в «высокой» культуре индустриального общества. Система всеобщего государственного образования связывает воедино государство и культуру. В прошлом связи между государством и культурой были слабыми, неопределенными и случайными. Сегодня потребность в экзосоциализации предполагает, что такие связи неизбежно существуют; и именно поэтому мы живем в эпоху национализма.²

ОТ КУЛЬТУРЫ «НИЗКОЙ» К КУЛЬТУРЕ «ВЫСОКОЙ»

Переход от агрописьменного общества к индустриальному ознаменовался заменой «низкой» культуры «высокой». Геллнер определяет нацию как общество, обладающее высокой культурой, то есть специально культивируемой, стандартизированной, основанной на образовании книжной культу-

рой. Эти культуры он называет «садовыми», отличая их тем самым от «диких», спонтанно возникающих и ненаправленных культур, встречающихся, как правило, в агрописменных обществах, которые не нуждаются ни в продуманном построении, ни в наблюдении, ни в специальной подпитке. С другой стороны, культивируемые или садовые культуры сложны и разнообразны. Они поддерживаются специальным персоналом и, чтобы продолжать собственное существование, должны опираться на специальные учебные заведения, в которых на постоянной основе работает множество преданных своему делу учителей (*ibid.*: 50–52; *там же*: 116–118).

Сегодня многим низким, «диким» культурам не удастся сохраниться в индустриальную эпоху. Число таких культур слишком велико по сравнению с числом жизнеспособных государств, которые могут существовать в мире. Поэтому они, как правило, отступают без борьбы и не порождают национализм, тогда как те культуры, которые надеются на успех, борются между собой за возможное пространство для создания государства. Вот почему с этой точки зрения национализм слаб; лишь небольшая часть потенциальных языковых кандидатов выражает стремление стать нациями, а большинство по-прежнему находится в состоянии беспробудного «сна». С другой стороны, те культуры, которые порождают национализмы и создают свои собственные государства, становятся намного сильнее, чем прежде. Они являются всепроникающими и универсальными в рамках «своего» государства; у всех должна быть общая стандартизованная образовательная культура.

Каковы же тогда отношения между «низкой» и «высокой» культурами? По Геллнеру, культуры как системы норм и коммуникации всегда имели большое значение, но часто они пересекались, искусно сочетались и переплетались друг с другом. Вообще говоря, в досовременных обществах они ограничивались элитами; по сути, элиты использовали их, чтобы выделяться и отличаться от остального населения. В этом состоит основная причина невозможности возникновения наций и национализма до наступления современности. Од-

нако сегодня культуры широко распространены и гомогенны: и когда

социальные условия требуют стандартизированных, гомогенных и централизованно поддерживаемых высоких культур, охватывающих все население, а не только элитарное меньшинство, возникает ситуация, когда четко обозначенные, санкционированные образованием и унифицированные культуры становятся почти единственным видом общности, с которым люди добровольно и часто пылко отождествляют себя.

(*ibid.*: 55; *там же*: 126).

Эти новые проникающие высокие культуры столь важны для нормального функционирования индустриального общества, что каждое государство вынуждено их постоянно поддерживать и контролировать. Именно поэтому современный индустриальный мир напоминает ряд схожих в структурном отношении гигантских аквариумов или «воздушных камер», которые кажутся неглубокими, если чрезмерно подчеркивать культурные различия. Вода и воздух в этих резервуарах специально предназначены для выведения нового вида индустриального человека; занимающееся этим специальное предприятие — это национальная система образования и коммуникаций (*ibid.*: 51–52; *там же*: 118–119).

Как правило, оказывается, что преуспевающая новая высшая культура государства навязывается населению данного государства и в ходе этого по необходимости используются элементы старой «дикой» культуры. В этом заключается основная задача национализма. Нации не существовали от века лишь для того, чтобы пробудиться по зову националистов. Но культуры *существовали* всегда, и национализм использует их сырье:

Нации как естественный, данный от Бога способ классификации людей, как изначально уготованный им, хотя долго не осознаваемый политический удел — это

миф. Национализм, который иногда берет существовавшие ранее культуры и превращает их в нации, иногда изобретает новые культуры и подчас уничтожает старые, — *это* реальность, хороша она или плоха, и, в общем, реальность неизбежная.

(*ibid.*: 48–49; *там же*: 114)

Вопреки народным и романтическим представлениям, национализм

по существу, является навязыванием высокой культуры обществу, где раньше низкие культуры определяли жизнь большинства, а в некоторых случаях и всего населения. Это означает повсеместное распространение опосредованного школой, академически выверенного, кодифицированного языка, необходимого для достаточно четкого функционирования бюрократической и технологической коммуникативной системы. Это замена прежней сложной структуры локальных групп, опирающихся на народные культуры, которые воспроизводились на местах... самими этими микрогруппами, анонимным, безличным обществом со взаимозаменяемыми, атомоподобными индивидами, связанными прежде всего общей культурой нового типа. Вот что происходит *на самом деле*.

(*ibid.*: 57; *там же*: 130)

Отношения между старой «низкой» и современной «высокой» культурами проясняется, когда Геллнер отделяет принцип национализма («национализм вообще») от конкретных проявлений национализма («определенный национализм»). Вопреки тем, кто хотели бы доказать, что национализм социологически, как и логически, случаен, Геллнер утверждает, что он глубоко укоренен в современной ситуации, и от него не так-то легко отказаться. Он поясняет:

Именно национализм порождает нации, а не наоборот.

Конечно, национализм использует существовавшее ранее множество культур или культурное многообразие, хотя он использует его очень выборочно и чаще всего коренным образом трансформируя. Мертвые языки могут быть возрождены, традиции изобретены, совершенно мифическая изначальная чистота восстановлена. Но этот культурно-творческий, изобретательский, безусловно, надуманный аспект националистического пыла не должен склонить нас к ошибочному заключению, что национализм — это случайное, искусственное, идеологическое измышление, которого могло бы не быть, если бы только эти чертовски настырные, неутомимые европейские мыслители, которым до всего есть дело, не состряпали его и на беду не впрыснули в кровь доселе нормально функционировавших политических сообществ. Культурные лоскутки и заплатки, используемые национализмом, часто являются произвольными историческими изобретениями. Любой старый лоскут или заплатка также идет в дело. Но из этого ни в коем случае не следует, что сам принцип национализма в противоположность тем обличам, которые он избирает для своего воплощения, является случайным и произвольным...

Национализм — совсем не то, чем он кажется, и прежде всего национализм — совсем не то, чем он кажется самому себе. Культуры, которые он требует защищать и возрождать, часто являются его собственным вымыслом или изменены до неузнаваемости.

(*ibid.*: 55–56; *там же*: 127–128)

Геллнер признает, что национализм может быть не так уж далек от истины, когда народом правят чиновники, принадлежащие к чуждой высокой культуре, и что народ для начала необходимо освободить. Но новая культура, навязанная ему после освобождения, весьма отдаленно напоминает местные народные культуры; скорее,

он возрождает или изобретает собственную высокую (обладающую письменностью, передающуюся специалистами) культуру, хотя, конечно, такую культуру, которая имеет определенную связь с прежними местными народными традициями и диалектами.

(*ibid.*: 57; там же: 131)

Каким образом большинство населения перенимает новую высокую культуру? В сценарии, предложенном Геллнером, народ или руристанцы осознали существование собственной местной культуры и попытались превратить ее в письменную стандартизованную «высокую» культуру. Это не было результатом каких-то приземленных расчетов или манипуляций со стороны интеллигенции. Острые потребности рынка труда и бюрократии научили руристанцев проводить различие между благожелательными соотечественниками и враждебными чужестранцами. Этот опыт научил их любить (или ненавидеть) собственную культуру, а культура, в которой они *научились* общаться, стала ядром их новой идентичности.³

Здесь мы сталкиваемся с первым из двух принципов деления в индустриальных обществах — принципом препятствий коммуникации. Имеется и второй принцип, называемый Геллнером принципом препятствий «социальной энтропии» — таких особенностей культуры, которые на протяжении многих десятилетий мешают рассеянию населения индустриального общества. Это означает, что становится невозможно ассимилировать людей, которые обладают препятствующими энтропии чертами, например, людей, обладающих генетическими особенностями, наподобие цвета кожи, или религиозно-культурными обычаями, «часто пристающими, как банный лист», особенно у народов, имеющих книжную религию или особую письменность, которые обслуживаются подготовленными людьми. На последних этапах индустриализации, когда сокращается неравенство и упрощается коммуникация, такие группы не удастся ассимилировать даже мобильному, изменчивому обществу. Они находятся на другой стороне великой «моральной пропасти», которая развер-

зается между группами, обладающими особенностями, препятствующими энтропии, и принимающим обществом, вследствие чего становится возможным возникновение новых национализмов и наций (*ibid.*: ch. 6, особ. 70–73; *там же*: 162–166).⁴

НАЦИОНАЛИЗМ И ИНДУСТРИАЛИЗМ

Во многих отношениях эта поздняя версия теории Геллнера предлагает намного более полную и сложную картину причин национализма и его связей с современностью, нежели ее ранняя редакция. С одной стороны, она объясняет, почему в досовременном мире нет места нациям и национализму. С другой, она проводит различие между ранними и поздними стадиями индустриализации и объясняет, почему на поздних стадиях могут возникать движения за этническое отделение. Также она предлагает новую типологию национализмов с точки зрения отношений культурного многообразия, доступа к образованию и власти. И, прежде всего, проводя различие между «низкой» и «высокой» культурами, она ухватывает двойственность национализма, его обращенность к прошлому и модернистские импульсы, и разъясняет природу культурного перехода, который должен произойти на рубеже современности.

Между этими двумя версиями есть существенные различия. Ранняя версия выдвигала на первый план роль языка как средства обучения и связующей силы современного общества. В поздней версии язык хотя и присутствует, но уступает свою роль в создании граждан и поддержании высокой культуры индустриального общества всеобщей государственной системе образования. Точно так же ранняя редакция придавала особое значение роли критической интеллигенции как одной из двух «движущих сил» национализма (другой был пролетариат). В поздней версии особому вкладу интеллигенции уделяется гораздо меньше внимания, а ее место занимает государство и контроль над системой всеобщего образования. Но это лишь часть более масштабного

перехода от агентов модернизации (классы, профессиональные страты и т. д.) к структурам современности. Индивиды и совершаемый ими выбор не только лишаются самостоятельного значения, групповые участники и их стратегии становятся в лучшем случае продуктами взаимодействия «структуры» и «культуры», их движения предопределены драмой перехода от «низкой» культуры к культуре «высокой». Это справедливо как в отношении «пролетариата», занимавшего заметное место в ранней версии теории Геллнера, так и в отношении интеллигенции. На смену их ранней сецессионистской роли пришла неравномерность процессов развития, которые гарантируют, что возникновение современных империй невозможно и что национальные единицы являются нормой индустриального общества. И только невозможность ассимиляции некоторых групп, определяемых цветом кожи или древними религиозными культурами, бросает вызов детерминизму индустриализма.⁵

Но основной посыл теории Геллнера остается неизменным. Во всяком случае, это более очевидно в ее поздней версии. Нации, утверждает Геллнер, выполняют в индустриальном обществе важные функции. Они являются неотъемлемой частью современного мира, поскольку промышленный рост нуждается в широкой текучести и определенной гомогенности, индивидуальной мобильности в сочетании с культурной стандартизацией. Этого можно достичь только путем создания единообразной массы компетентных взаимозаменяемых граждан, а для этого в свою очередь необходима масштабная система всеобщего образования, финансируемая и контролируемая государством. Только с наступлением современности эти условия могли быть реализованы, и этим объясняется то, почему современная эпоха — это *ipso facto* эпоха национализма.

Таков по-прежнему убедительный и важный тезис, который отыскивает глубокую и основополагающую причину нескрушимости наций и периодического повторения и стремительного распространения национализма в современном мире. Но и у него есть свои недостатки. Мы, вместе с неко-

торыми историками, могли бы начать с вопроса о том, действительно ли существует такое явление как «национализм вообще», в отличие от необычайного многообразия или даже отдельных примеров националистического движения. В ответ на это возражение Геллинер разрабатывает собственную типологию национализмов и обрисовывает общий или чистый (идеальный) тип, к которому в большей или меньшей степени приближаются конкретные его проявления. Конечно, по-прежнему остается открытым вопрос о возможности подведения конкретного примера или даже всей совокупности конкретных примеров под общее понятие. Но одно то обстоятельство, что участники националистических движений и их противники, как правило, подводят свои действия под общее понятие «национализм», свидетельствует о его исследовательской необходимости и полезности.

Более важна проблема установления причинно-следственных связей. Можно признать, что национализм в каком-то смысле выполняет в современном индустриальном обществе (при всем разнообразии оснований) важные функции, но это никоим образом не объясняет возникновение и распространение национализма. Это не только вопрос логики объяснения. О существовании проблемы свидетельствует эмпирическое наблюдение конкретных примеров, когда националистические движения явно предшествовали приходу индустриализма. В Сербии, Финляндии, Ирландии, Мексике, Западной Африке и Японии — возьмем наугад лишь несколько примеров — во время зарождения национализма не наблюдалось сколько-нибудь значительного индустриального развития или даже его зачаточных форм. В Дании и Австралии, где в ходе развития происходила модернизация сельского хозяйства, а не индустриализация, националистические движения возникли соответственно в середине девятнадцатого и середине двадцатого веков. В наиболее показательном случае — Японии эпохи Мэйдзи — правители стремились насадить националистические ценности и мифы для модернизации страны, выходявшей из полуфеодальной изоляции. Даже на Западе — во Франции и Германии — национализм стал мощной

силой до наступления индустриализма, хотя он и совпал с первыми шагами в направлении модернизации.⁶

В теории Геллнера переход от «низкой» к «высокой» культуре, а также возникновение наций определяется логикой индустриальной социальной организации. Имеется даже указание на то, что нации и национализм — это внешние проявления куда более глубоких структурных изменений и могут быть сведены к этим изменениям. Такое впечатление создается вследствие полемики Геллнера против представлений национализма о самом себе. Не нация является основополагающей реальностью, которая ждет, чтобы ее пробудил националистический Прекрасный Принцип; именно культурная гомогенность, в которой нуждается *современная* индустриальная структура общества, находит свое выражение в нациях и национализме. С этой точки зрения, нации и националисты лишены самостоятельных действий и хотений; скорее, они выражают *форму* индустриализма, способ проявления индустриализма в мире явлений.

Это приводит к дальнейшим вопросам. Принимая во внимание множество путей, избранных различными странами при переходе от «традиционной» общины к более «современному» типу общества, а также различные интересы и потребности элит и классов во всех обществах и множество облиций, в которых появляются нации, нельзя ли предположить, что в их деятельности, обществах и их подгруппах все следует одной и той же «логике перехода» и что, с незначительными различиями, сам переход — это именно тот путь, который должны пройти все без исключения? Геллнер мог бы сказать, что вполне возможно примирить многие различия самого процесса перехода и формы его выражения, поскольку окончательная его цель — современность со всеми ее требованиями — остается прежней. По его мнению, возможности выбора, открытые для индивидов и групп, точно так же жестко ограничиваются параметрами модернизации. Независимо от того, какие па могут выполнять элиты, танец, по сути, не меняется.

Мы рискуем отойти от предмета нашего исследования,

если займемся спорами по поводу особенностей современности, а также обоснованности и полезности понятия модернизации. Достаточно сказать, что:

- 1 понятие модернизации и его связь с индустриализацией и развитием не до конца понятны и весьма спорны;
- 2 отсутствует согласие относительно обоснованности и полезности основополагающего различия между «традицией» и «современностью», а также обстоятельствами, которые якобы с ними связаны;
- 3 есть множество примеров, когда «традиционные» и «современные» элементы сосуществуют и даже переплетаются;
- 4 очевидна опасность этноцентризма во всех смыслах этого слова, связанная с понятиями современности и модернизации.

Неоднозначно и использование этих понятий самим Геллнером. С одной стороны, понятие модернизации, по-видимому, отсылает к экономическому росту или индустриализации; с другой стороны, оно обладает более широкими коннотациями, отсылая ко всему, чем сопровождается индустриализация (ее внешние признаки и ожидания), то есть к вестернизации. В узком смысле слова, как мы вкратце заметили, трудно поддерживать тесную связь между национализмом и индустриализмом или развитием. Национализмы возникают во всех социально-экономических условиях и социальных системах. В широком смысле слова, принимая во внимание значительное региональное и культурное многообразие условий развития, понятие модернизации распадается на ряд траекторий и процессов, которые исторически разнятся от государства к государству и от одного этнического сообщества к другому. Попытка наложить один единственный абстрактный «чистый тип» современности (и модернизации) на широкое многообразие исторических процессов, чтобы разяснить основополагающую логику противопоставления и перехода от состояния «традиции» к состоянию «современно-

сти», приводит к преувеличению исторического разрыва между ними и отрицанию значительной преемственности и совместного существования их составляющих. Вскоре мы к этому вернемся.⁷

НАЦИОНАЛИЗМ И «ВЫСОКИЕ КУЛЬТУРЫ»

Основное новое понятие, используемое Геллнером во второй редакции своей теории, — это понятие «высокой культуры», то есть письменной, публичной культуры, привитой при помощи стандартизированной и контролируемой учебными заведениями системы образования, обслуживаемой специально подготовленными людьми. Она связана с образованными горожанами и может быть уподоблена одомашненной «садовой» культуре. По Геллнеру, национальная идентичность — это просто идентификация граждан с публичной городской высокой культурой, а нация — это выражение высокой культуры в социальной и политической сферах. Национализм, в свою очередь, может рассматриваться как стремление обрести и сохранить такую высокую культуру и создать сообразное ей государство.

Здесь есть множество сложностей. Первая — связь высоких культур с государствами и политикой вообще. Служат ли все «высокие» культуры воплощением власти, властных элит, могущественных государств или народов? Служит ли достижение конкретным народом высокой культуры актом получения власти, благодаря которому народ как бы вступает в сферу политики и становится «субъектом» истории? Такие выводы, видимо, следуют из предположения Геллнера о том, что для того, чтобы «плавать в море индустрии», необходима высокая культура, и что те культуры, которые не в состоянии стать письменными, обслуживаемыми специалистами и поддерживаемыми образованием «высокими» культурами, в современную индустриальную эпоху обречены на гибель. Каким же образом «низкие» культуры малочисленных и слабых народов, иногда даже лишенных собственных элит, превращаются в культуры «высокие»? Каковы механизмы, обес-

печивающие успех такой метаморфозы? Геллнер ссылается на точку зрения Пламенаца о том, что обладающим развитой культурой народам гораздо проще приспособить свои культуры к потребностям современного индустриального общества, чем тем, у которых такая культурная инфраструктура отсутствует. Но это лишь обостряет проблему объяснения существования «угнетенных народов» и превращения их диких «низких» культур в культуры письменные, сложные, основанные на образовательной системе и обслуживаемые специалистами (Plamenatz 1976; Gellner 1983: 99–100).

Проблема становится еще более сложной для Геллнера, когда он подчеркивает отсутствие преемственности между старыми «низкими» и современными «высокими» культурами, когда он подчеркивает современные истоки последних и то, что они отвечают требованиям современности. Действительно, сложно понять, как и почему кто-то должен был захотеть превратить досовременные финскую или чешскую, курдскую или эврейскую «низкие» культуры в современные письменные «высокие» культуры вместо того, чтобы принять лежавшую под боком высокую культуру преобладающей в государстве этнической группы. Безусловно, именно так чаще всего и происходит на индивидуальном уровне. Однако же на коллективном уровне наиболее распространен и куда более взрывоопасен обратный процесс, модернизация низких культур в высокие.⁸

Есть еще одна сложность. Геллнер часто подчеркивает изобретенный, даже искусственный характер большей части современной высокой культуры, созданной интеллигенцией и передаваемой тысячам школьников посредством стандартизованных учебников и учебных курсов. Его мысль заключается в том, что в современном обществе мы отождествляем себя с публичной *преподаваемой* культурой, а не с нашей исконной культурой или культурой семьи.

Даже если мы признаем эмпирический факт, по-прежнему открытым останется вопрос о лояльности: почему кто-то должен отождествлять себя с официальной школьной культурой? Семидесятилетняя история коммунизма показала

нам, насколько неэффективной на протяжении даже двух поколений может быть массовая идеологическая обработка. Должны ли мы поверить, что одно поколение крестьян стало французскими патриотами, потому что оно прошло общеобразовательный курс обучения и школьную систему, а после этого было готово всем скопом умереть за *patrie en danger*? Разве целью жертвы во имя родины является защита высокой культуры, основанной на образовании? Проблема становится еще более острой в авторитарных государствах (особенно для подчиненных этнических сообществ), о чем нам не раз приходилось вспоминать за последние годы.⁹

Современные граждане действительно тратят много времени и сил на получение образования. Но только этим невозможно объяснить глубокую приверженность и страсть к нации, которая характерна для многих людей во всем мире. Государственное образование, безусловно, тесно связано с личным успехом, но связь между личным успехом и лояльностью, не говоря уже о самопожертвовании во имя нации, далеко не ясна. Даже вклад интеллигенции в их языковое образование не может до конца объяснить их националистический пыл.

НАЦИОНАЛИЗМ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Во второй теории Геллнера система всеобщего государственного образования выполняет основополагающую задачу прививания горячей приверженности к нации ее гражданам и поддержания высоких культур, необходимых индустриальным обществам. Именно такой была роль новой стандартизированной системы всеобщего образования в французской Третьей республике. Стремясь обучить и воодушевить множество пламенных граждан после крупного поражения во Франко-прусской войне и утраты Эльзаса и Лотарингии, республиканские лидеры разработали систему всеобщего государственного образования, основанную на стандартизованном учебном плане, особенно по «национальным» предметам, вроде литературы, географии, истории и физической

подготовки. Например, у каждого французского школьника в портфеле лежал стандартный учебник по истории, написанный Лависсом, а содержавшееся в нем послание о французском величии и территориальной целостности стало важной составляющей французского национального сознания последующих поколений. Схожие попытки выковать национальное сознание посредством всеобщего государственного образования имели место в недавно получивших независимость национальных государствах, вроде Японии, Турции и Нигерии.¹⁰

Нет никаких сомнений в том, что лидеры новых (и некоторых старых) государств очень серьезно отнеслись к гражданской роли государственного образования. Но в большинстве случаев с особым рвением восприняли ее лидеры именно националистических режимов. Эти государственные всеобщие системы образования и их ценности — это продукт, а не причина пришедшего к власти националистического движения. Если мы восстановим происхождение и направленность этих национализмов, то обнаружим, что в каждом конкретном народе первые националисты, выдвинувшие идею и выступавшие за дело будущей нации, не были — и не могли быть — продуктом национальной всеобщей государственной системы образования, которая в то время еще не возникла. В действительности, они, скорее всего, будут продуктом традиционного сельского образования или какой-то другой системы государственного образования — обычно колониальной или имперской — на «своих» территориях, либо же их обоих вместе. Кроме того, они могут располагать определенным доступом к системе образования (или ее продуктам) другого, как правило, отдаленного национального государства посредством путешествий, чтения или средств массовой информации. Отчасти из желания воспроизвести и превзойти такие системы первые националисты сразу же после прихода к власти считают первоочередной задачей установление собственной всеобщей государственной системы образования, которая отражала и выражала бы их систему национальных ценностей (см.: Argyle 1976; A. D. Smith 1983a: ch. 6).

Та же аргументация применима и к массе сторонников этих ранних националистов, которых Мирослав Хрох назвал патриотическими агитаторами националистического движения фазы В. Они тоже получают образование либо в семье и сельской школе, либо в гимназии и государственных школах имперского или колониального государства. Иными словами, националистическое движение предшествует и новой высокой культуре, созданию которой оно способствует, и новой государственной системе всеобщего образования, устанавливаемой им после получения территорией независимости. Из этого следует, что пыл и страстное самопожертвование националистического движения нельзя объяснять с точки зрения экзосоциализации, всеобщей национальной системы образования и приверженности к высокой культуре. Скорее, все это продукты национализма и его программы национального возрождения (Hroch 1985, 1993).

Но следует ли нам соглашаться с националистической верой в действенность всеобщего государственного образования при формировании новых граждан нации? Только ли коммунистический эксперимент по массовой идеологической обработке населения потерпел полный провал? Некоторые западные государственные системы всеобщего образования на опыте доказали неспособность привить соответствующие гражданские ценности, навыки и лояльности многим своим «продуктам». Это говорит о том, что даже в тех условиях, когда всеобщему государственному образованию придается особое значение, ожидания часто оказываются обманутыми. Всеобщее гражданское образование зачастую не достигало национальных и политических целей, для которых оно было создано и которых, как ожидали националистические теоретики от Руссо и Фихте до Гокалпа и Бен-Цион Динура, оно должно было достичь.¹¹

Один из недостатков точки зрения Геллнера на роль всеобщих государственных систем образования заключается в том, что предполагается существование только одной «подлинной» версии национализма, немецкой романтической доктрины органических наций, основная цель которой со-

стояла в достижении культурной гомогенности определенного народа путем «воспитания национальной воли». Но хотя такая версия национализма и оказала влияние на Восточную Европу и в какой-то мере на Азию, она ни в коей мере не является единственной его разновидностью, даже когда национализм, с ее точки зрения, терпел провал. Когда же совершались попытки применения ее установок в государствах, где проживало больше одного этнического меньшинства, она преуспела лишь в усилении этнической напряженности и подчеркивании «многонационального» характера государства, как в бывшей Югославии, бывшей Чехословакии, Ираке, Иране и Индии. Большинство государств действительно являются многонациональными, так что стремление к культурной гомогенности нечасто достигает своей цели в либеральных или демократических государствах. Даже там, где авторитарные или тоталитарные режимы практикуют переселение и геноцид народов, значительные меньшинства часто сохраняются. Другие модели национализма придавали большее значение территориальному и политическому единству, нежели культурной гомогенности — на Западе, а также в Африке, Латинской Америке, Австралии и некоторых районах Азии. Хотя было бы упрощением сказать, что эти национализмы являются «гражданскими», а не «этническими» (в большинстве случаев в них в различной степени сочетается и то, и другое), очевидно, что этническая составляющая часто модифицировалась другими политическими традициями.¹²

В действительности, в либеральных и демократических государствах задачей национальной системы всеобщего образования была не столько гомогенизация населения, сколько его объединение вокруг определенных общих ценностей, символов, мифов и воспоминаний, признание возможности сохранения меньшинствами своих символов, воспоминаний и ценностей и стремление приспособить или включить их в широкую государственную культуру и ее национальную мифологию. Все более громкие требования этих этнических и религиозных меньшинств и неприязнь либеральных об-

ществ к культурному подавлению не привели к отказу от национальной лояльности или гражданского образования. Наоборот, в рамках системы всеобщего образования наиболее развитых индустриальных обществ были предприняты усилия, направленные на более или менее открытое удовлетворение разнообразных этнорелигиозных культур посредством идеала «мультикультурализма», используя имеющееся культурное разнообразие для улучшения качества более сложной «национальной идентичности».¹³

НАЦИОНАЛИЗМ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Возвращаясь к основополагающему процессу в теории Геллнера, переходу от низкой культуры к культуре высокой, возникают два вопроса. Первый касается «понимающих соотечественников». По Геллнеру, люди не приходят к высоким культурам вследствие осознания «потребностей индустриализма» или выгодных расчетов. Скорее, условия модернизации заставили руританских крестьян сорваться с насиженных мест и перебраться в Мегаломанию в поисках работы, где они столкнулись с враждебной бюрократией. Поэтому именно процессы модернизации вызвали приверженность новой высокой культуре. В этих обстоятельствах оторванные от своих корней крестьяне вскоре осознали

разницу в отношениях с людьми, сочувствующими и симпатизирующими их культуре, и с людьми, враждебными ей.

Геллнер продолжает:

Этот очень конкретный опыт научил их осознавать свою культуру и любить ее (или, вернее, желать быть свободными от нее) без какого-либо сознательного расчета на преимущества и перспективы социальной мобильности.

(Gellner 1983: 61; Геллнер 1991: 138)

Здесь культура, которую они научились понимать, оказывается их исконной «низкой» культурой, а не культивируемым «садовым» многообразием, ассоциирующимся с индустриализмом. Соотечественники также оказываются представителями той же низкой культуры, которые понимают и сочувствуют «нашей» дикой деревенской культуре. Это, в свою очередь, говорит о том, что нация и национализм существовали до перехода к индустриализму, что особая новая высокая культура еще не была создана, по крайней мере, понимаемыми соотечественниками, и что действительная дистанция между низкой и высокой культурами может быть не такой уж большой, как полагает теория. Прежде всего, низкая культура (несомненно, соответствующим образом подготовленная и упрощенная) служит основой близости руританских крестьян и понимающих соотечественников и враждебности к ним бюрократов, далеких от низкой культуры.

В действительности, имеется множество свидетельств того, что именно эти низкие культуры способствуют возникновению такой страстной лояльности. Так, культура чешских крестьян отличалась от культуры ранней богемской аристократии, а финская культура не была преемницей шведской верхушки общества. Связь между украинской крестьянской культурой и культурой Киевской Руси, существовавшей за несколько веков до нее, столь же неясна, как и связь между словацкими крестьянами и их загадочными героическими предками, жившими тысячелетием ранее. Во всех этих случаях побеждала и становилась новой высокой культурой именно «низкая» культура крестьян этих восточноевропейских национальных государств.¹⁴

Это первое отклонение от модели Геллнера. Второе появляется там, где новой массовой культурой является обновленная версия старой элитарной высокой культуры, как во Франции и Польше, Японии и Эфиопии. Здесь мы можем задать вопрос, действительно ли потребности индустриализма объясняют и лежат в основе новой высокой культуры? Не лучше ли форму и содержание этой культуры объяснять и возводить к старой элитарной культуре господствовавшей

этнической общности? То обстоятельство, что такие досовременные элитарные высокие культуры модернизировались, их идеи получили развитие, словари расширились, а формы упростились, в расчет не принимается. Вопрос в том, в какой степени современная всеобщая государственная культура национального государства является современной версией досовременной элитарной высокой культуры господствующей этнической общности или в какой степени она просто использует «материалы» той культуры в своих собственных, совершенно иных новых целях (см.: Fishman *et al.* 1968, 1972; Edwards 1985).

Как мы видели, Геллнер неоднократно возвращается к этому вопросу. Всякий раз он предлагает целый спектр сценариев: определенная степень преемственности со старой низкой или высокой культурой; уничтожение досовременной культуры; предвзятый отбор из нее тем и мотивов; коренное преобразование ее составляющих; изобретение досовременных культур и почти произвольное использование некоторых их культурных составляющих — по его выражению: «сгодится любой ветхий клочок и обрывок». Таков весь репертуар национализма и его бесцеремонного использования прошлого.

У модели «использования истории» есть свои притягательные стороны. Исторические прецеденты могут быть полезны для националистической риторики и националистических реформаторов, которые хотят предпринять болезненные новые меры, чтобы усилить нацию. Исторические *exempla virtutis* также могут служить задачам националистических моралистов, указывая на героические добродетели «наших предков». Прошлое, несомненно, можно прекрасно использовать как источник культурных фактов для нравоучительных примеров. «Националистическое прошлое» всегда стоит на службе предрассудков, потребностей и интересов современных лидеров и их сторонников, о чем свидетельствует множество территориальных претензий, повсеместно предъявляемых националистами. Здесь Геллнер соглашается с модернистским представлением о том, что прошлое

формируется современными условиями и потребностями (см.: Gellner 1997: ch. 15).¹⁵

Но можно ли грабить «прошлое» таким образом? Состоит ли оно только лишь из *exempla virtutis*, моральных примеров, достойных подражания? И могут ли националисты использовать этно-историю в такой инструменталистской манере? То, что они — иногда не безуспешно — пытались поступать таким образом, сомнений не вызывает. Тилак использовал некоторые темы и события маратхского и индуистского прошлого Индии, в том числе воинский культ Шивы, поклонение грозной богине Кали и совет, данный Кришной Арджуне в «Бхагавадгите». Но, выйдя в какой-то момент наружу, эмоции, вызванные такими интерпретациями героического прошлого, влекут за собой глубокие и долгосрочные последствия, которые связывают инициаторов и их последователей с системой взглядов и традицией, не ими самими созданной, как показывает беспокойная современная история Индии. Они начинают подчиняться преемственности традиции, передаваемой по наследству последующим поколениям общности, а также представлениям и эмоциям, оформившимся в тех традициях, в которых они выросли. Иными словами, националисты могут иногда использовать «этническое прошлое» в своих собственных целях, но не постоянно: вскоре они окажутся запертыми в системе взглядов и последствий, а также посылок, лежащих в основе интерпретаций, предлагаемых последующим поколениям.¹⁶

Нельзя сказать, что у каждого сообщества есть только одно «этническое прошлое» или что представления последующих поколений этого сообщества остаются неизменными. Напротив, поскольку группы и страты в самой общине эмансипированы, создаются новые интерпретации прошлого, а через какое-то время возникают более сложные и полные образ и понимание «нашего этнического прошлого». В то же самое время существующая преемственность и предыдущие интерпретации ограничивают возможности коренного изменения.

Даже в случае крупных революций по завершении насильственного этапа часто происходит постепенный возврат к

некоторым прежним коллективным интерпретациям и ценностям. Наши представления о прошлых культурах устанавливают пределы, в которых они могут изменяться; чем богаче и лучше описано прошлое и культуры и чем больше наше знание и понимание их, тем трудней и сложнее оказывается задача изменения этих культур и наших интерпретаций прошлого (см.: Brass 1991: chs 1–2). Поэтому всегда имеет место сложное взаимодействие между потребностями и интересами современных поколений и элит, моделями и преемственностью старых культур и опосредованными интерпретациями «нашего» этнического прошлого. Так возникает следующий вопрос, к которому теория Геллнера не относится с должным вниманием: современное желание *установить подлинность* прошлого, отобрать из всего, что ушло, то особое, уникальное и «по-настоящему наше» и тем самым обозначить уникальную общую судьбу. Иными словами, процесс отбора традиций сообщества и их интерпретаций нельзя просто свести к интересам и нуждам конкретных элит и нынешних поколений. Такой настойчивый акцент на определяющей роли настоящего мешает нашему пониманию взаимодействия нынешних и прошлых поколений, их забот и успехов.¹⁷

Также упускается роль национализма в отношении различных поколений — прошлых, настоящий и будущих — и их соответствующих проблем и достижений. Будучи коллективной драмой спасения, национализм определяет, что будет значимым при коллективном очищении и возрождении. Короче говоря, все, что является народным, подлинным и освобождающим, способствует возрождению нации, тогда как все, что является частным, космополитическим и подавляющим, должно замедлить ее возрождение. Высшая ценность для национализма — коллективная автономия. Но автономия нуждается в сплоченности коллектива и особой идентичности.

«Мы» не может быть по-настоящему автономным и внутренне свободным, если среди его членов нет единства и отсутствует представление об особой общей истории и культу-

ре. Поэтому основу коллективной автономии всегда следует искать в сплоченности и отличительных особенностях сообщества; в свою очередь, его отличительные особенности или индивидуальность оцениваются количеством и качеством «его собственных» элементов, которые принадлежат – и приписываются – только данному сообществу и никакому другому. Подлинная свобода состоит в том, чтобы быть «честным по отношению к самому себе», постигая уникальную и несравнимую коллективную культурную идентичность. Основная задача националиста состоит в том, чтобы открыть и понять, что действительно специфично для «него», и очистить коллективное «я» от всяких следов «другого». Поэтому повторное открытие, установление подлинности и верная интерпретация уникального этнического прошлого становятся основной задачей националистов. Из этих трех составляющих главным является процесс «установления подлинности» или отсева элементов испорченного чужого от чистого и подлинного своего: грубо говоря, то, что принадлежит «народу», является чистым и подлинным. Подобно Левину, который увидел в простоте и чистоте русского крестьянина скрытую добродетель, националисты находят подлинную нацию в жизни и ценностях простого народа (см.: Thaden 1964).

По Геллнеру, все это, безусловно, жульничество и самообман национализма. Но здесь необходимо не упустить суть. В действительности националисты могут жить в современном городе, превознося крестьянскую жизнь и народные обычаи, но их модель нации и их стремление к ее возрождению основываются на их вере в идеал национальной подлинности и ее воплощение в «народе». Если мы не поймем этого, нам не удастся объяснить мессианский пыл национализма, его способность вновь и вновь приводить в замешательство формальную рациональность развитых промышленных обществ, а также традиционный порядок жизни обществ аграрных, и с ловкостью хамелеона давать новые интерпретации и исправления общепринятых национальных образов и нарративов, как это происходит в современной России и Во-

сточной Европе. Именно эта гибкость в сочетании с горячей верой в народ как критерий национальной подлинности позволяет национализму «исправляться» и менять официальные и общепринятые версии национального прошлого и национальной судьбы, сохраняя преданность основным целям коллективной подлинности, сплоченности и автономии (см.: Hutchinson 1987: ch. 1).

Поэтому постоянное обращение национализма к этно-истории, к подлинному прошлому народа, не простое позерство или бесцеремонный жест и не просто общая риторика, скрывающая свои истинные намерения. Скорее, народническая (*narodnik*) составляющая представляет собой неотъемлемую часть проекта модернизации. В этом отношении национализм можно рассматривать как мост между особым наследием этнического прошлого и его «незаменимыми культурными ценностями» и потребностью каждого сообщества жить в качестве одной нации среди многих во все более бюрократизированном мире индустриального капитализма. При этом национализм действует как призма, благодаря которой в условиях современного мира сохраняется, пусть и в превращенной форме, определенная преемственность с прошлым.

НАЦИОНАЛИЗМ И ЭТНИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ

Проблема национальной исторической преемственности тесно связана со сложным вопросом относительно отношений этничности и национализма.

Для многих теоретиков прилагательные «этническое» и «национальное» взаимозаменяемы, и они не проводят различия между этническими группами и нациями. Для других этничность означает раскол в рамках нации, как правило, в национальном государстве; как и регионализм, она считается «субнациональным» явлением. Геллнер вообще избегает употребления этого термина, приравнивая прилагательное «этническое» к «национальному» при обсуждении границ или используя его попеременно с «культурой», за исключе-

нием тех случаев, когда описываются «расовые» группы. Эта неточность и недостаточное внимание, уделяемое этническим явлениям, отчасти связаны с его поверхностным и неоднозначным рассмотрением связи национализма с прошлым. Принимая во внимание основное положение его теории, происхождение наций и национализма из последствий современности, едва ли можно удивляться тому, что история и этничность рассматриваются как что-то второстепенное.¹⁸

Но, как я докажу в дальнейшем, этничность, как и история, чрезвычайно важна для адекватного понимания национализма. Как будто уподобление этничности национальности снимает все вопросы; приравнивание ее к культуре — не менее спорному, неоднозначному и запутанному понятию — никак не способствует дальнейшему пониманию. Оно также приводит к детальному обсуждению сильных и слабых сторон национализма с точки зрения множества «культур» (этнических групп), которые не в состоянии «пробудиться» и бороться за то, чтобы стать нациями («невозмутимые сони», по словам Геллнера). Дело в том, что большинство этих «культур» или «этнических групп» различаются только внешне; коллективное самосознание или чувство общности и солидарности у них не развито или отсутствует вовсе. Полагать, что ограниченное скопление людей, говорящих на схожих наречиях, следующих одним и тем же обычаям и поклоняющихся тем же богам, образует этническое сообщество и, следовательно, должно дать рождение национализму, если национализм считается «сильным», — значит упускать жизненно важные этапы этногенеза и пренебрегать поиском факторов, способствующих превращению неопределенной этнической категории в этническое объединение, а затем в этническое сообщество, не говоря уже о нации (см.: Harnad 1977; Eriksen 1993).

В тех случаях, когда существовавшие ранее культуры были плодами этнических сообществ, они зачастую сохраняют связующее коллективное качество, которое нельзя свести к ряду (препятствующих энтропии) «черт» и «клочков и обрывков». Этно-история — это не кондитерская, в которой

националисты могут «набирать и смешивать»; она накладывает ограничения на всякое выборочное усвоение, обеспечивая особый контекст и модель событий, персонажей и процессов и устанавливая рамки, символические и институциональные, в которых происходит дальнейшее этническое развитие. Она предоставляет особое, но завершенное наследие, которое невозможно разделить, а затем подавать *à la carte*.

Поэтому националистическое обращение к прошлому — это не только возвеличивание народа и призывы к нему, но и повторное открытие отчужденной интеллигенцией всего этнического наследия и живой общности предполагаемого происхождения и истории. Повторное открытие этнического прошлого поставляет жизненно важные воспоминания, ценности, символы и мифы, без которых национализм был бы бессилен. Но эти мифы, символы, ценности и воспоминания вызывают у народа отклик, потому что они основываются на живых традициях людей (или выделяются из них), которые способствуют объединению и проведению различий между ними и их соседями. Это единство в свою очередь основывается на влиятельном мифе предполагаемого общего происхождения и общих исторических воспоминаниях. Чтобы достичь успеха, националистическая идея должна суметь выстоять перед историческими сомнениями и критикой, поэтому необходимо, чтобы имелись достаточно достоверные данные относительно первоначальных этнических истоков или же последние должны быть настолько окутаны мраком, чтобы быть невосприимчивыми к опровержениям.

Столь привлекательными и влиятельными эти мифы, ценности, символы и воспоминания делает их обращение к предполагаемому родству и совместному проживанию для подкрепления подлинности уникальных культурных ценностей сообщества. В этом смысле этническое сообщество напоминает расширенную семью или, скорее, «семью семей», которая растянута во времени и пространстве и включает множество поколений и множество областей в рамках определенной территории. Это чувство расширенного родства,

родни и друзей, связанное с определенной «родиной», лежит в основе национальных идентичностей и сплоченности многих современных наций и наделяет их представителей живым чувством родственной связанности и давней преемственности. Эти темы я более подробно рассмотрю во второй части данной книги.

А пока нам необходимо установить изъяны модернистских теорий, например, теории Геллнера, которые, несмотря на всю их пронизательность и оригинальность, не в состоянии объяснить историческую глубину и пространственную протяженность уз, скрепляющих современные нации, потому что у них нет теории этничности и ее связи с современным национализмом. Отсюда следует неспособность модернистских теорий ответить на вопросы, связанные с обстоятельствами возникновения конкретных наций и национализмов. Хотя такие теории весьма убедительно решают вопросы, связанные с обстоятельствами возникновения национализма вообще, они не могут ответить на вопросы о том, что собой представляют нации, где и на какой основе возникают такие особые нации или какова вероятность возникновения наций и национализмов в будущем. Ответы на эти вопросы нам придется искать в другом месте.

Две могучие силы сформировали современный мир. Две силы, выросшие бок о бок, распространившиеся по земному шару и проникшие в каждый аспект современной жизни. Силы эти — капитализм и национализм.

Некоторые из самых ранних попыток дать объяснение национализма устанавливают причинную связь между ним и возникновением капитализма. Это главная тема различных социально-экономических направлений классического модернизма. Всегда стоял вопрос — можно ли убедительно доказать, что возникновение и распространение наций и национализма тесно связано с социальными последствиями капитализма, или в более широком смысле — с экономическими мотивациями и изменениями в экономике. Здесь я хочу рассмотреть некоторые современные модели, в которых отражаются эти связи, и определить достоинства и недостатки такого рода подходов.

В основе этих моделей, безусловно, лежит наследие классических марксистских интерпретаций «национального вопроса». Маркс и особенно Энгельс определяли современные нации в духе немецкой романтической традиции как сообщества «языка и взаимного понимания», а следовательно, в каком-то смысле как «естественные», по крайней мере, по форме. Напротив, национальное государство и национализм, идеологическое движение, были специфическим продуктом своего времени и особенно эпохи зарождения индустриального капитализма. Для Маркса и Энгельса национальное государство было необходимой основой для создания буржуазией рыночного капитализма. Только единое в национальном отношении территориальное государство могло обеспечить свободное и мирное движение капитала, товаров и рабочей силы, необходимое для крупномасштабного производства, рыночного обмена и распределения товаров мас-

сового потребления. Следовательно, формирование однородных с точки зрения языка государств было необходимым условием возникновения рыночного капитализма, а потому дальнейшее развитие капитализма неизбежно зависело от политического и культурного развития «ведущих наций», как их называл Маркс. Только в высоко развитых государствах можно было рассчитывать на осуществление социалистической революции, которая привела бы к ниспровержению национальной буржуазии внутри каждого государства и установлению социалистических режимов пролетариатом, классом, который был и универсальным и в тоже самое время подлинным олицетворением нации и ее культуры. Ни Маркс, ни Энгельс не считали, что одновременно с уничтожением государства произойдет увядание наций. Напротив, они утверждали, что, несмотря на то, что будет происходить всемирная конвергенция культур, различные типы наций и национальные культуры сохранятся, хотя и приобретут социалистическое содержание.¹

Что касается стратегий на ближайшее время, то Маркс и, в особенности, Энгельс подразделяли национализм на «прогрессивный» и «реакционный» в зависимости от того, способны они были ускорить социальную революцию и содействовать социалистическому развитию «исторических» наций или нет. Энгельс, в частности, заимствовал теорию Гегеля о «народах без истории», которая проводит различие между более мелкими народами, не имевшими традиции государственности, и более крупными, обладавшими государственной или политической традицией в прошлом, и, следовательно, способными построить национальное государство в будущем, и которые следует поддерживать в этом стремлении. По этой причине Энгельс был особенно привержен идее борьбе Польши за независимость; кроме того, он считал, что эта борьба ослабит величайший оплот реакционного феодализма — царскую Россию.²

Вследствие роста борьбы за независимость в Восточной Европе и массовых национальных волнений в Габсбургской империи и царской империи, «тюрьме народов», последова-

телям марксизма — Ленину, Каутскому, Люксембург и Бауэру — пришлось уделить «национальному вопросу» намного больше внимания. В этой связи в горячих дискуссиях между последователями марксизма обозначилось несколько основных тем:

- 1 мелкобуржуазная природа национализма, интеллигенция как его носитель, испытывающая все более сильное давление крупного капитала, с одной стороны, и мощных пролетарских движений, с другой;
- 2 использование националистических идеологий триумфальной, но встревоженной буржуазией для того, чтобы пробудить «ложное сознание» и, таким образом, вызывать разногласия и отвлечь внимание угрожающих их положению народных масс;
- 3 прогрессивный характер антиколониальных освободительных движений, то есть национализмов, возглавляемых зарождающейся буржуазией колоний против эксплуатации капиталистами метрополий;
- 4 право всех подлинных наций выходить из состава более крупных государств, особенно, полуфеодальных империй, до установления социалистического режима.

Хотя среди марксистов никогда не было согласия по вопросу о национализме, эти положения неоднократно поднимались в их работах. В отличие от австромарксистов, стремившихся представить культуру и сообщество в качестве независимых переменных в процессе эволюции наций, сторонники классического марксизма твердо придерживались глубокого экономического анализа, который, объясняя националистическую борьбу, сводил ее к определенной стадии капитализма (ранней, поздней, монополистической, империалистической и т. д.), на которую возлагалась ответственность за эти политические события. Будучи новыми элементами политической и идеологической надстройки, нации и национализм, в принципе, возникли вследствие экономических противоречий капитализма и должны рассматриваться

в значительной степени, если и не полностью, с точки зрения их классовой формы и классовой борьбы (см.: Orridge 1981; Nimni 1994).

ИМПЕРИАЛИЗМ И ТЕОРИЯ НЕРАВНОМЕРНОГО РАЗВИТИЯ

Послевоенные социально-экономические модели национализма одновременно развивали эти марксистские традиции и порывали с ними. Эта противоречивость особенно заметна в работе Тома Нейрна. Нейрн, обосновывая свою теорию неравномерного развития и империализма, опирается на множество источников. Два положения были взяты из марксистского наследия и уже кратко обозначены выше: идея Ленина относительно империалистического капитализма и колониальных национально-освободительных движений и переработка Энгельсом гегелевской теории народов без истории. Нейрн, однако, широко использует модель зависимости Андре Гюндер Франка и его понятия — «центр и периферия» и «отсталость». Тем не менее, он придает последнему новое направление и связывает его с идеей «неравномерного развития», положением, которое он заимствует из теории Геллнера, но применяет неравномерность скорее к капитализму, нежели к индустриализации.³

Сначала Нейрн помещает национализм в контекст политической философии. Он считает национализм наиболее идеалистическим и субъективным идеологическим феноменом и утверждает, что мы можем понять экстраординарные проявления этого наиболее субъективного и романтического феномена, только поместив его в жесткие рамки современной мировой политической экономии, которая дает точное его отражение. Нейрн допускает, что нации и этнические идентичности существовали еще до современной эпохи, но пытается ограничивать свой анализ историческими рамками, фокусируя свое внимание именно на современном и глобальном феномене национализма. Чтобы объяснить, почему национализм так стремительно и с таким успехом распространился по всему земному шару, нам нужна специаль-

ная теория, которая выводит причину его возникновения исключительно из современных событий (Nairn 1977: 97–98).

В данном контексте ключевым фактором является не капитализм сам по себе, а его *неравномерное развитие*. Чтобы понять его последствия, мы должны провести пространственный анализ «центра» и «периферии» для эпохи после 1800 года. По крайней мере, начиная с этого времени, мир может быть поделен на капиталистические центры на Западе и слаборазвитые периферии за его пределами. С одной стороны, национализм является следствием неравного соперничества центра и периферии. Неравенство проистекает из неравномерного и часто насильственного насаждения капитализма буржуазией Запада в неразвитых и отсталых регионах мира, эксплуатации одной периферии за другой и, как результат, низкого уровня их развития в интересах дальнейшего развития центров. В отличие от иллюзорного представления метрополии о «равномерном и поступательном развитии материальной цивилизации и массовой культуры», свойственного эпохе европейского Просвещения, империалистическое развитие приводит не только к насильственной аннексии внешней территории, но и к эксплуатации дешевой рабочей силы и природных ресурсов периферийных районов мира капиталистами и государствами-метрополиями (*ibid.*: 336–337).

С другой стороны, распространение национализма может быть и следствием классовых последствий неравномерного распространения капитализма. Неравномерный характер распространения капитализма по земному шару, свойственное ему последовательное и неодновременное воздействие на один регион за другим с разной скоростью и интенсивностью неизбежно влечет за собой экономическую отсталость и эксплуатацию периферий и, как следствие, относительную беспомощность их элит перед лицом подавляющего превосходства колониальных капиталистов в технологии, богатстве, оружии и опыте. Периферийные элиты не обладают такими преимуществами; они связаны «путами» империализ-

ма и прекрасно осознают свое бессилие. Единственное средство в их распоряжении — это народ, массы народа:

Народ — это все, что у них есть: в этом и заключается сущность дилеммы отсталости.

(*ibid.*: 100)

Однако элиты в состоянии одержать верх и добиться развития «по-своему», если удастся мобилизовать народные массы против эксплуатации империализма.

Это означало сознательное формирование воинственного, межклассового сообщества, полностью (пусть и в мифологическом ключе) осознающего собственную особую идентичность по отношению к господству внешних сил.

(*ibid.*: 340)

Но «вернуться к народу» означает говорить на их языке, благожелательно относиться к их «культуре» широких масс и

принять огромное и по-прежнему противоречивое *разнообразие* жизни народа и крестьян.

(*ibid.*: 100—101, выделено автором)

Это в свою очередь означало принятие программы романтизма, превозносящей «сентиментальную культуру», программу «весьма далекую от рационализма эпохи Просвещения» (*ibid.*: 101, 340). С политической точки зрения, как наиболее осведомленный слой местной буржуазии

националистическая интеллигенция нового среднего класса должна была пригласить народные массы в историю, причем пригласительный билет должен был быть написан на понятном им языке.

(*ibid.*: 340)

В результате национализм неизбежно подобен двуликому Янусу, обращенному назад, в мифическое прошлое, и вперед, к будущему свободного развития. Он также неизбежно является популистским и романтическим. Подлинный нервный центр политического национализма

составляют особые отношения между интеллигенцией (действующей от лица своего класса) и народом.

(*ibid.*: 101)

Предназначение этой интеллигенции — создать национальную культуру, свободную от «доисторических» черт и «архаической» естественности народных культур, то есть всех тех обычаев, мифов, фольклора и символов, которые так любит излишне подчеркивать иррациональное движение наподобие романтизма. Именно это интеллигенция делала с таким успехом в Европе девятнадцатого века, начиная с Германии и Италии, и продолжает делать это в современных «неонационализмах» на Западе — в Шотландии, Каталонии, Квебеке, Фландрии и так далее. Несмотря на определенный разрыв с классическими национализмами, неонационализмы находятся в той же ситуации относительной обездоленности по отношению к экспансионистскому центру, действующему через нефтяную промышленность, международные компании и сверхдержавы. В таких обстоятельствах интеллигенция также пытается создать воинственное межклассовое сообщество, обладающее своей особой идентичностью и мифами (*ibid.*: 127–128, 175–181).

ПОПУЛИЗМ И РОМАНТИЗМ

В своей теории Нейрн пытается добраться до сути общего механизма, объясняющего притягательность и распространенность национализма во всем мире, и он, несомненно, достиг оригинального синтеза пространственных и социальных элементов. Его основная цель, тем не менее, вытекает из марксистской идеи объяснения наций и национализма

с точки зрения порождаемых ими противоречий политической экономики и классовой борьбы, но он поместил этот традиционный способ исследования в новую пространственную конструкцию, сочетающую элементы моделей зависимости и теории Геллнера. В то же самое время он придал особое значение культурному содержанию национализма и тому, как интеллигенция пытается мобилизовать народные массы при помощи языка, обычаев и мифов.

Но работает ли этот синтез? В состоянии ли он охватить огромное разнообразие национализмов, подчеркиваемое Нейрном? Объяснит ли он нам почему, по его же мнению, валлийское движение столь романтично и ориентировано на культуру, тогда как аналогичное движение шотландцев столь практично и расчетливо? Поможет ли он нам понять, почему одни национализмы являются религиозными, другие светскими, одни умеренными, другие агрессивными, одни авторитарными, а другие более демократичными?

Нейрн мог бы ответить, что такого рода частности не входят в его намерение предложить политэкономическую теорию национализма. Все, что он стремился сделать, — это очертить основные контуры всеобъемлющего объяснения того, почему политический национализм стал в современном мире столь мощным и повсеместно распространенным идеологическим движением. Чтобы объяснить значительное разнообразие национализмов, потребовались бы другие теории, более низкого уровня.

На этом глобальном уровне пристального рассмотрения требуют две основные проблемы: описание параметров «национализма», зависимой переменной, а также характер и действенность объяснительного принципа, «неравномерного развития капитализма».

Нейрн нигде не дает определения «национализма». Но, как мы видим, он описывает его как создание «воинственного, межклассового сообщества, полностью (пусть и в мифологическом ключе) осознающего собственную особую судьбу по отношению к господству внешних сил». Такое сообщество изобретается главным образом интеллигенцией, взыва-

ющей к народу и мобилизующей его; и изобретается оно в противовес «внешним силам». Национализм предлагает существование мифа, мифа об особой судьбе межклассового сообщества. Но каким образом возникает это чувство особой судьбы, Нейрн не уточняет. Имеется несколько наблюдений относительно ранее существовавших «народных чувств» и сельских этнических культур, которые интеллигенция должна использовать; но нам не предлагают никакой теории этничности или истории. Чувство особой судьбы, похоже, возникает попросту вследствие противоборства с европейским империализмом. На деле, здесь умалчивается о двух формах национализма в Африке и Азии: гражданской, территориальной форме, основанной на колониальной территории и колониальном опыте, которая больше соответствует модели Нейрна, и более этнической, генеалогической форме, основанной на ранее существовавших этнических сообществах, чье соперничество с другими этническими сообществами обострилось вследствие колониальной урбанизации, которой исследование Нейрна отвечает в меньшей степени. Хотя Нейрн и признает, что этнические сообщества и борьба между ними существовали задолго до современного периода, он полагает, что их роль была в значительной степени пассивной: большей частью, они предоставляют лишь некий материал для построения интеллигенцией современных наций. «Массы» как таковые не играют никакой роли в драме национализма.⁴

Это важное упущение проистекает из еще одной важной составляющей данного Нейрном описания национализма — «популистской» составляющей. По Нейрну, популистский характер национализма не является следствием народного движения. Популизм — это следствие движения интеллигенции к народу, а не движения самого народа. «Народ» остается классом в себе. Таким образом, с точки зрения Нейрна, поскольку, чтобы создать нацию, новая интеллигенция должна быть сплоченной романтизмом, из этого следует, что любой национализм должен быть «популистским», то есть он должен «взывать к народу» как к вместилищу всего того,

что ценят романтики. Такое общее дефиниционное описание не позволяет провести различие, как это желает сделать Нейрн в отношении Шотландии и Уэльса, между национализмами, которые были подлинно популистским, и теми, которые лицемерно уверяли народ в своих чувствах, оставаясь преимущественно буржуазными по своим устремлениям и социальной принадлежности последователей, как, например, в случае раннего индийского национализма.⁵

В значительной степени безмолвная и пассивная роль недифференцированного «народа», с точки зрения Нейрна, также вытекает из третьей составляющей его описания национализма — романтического мифологического качества межклассового сообщества. Миф нации, обладающей самосознанием и стремящейся к самоопределению, а также и ее классовой сплоченности суть продукт романтизма интеллигенции, поскольку только романтизм может создавать «национальную культуру» и, следовательно, националистическое движение. Здесь возникает множество проблем.

Первая — это вопрос исторической действительности. Не все национализмы были в одинаковой степени романтическими в предложенном Нейрном «идеалистическом и субъективистском» понимании этого слова. Да, они все обращаются к некоему героическому прошлому (или предполагают его существование), которое они явно идеализируют, но национализм Французской и Американской революций, а также и мощные течения в рамках шотландского и каталонского национализмов, были (и являются) более практичными, «умеренно буржуазными» разновидностями. По сути, хотя в некоторых современных национализмах и присутствует романтическая составляющая, они стали гораздо менее идеалистическими и субъективистскими, предпочитая опираться в своих политических заявлениях на социальные и экономические доводы (см.: Esman 1977; A. D. Smith 1981a: ch. 9).

При этом неверно и то, что только романтизм может создавать «национальную культуру». Это означает, что национальные культуры представляют собой современные артефакты различных народных культур определенного регио-

на, собранные и соединенные интеллигенцией вследствие ее идеализации «народа». На самом деле, мало кто из националистов не проявлял пристального интереса к народу, не говоря уже о народных культурах, которые, как правило, локальны и которые истинный романтический пурист пожелал бы оставить нетронутыми. Хотя Насер, Сукарно и Неру и превозносили «народ» в некоем отвлеченном смысле слова, они все же были в большей степени озабочены попыткам создания новой народной «высокой культуры», которая бы объединила различные этнические и религиозные группы в рамках их новых государств, нежели романтизацией народных культур, которая, вероятнее всего, привела бы ослаблению и разрушению унаследованного ими хрупкого государственного единства. То обстоятельство, что они и их преемники добились лишь ограниченных успехов в создании единой нации, красноречиво свидетельствует о силе народных этнических уз, которые расшатывают новую «становящуюся нацию», но не превращает всех националистов в романтиков.⁶

По-видимому, данная линия аргументации полагает, что немецкая версия национализма в духе Фихте, которая в значительной степени *была* романтической в идеалистическом и субъективистском смысле слова, служит «подлинным» образцом всех национализмов. Но тогда придется низвести или даже отвергнуть остальные формы национализма и оценивать их все в соответствии с одним единственным (западным) критерием. Хотя я мог бы признать наличие «романтической» составляющей в каждом национализме (в этом смысле, исходя из моральных целей, они все стремятся соизмерять настоящее в соответствии с героическим прошлым), это не означает, что все они в равной степени пропитаны «идеализмом и субъективизмом» или что национальная культура, возникающая вместе с ними, может не иметь определенной «объективной» основы в досовременных этнических узах.

Описание национализма как разновидности романтизма позволяет Нейрну рассматривать его как движение перифе-

рии. В действительности, как показывает последнее обстоятельное исследование Лии Гринфельд, самые ранние формы национализма были тесно связаны с метрополиями. Они возникли сначала в Англии, затем в Британии, во Франции и в Америке, даже раньше, чем в Германии (первая периферия?). Шефтсбери, Болингброк, Берк, Монтескье, Руссо, Сийес и Джефферсон положили начало светским формам национализма в восемнадцатом столетии, некоторые из них опередили даже Гердера, не говоря уже о Фихте, Шлегеле и Мюллере. Это означает, что национальное чувство, как и национализм, распространилось через образованные слои этих национальных государств и начало влиять на их экономическую деятельность и колониальную конкуренцию настолько же сильно, как и политика и культура. Созданием национальной культуры в этих ранних национальных государствах занимались, конечно же, интеллектуалы и лица свободных профессий, а романтизму и отсталости она обязана очень немногим (Greenfeld 1992; Kemilainen 1964).

РАЗВИТИЕ, ПОРОЖДАЮЩЕЕ НАЦИОНАЛИЗМ?

Связь между романтизмом и отсталостью, которая восходит, по крайней мере, к Гансу Кону, подводит нас ко второй проблемной области — предложенному Нейрном объяснительному принципу «неравномерного развития капитализма». Суть его теории состоит в связи между романтизмом, отсталостью и периферией. В центре — на «Западе» — национализм не является главной проблемой (хотя там есть национальные идентичности). Причина этого в том, что у центра не было реальной потребности в романтизме, поскольку буржуазия обладала уверенностью в себе, которая приходит с успешным социальным и экономическим развитием. Вместо этого центр навязывал национализм периферии, над которой он стремился господствовать и которую он пытался эксплуатировать. Такая периферия, напротив, вынуждена была усвоить национализм, поскольку ее экономическая отсталость и безысходность нуждались в мифологической ком-

пенсации, а ее давал романтизм с его культом народа и народной культуры. Как и в «восточных» национализмах Кона, интеллигенция играет главную роль на периферии, где немногочисленная буржуазия не достаточно уверена в своих силах, чтобы проложить свой собственный путь к самостоятельному развитию. Вместо этого интеллигенция должна обеспечить мифическое чувство особой судьбы всего сообщества, создавая национальную культуру на основе фольклорных составляющих и мобилизуя народные массы. Отсюда сила идеалистического и субъективистского компонентов периферийных национализмов (см.: Kohn 1967a, особ. ch. 7; а также Kohn 1960).

Но многие из четких дихотомий, входящих в исследование Нейрна, невозможно подтвердить. Романтическое движение в своих истоках в восемнадцатом веке было британским (английским, ирландским, шотландским и валлийским) движением, а затем, начиная с 1770-х годов, получило развитие во Франции и Германии. Как показало исследование Франции конца девятнадцатого столетия, проведенное Юджином Вебером, «периферии» были столь же распространены на территории самих Англии и Франции (два примера буржуазных центров, которые выделяет Нейрн), как и за пределами этих национальных государств. «Отсталость» была характерна не только для Бретани и Уэльса, но также и для северных районов Англии на протяжении значительной части двадцатого столетия, в то время как районы Восточной Европы (Богемия, Силезия) были относительно развиты. Национализмы с большой силой возникли также в «чрезмерно развитых» регионах, например, в Словении, Хорватии, стране басков (Эускади) и Каталонии, а также среди народов, которые были «хорошо обеспечены» по сравнению со своими соседями и/или политическими центрами, например, армян, греков и евреев.⁷

На что Нейрн мог бы ответить, что это только подтверждает его основную теорему о неравномерном, прерывистом пути, которым капитализм распространился по земному шару, вызывая конфликт между относительно богатыми и

относительно бедными регионами. Теперь мало не согласится с тем, что индустриальный капитализм развивался неравномерно. Однако под сомнение ставится влияние последствий неравномерного развития на распространение национализма. Траектория прерывистого распространения капитализма не всегда соседствует с распространением национализма. Так, например, в относительно хорошо развитых Силезии и Пьемонте особые националистические движения не появились, несмотря на определенные региональные настроения. В относительно слабо развитых регионах, например, северо-востоке Англии или Крите, южной Италии или северном Египте, также не возникло самостоятельного национализма. Принимая во внимание то, что границы большого количества социально-экономических «регионов» и отдельных «этнических сообществ» не совпадают, мало вероятно, что региональное экономическое неравенство может быть направлено в русло националистических движений. Границы экономических и этнических карт, как правило, расходятся (см.: Connor 1994: ch. 6).

Это говорит об относительной независимости этничности как переменной в процессе возникновения и распространения национализма. Только в таких регионах, где региональные экономические различия сочетаются и совпадают с границами определенных этнических сообществ, есть вероятность возникновения националистического движения. Но что представляет собой такое движение? В данном случае, мы имеем дело не с региональным движением социального протеста, а с этническим национализмом, который нацелен на то, чтобы добиваться политического признания и, возможно, территориальной автономии и даже независимости для обладающей самосознанием и хорошо развитой *ethnie*, или этнического сообщества. Другими словами, экономическое неравенство и социальные лишения поставлены на службу более широким политическим целям этнических сообществ или их элит, которые соответствующая государственная власть подавляла или игнорировала. Точно так же степень сплоченности движения, его возможности отста-

ивать политические требования этнического сообщества зависят, в свою очередь, от политических условий, в которых оно действует, и тех рамок, в которых государственные власти и государственные идеологии разрешают функционировать некоторым или всем политическим организациям (см.: Webb 1977; A. D. Smith 1981a: ch. 2).

Одна из проблем проведенного Нейрном исследования взаимосвязи между неравномерным развитием и национализмом — очень резкое противопоставление «идеальных» и «материальных» факторов, которые в действительности очень часто переплетаются. Верный «последней экономической инстанции», Нейрн вынужден поместить культуру и этничность в сферу «идеального» и таким образом попытаться «вывести» их из экономических противоречий мирового капитализма. В результате мы имеем дело с социально-экономическим вариантом модернизма, сочетающим объяснительный экономический редукционизм с выразительным, даже романтическим, описанием национализма, и все это в жестко ограниченных временных рамках, определяемых неравномерным развитием индустриального капитализма. Тот факт, что, как часто это бывает в широкой марксистской традиции, этничность и неравномерное развитие этноистории никогда не сопоставлялись с классовой борьбой в качестве независимых объяснительных принципов, серьезно снижает возможность создания теории, основывающейся на выделении значительного числа причинно-следственных связей, теории, которая была бы восприимчивой к вопросам о том, о «каких» нациях и национализме идет речь, а также «где», «когда» и «почему».

Если Нейрн и не до конца освободился в своем исследовании от марксистской «твердокаменности» с ее узким взглядом на национализм, он, по крайней мере, дал объяснение одного из фундаментальных факторов того, что мы можем назвать «неравномерным развитием национализма». Одним из поразительных аспектов национализма, так часто упоминавшимся выше, является его взрывоопасная непредсказуемость. Пытаясь объяснить все до единой вспышки национа-

лизма с точки зрения одного единственного фактора неравномерного развития капитализма, Нейрн бьет мимо цели. В то же самое время, даже если бы существование какой-то механической непосредственной взаимосвязи между неравномерным развитием глобального капитализма и национализмом было бы невозможным, порождаемая ими турбулентность способствует дальнейшему развитию эксплуатации, отсталости и националистической мобилизации. И этот процесс ни в коей мере не является односторонним. «Подражательно-реактивный» национализм может способствовать ускорению экономического роста благодаря осознанию коллективного ограничения гражданских прав (*atimia*). Япония служит прекрасным примером «реактивного национализма», вызвавшего всестороннее экономическое развитие, которое, в свою очередь, распалило националистические амбиции японских правителей; но взаимосвязь между национализмом и неравномерным развитием была опосредована имперским государством и японским культурным наследием.⁸

Все это говорит о том, что столь многогранный феномен, как национализм, невозможно однозначно связать с какими-то конкретными процессами, наподобие относительной обездоленности и отсталости, какими бы мощными, глубокими и глобальными они не были. Другие факторы в области культуры и политики могут быть даже более важными для понимания возникновения наций и распространения национализма.

СОЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА НАЦИОНАЛИЗМА

Одна из центральных проблем, поднятых исследованием Нейрна, — социальный состав идеологического движения национализма. С точки зрения многих, национализм — это, прежде всего, движение интеллектуалов или, в более широком смысле, интеллигенции. Они занимают центральное место в исследованиях Эрнеста Геллнера, Эли Кедури, Дж. Г. Каутски, Питера Уорсли и Энтони Д. Смита и косвенно Бенедикта Андерсона, будучи основными последователями

и руководителями движения, а также наиболее рьяными потребителями националистической мифологии.⁹

В этом описании есть заметная доля истины. Большинство национализмов возглавляют интеллектуалы и/или лица свободных профессий. Интеллектуалы дают основные определения и описания нации, лица свободных профессий служат главными распространителями идей и идеалов нации, а интеллигенция — наиболее яростным поставщиком и потребителем националистических мифов. Достаточно только тщательно изучить зарождение и ранний этап развития национализмов в Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, арабском Ближнем Востоке, Нигерии, Гане, французской Западной и Северной Африке, чтобы увидеть, что интеллектуалы и лица свободных профессий выступали в роли, если не родителей, то повивальных бабок движения. Даже в таких регионах, как Латинская Америка, Северная Америка и Юго-Восточная Азия, «издатели» и лица свободных профессий играли важную роль в распространении национальных идеалов (см.: Anderson 1991: ch. 4; Андерсон 2001: гл. 4; Argyle 1976; Gella 1976).

В каком-то смысле это общеизвестно. Все современные политические и социальные движения нуждаются в хорошо образованных лидерах, если они хотят оказать какое-либо воздействие на мир, в котором светское образование, коммуникации и рациональный бюрократизм стали признаками современности. Они нуждаются в навыках красноречия, пропаганды, организации и общения, которые лица свободных профессий сделали в значительной степени своей прерогативой. Кроме того, значение понятия «интеллектуал» не всегда одинаково; оно черпает свое своеобразие из традиций и особой среды каждой культурной области, и нам следует быть осторожными, чтобы не уподоблять случаи, различные по своей сути (Zubaida 1978; Breuilly 1993: ch. 2).

Еще более важна взаимосвязь между «интеллектуалами» (какое бы определение им не давалось), лицами свободных профессий и «народом». Именно эту взаимосвязь пытался описать и показать ее центральную роль в успехе национа-

лизма Нейрн. В своем анализе социального состава националистических движений в ряде более мелких восточноевропейских стран Мирослав Хрох переносит это предположение на следующий уровень. Хрох, как и Питер Уэрсли до него, наблюдает хронологическую последовательность постепенного включения элиты, а затем и широких масс в националистическую мобилизацию. Только, с точки зрения Хроха, это происходит в три основных этапа. На первом этапе первоначально небольшой круг интеллектуалов заново открывает национальную культуру и прошлое и формулирует идею нации (I этап). Затем следует решающий процесс распространения национальной идеи пропагандистами из числа лиц свободных профессий, которые придают политический характер культурному национализму в растущих городах (II этап). И, наконец, последняя стадия, когда поддержка национализма народом приводит к возникновению массового движения (III этап). Хрох применяет эту схему к национализму малых народов в контексте процессов урбанизации и индустриализации в Восточной Европе во второй половине девятнадцатого — начале двадцатого веков и показывает, насколько важной составляющей в развитии национализма были региональные элиты (Worsley 1964; Pearson 1983; Hroch 1985).

Но можно ли на основании такой последовательности делать общие выводы? И всегда ли «народ» участвует в националистическом движении? Это вызывает соблазн рассматривать национализм как поток волнообразных движений, начинающийся с тоненького ручейка, лежащего в глубине культуры, и становящийся все более сильным и широким по мере ускорения течения. Таково одно из наиболее удачных представлений национализма о самом себе. Но оно также может быть обманчивым и европоцентристским. Тоненький «ручечек» научных кругов, заново открывающих свои этнические корни, может внезапно превратиться в поток, или же политическое движение субэлит может предвосхитить культурное возрождение, тогда как интеллектуалы, будучи творцами идей, могут выйти на сцену позднее. Этот последний сцена-

рий можно наблюдать в борьбе Эритреи и Белуджистана за независимость, где какие-либо попытки придать культурное содержание социальному и политическому по своей сути движению освобождения от угнетения были предприняты позднее. И при этом мы не всегда можем рассчитывать на вовлечение в движение «народных масс». В какой-то степени это зависит от тактических соображений лидеров. Побуждение «народа» к действию, помимо риторических призывов, может поставить под угрозу интересы среднего класса или привести к нежелательному обращению к религиозному символизму и ненадежным компромиссам с традиционными элитами для мобилизации различных слоев общества, играющих второстепенную роль и рассматривающих национализм с традиционной точки зрения.¹⁰

Тем не менее, даже если восточноевропейская модель и не универсальна, а культурный национализм иногда играет подчиненную роль, все же можно убедительно доказать, по крайней мере, в первом приближении что новой нации для получения устойчивого признания у народа и сохранения своих позиций в мире конкурирующих наций необходимо, чтобы интеллектуалы и лица свободных профессий играли важную, возможно, главную роль. Помимо удовлетворения первоочередных нужд пропаганды, защиты и коммуникации, интеллектуалы и интеллигенция — это единственный слой общества, сохраняющий неизменный интерес к самой идее нации и способный привлечь другие классы к идее национальной солидарности в борьбе за независимость. Лишь они знают, как следует подать националистический идеал самоосвобождения через чувство гражданственности, чтобы все классы в принципе пришли к пониманию преимуществ солидарности и участия в движении. Лишь они могут обеспечить социальные и культурные связи с другими слоями общества, необходимые для претворения в жизнь идеала нации при участии народа. Однако это не отрицает значимости других элит или слоев общества, вроде чиновников, духовенства и военных, которые способны оказывать мощное влияние на культурные перспективы и политическую направлен-

ность конкретных национализмов. Но несмотря на то, что в разное время такие «ведущие классы» между различными движениями и внутри них могут меняться, как может меняться и их роль, не ставя под угрозу успех движения, центральная роль лиц свободных профессий и интеллектуалов должна оставаться неизменной, иначе движению грозит распад.

Когда интеллектуалы и лица свободных профессий раскалываются на конкурирующие националистические организации, ведущие борьбу друг с другом, все движение ослабевает и оказывается под угрозой (см.: Cella 1976; A. D. Smith 1981a: ch. 6; Pinard and Hamilton 1984; и в более общем плане, Gouldner 1979).

ВНУТРЕННИЙ КОЛОНИАЛИЗМ

Некоторые из таких классовых представлений и структурных проблем можно встретить в совершенно иной разновидности социально-экономического модернизма. Однако предложенная Майклом Хечтером интерпретация современного возрождения этнических чувств и националистических движений на индустриальном Западе еще сильнее отдаляет нас от первоначальной марксистской основы социально-экономического модернизма. Первая и, вероятно, наиболее известная формулировка Хечтера стала результатом его детального исследования политического и экономического развития Британских островов от эпохи Тюдоров до 1960-х годов. Его исследование ведется на нескольких уровнях. Первый — непосредственный, политический, возросшее в 1960-х годах сопротивление «кельтской периферии» присоединению к Британскому государству, о чем свидетельствует рост силы Шотландской национальной партии и, в меньшей степени, национальной валлийской партии «Плайд Кимру», а также предшествующие беспорядки в Северной Ирландии. Второй уровень — теоретический, то есть растущее недовольство парсонсианской парадигмой развития — функционалистской и размытой, и необходимость замены ее новой структурой, базирующейся на парадигме периферийной зависимости и

отсталости. Третий уровень – всемирный индустриальный, возможность объяснения роста периферийного протеста и сопротивления в развитых государствах Запада как результата неравномерного развития индустриального капитализма (Hechter 1975: ch. 2).

С этой целью Хечтер прослеживает отношения между «ядром» и «периферией» в Англии в период экспансии «сильного» государства эпохи Тюдоров в начале шестнадцатого столетия. При Генрихе VIII и его преемниках сначала Уэльс, а затем и Ирландия были решительным образом подчинены юрисдикции английского государства, а дальнейший толчок этому процессу геополитического объединения придал союз престолов Англии и Шотландии в 1603 году (на основе личной унии) и последовавшее столетием позже их официальное объединение в соответствии с актом об унии 1707 года, после которого был учрежден единый парламент в Лондоне. По Хечтеру, этот процесс никогда не был равным: Англия в разное время с политической точки зрения была то доминирующей, то деспотичной (*ibid.*: chs. 3–4).

Однако только после того, как политическое объединение было дополнено экономической эксплуатацией, стало возможным говорить об Уэльсе, Ирландии и Шотландии как о районах, низведенных до статуса Британских «внутренних колоний». Такое положение сложилось вследствие распространения индустриализации из английского ядра на периферию. В результате усиленного и постоянного, пусть и неравного, взаимодействия между перифериями и ядром индустриальный капитализм создал как новую экономическую зависимость периферии от ядра, так и целый ряд новых социальных связей. До наступления индустриального капитализма колониальная ситуация оставалась скрытой и незаметной; однако после его наступления она стала очевидной и бесспорной (*ibid.*: ch. 5).

Как можно определить ситуацию «внутреннего колониализма»? Согласно Хечтеру, берущему за образец теории зависимости, связанные с именами Андре Гундер Франка, Роберта Блонера и Рудольфа Ставенхагена, «внутренний коло-

ниализм» означает состояние структурной зависимости. Подобно отношениям между индийскими культурными перифериями и общностью ядра в латиноамериканских обществах, внутренние колонии в промышленно развитой Западной Европе во многом схожи с таким положением в заморских колониях. Таким образом,

торговля между жителями периферии в значительной степени монополизирована переселенцами из доминирующего ядра. Они же составляют большинство банкиров, менеджеров и предпринимателей и захватывают в свои руки сферу кредитных отношений. Хозяйство периферии подчиняется развитию экономики ядра и становится зависимым от внешних рынков. Обычно оно основано на производстве какого-либо одного экспортного продукта — сельскохозяйственного или минерального. Движение периферийных рабочих в значительной степени обусловлено силами, внешними по отношению к периферии. Как правило, наблюдается значительная миграция и мобильность периферийных рабочих в ответ на колебания цен на основные экспортные продукты. Экономическая зависимость подкрепляется юридическими, политическими и военными мерами. Для внутренней колонии характерны относительный недостаток услуг, более низкий уровень жизни и большее недовольство, о чем свидетельствует такой показатель, как распространение алкоголизма в периферийной группе. Осуществляется национальная дискриминация в зависимости от языка, религии или других элементов культуры. Таким образом, общее экономическое неравенство между ядром и периферией явно связано с культурными различиями.

(*ibid.*: 33—34; Хечтер 2000: 209)

В такой (внутренней) колониальной ситуации, являющейся продуктом внешних сил, обнаруживается еще одно важное отличие от эндогенного развития, встречающегося в Евро-

пе и Японии, — развитие «культурного разделения труда». Таким образом,

колониальное развитие создает разделение труда по культурному признаку, систему стратификации, при которой объективные культурные различия совмещаются с классовым делением. Занятия, обеспечивающие высокий статус, в целом резервируются для представителей культуры метрополии, в то время как деятельность, ассоциируемая с местным культурным комплексом, определяет низкий социальный статус коренного населения.
(*ibid.*: 30; там же: 208)

По Хечтеру, культурные различия приобретают более важную роль в эпоху всеобщей грамотности и образования; но социальные условия современности, побуждающие индивидов объединяться в качестве членов этнических групп, не ясны. Очевидно, что в отличие от классовых отношений в развитом ядре отсталая периферия характеризуется статусом групповой солидарности. Причина этого различия в конечном итоге носит политический характер:

Жизнестойкость объективной культурной самобытности на периферии сама по себе должна быть результатом неравного распределения ресурсов между группами ядра и периферии
(*ibid.*: 37).

Это неравное распределение ресурсов в свою очередь является результатом контроля, осуществляемого этническим ядром над каждым аспектом социальной и экономической жизни периферии, и его отказом ослабить преграды к объединению и повышению культурного уровня периферии. В таком случае впоследствии может развиваться обратная ситуация:

Если в некоторой начальной точке не произошло повы-

шения культурного уровня (а именно на периферии) вследствие того, что привилегированная группа не допустила этого, на более позднем этапе повышению культурного уровня может препятствовать уже сама группа, находящаяся в неблагоприятных условиях, движимая стремлением к независимости от ситуации, которую все больше расценивает как репрессивную. Это служит причиной культурного «возрождения», столь характерного для обществ, испытывающих националистическое брожение. Не то чтобы эти группы в действительности обнаруживали свидетельства своего древнего культурного прошлого как независимого народа; чаще всего такая культура создается одновременно для того, чтобы оправдать текущие требования независимости или достижения экономического равенства.

(*ibid.*: 38–39)

Но экономического неравенства и культурных различий недостаточно, чтобы пробудить этническую солидарность и этнический национализм. Помимо этого необходима соответствующая связь между членами угнетенной группы. В экономически отсталой периферии профессиональная стратификация подкрепляется сегрегацией по признаку места жительства, что способствует скорее этнической, нежели классовой сплоченности. Таким образом,

модель внутреннего колониализма предсказывает и до некоторой степени объясняет возникновение именно такого «разделения труда по культурному признаку» и поэтому вероятность этнической жизнестойкости и, в конечном счете, политической сецессии.

(*ibid.*: 42–43)

Эту структурную модель Хечтер дополняет более конкретным объяснением послевоенного возрождения этнического национализма в кельтской периферии Великобритании. Отмечая различия между более единой Ирландией и экономи-

чески и, следовательно, политически более разобщенными Шотландией и Уэльсом в результате более интенсивной и сосредоточенной индустриализации, Хечтер утверждает, что все три, будучи внутренними колониями, испытали не только продолжительный экономический застой, но и культурную стратификацию. Длительное сохранение такой ситуации привело к ослаблению народной веры во всебританскую основанную на классах партийную систему, так что к 1960-м годам

национализм возродился на кельтской периферии большей частью как реакция на неудачу регионального развития.

(*ibid.*: 265)

А точнее:

В конечном итоге, новую форму кельтского национализма можно понимать как острую критику принципа бюрократического централизма.

(*ibid.*: 310)

Но, в конце концов, именно ситуация систематической структурной зависимости периферии объясняет устойчивость региональной групповщины и тем самым побуждает ее представителей сопротивляться объединению и ассимиляции, в которых ранее им было отказано.

ЭТНОРЕГИОНАЛИЗМ

Это сильный и убедительный тезис. Он жестко ограничивает возрождение национализма и постоянство этнических уз рамками преобразований всей социальной структуры, выводя эти последствия из ситуаций, источником которых стали данные преобразования. Он безошибочно предсказывает непрерывное сопротивление небольших этнических групп, расположенных на окраинах больших государств, давлению

современного государства и проникновению капитализма. Он показывает, что именно эти процессы проникновения неизбежно порождают острое политическое противодействие со стороны осажденных периферийных сообществ. Кроме того, он предлагает двухуровневый исторический подход к объяснению отсталости, эксплуатации и пренебрежению периферией ради развития и выгод ядра и его элит, во-первых, с точки зрения политических завоеваний, и, во-вторых, экономического подчинения.

Но насколько точно соответствует модель «внутреннего колониализма» большинству примеров эксплуатируемых и доведенных до нищеты регионов индустриального Запада? Возьмем, например, Бретань. Здесь, вплоть до 1980-х годов, мы видим относительно заброшенный регион, участок западных пустынь, который согласно плану Дебре 1962 года, должен был быть превращен в «парковую зону». Не обладая надлежащими коммуникациями и инфраструктурой, Бретань обнаруживала все признаки депрессивного региона и «внутренней колонии», усугубленные десятилетиями культурной дискриминации и пренебрежения со стороны французского ядра. Однако в 1960-х годах по мере того, как все больше и больше бретонцев сравнивало свое плачевное положение с другими областями Франции, Бретань стала свидетелем возрождения бретонской культуры и обновления бретонского политического движения, к которому примкнул ряд ярых экстремистских групп, направленного на устранение неравенства. А это, в свою очередь, способствовало изменению политики Франции в отношении восстановления экономики области (Reese 1979; A. D. Smith 1981a: chs. 1, 9).

Но если модель Хечтера объясняет ситуацию в отсталых регионах, наподобие Бретани и Ирландии, то как же быть с такими более разделенными и более богатыми регионами, как Уэльс и особенно Шотландия? Обладают ли они всеми чертами «внутренних колоний»? Хечтер сознает трудности как на теоретическом, так и на эмпирическом уровне. В примечании он внимательно рассматривает вопрос о том, как много таких черт должны обнаруживать внутренние коло-

нии (*ibid.*: 33, п. 1). Что касается Шотландии, он признает, что этот регион не зависит от производства одного основного продукта и не испытывает недостатка в области услуг. Это заставляет его внести поправки в свой тезис, проводя различие между особым «сегментным» разделением труда и более традиционным «культурным» разделением труда. При сегментном разделении труда «члены этнических групп взаимодействуют всецело в пределах границ своих групп», и в результате «члены этих групп монополизируют определенные ниши в профессиональной структуре». Суть, конечно, состоит в том, что такие регионы, как Шотландия, сохранили «значительную институциональную автономию» со времен унии Англии с Шотландией, а потому не могут рассматриваться как обычные пролетарские нации или угнетенные внутренние колонии (Hechter and Levi 1979: 263–265).¹¹

Введение альтернативного типа разделения труда знаменует собой значительный прогресс, однако имеет серьезные последствия для первоначальной модели Хечтера. Отделение культурного разделения труда от пространственных взаимоотношений ядра и периферии позволяет анализировать последствия культурной стратификации в таких регионах, как Уэльс с его промышленно развитым югом и сельскохозяйственным севером. Фактически, эти внутренние различия могут в такой же степени способствовать сепаратистским настроениям, как и колониальные взаимоотношения между валлийской периферией и английским ядром.¹²

Несмотря на эту поправку, остаются и другие трудности. Во-первых, проблема временной привязки. Почему шотландский и валлийский политический национализм появляется только в конце девятнадцатого столетия, а полная поддержка со стороны среднего класса только в 1960-е годы, тогда как промышленное развитие начинается намного раньше в девятнадцатом столетии? Фактически, более поздняя модель Хечтера отвергает объяснение с точки зрения относительного ухудшения положения, которое допускало двойное толкование, предпочитая вместо этого политический аргумент для объяснения времени появления этнического сепаратиз-

ма, а именно — характер государственной политики (*ibid.*: 270–272).

Во-вторых, существует проблема «чрезмерно развитых регионов». Этнический национализм обнаруживает свое существование не только в более отсталых или депрессивных регионах, наподобие Бретани и Ирландии, но также и в экономически более развитых областях, наподобие Каталонии, страны басков и Хорватии. Хотя политические корреляты внутреннего колониализма соответствуют этим случаям, их трудно приравнять к депрессивным «внутренним колониям» более крупных государств. Наоборот, неспособность некоторых экономически отсталых областей, наподобие южной Италии или северо-восточной Англии, пробудить сепаратистский (или любой другой) национализм и направить социальное недовольство в русло этнического протеста говорит о дополнительных ограничениях в модели внутреннего колониализма (см. статьи в: Stone 1979; ср.: Conversi 1990 и Connog 1994: ch. 6).

Но, возможно, наибольшее значение имеет то, что модель внутреннего колониализма не отдает должное этнической основе сепаратизма. Это очевидно из того, что Хечтер отвергает «свидетельство их древнего культурного прошлого» и предлагает инструменталистское объяснение создания культуры с целью оправдания политических устремлений. Но в результате упускается суть. Конечно, какая-то «культура» и какая-то «история» могут быть созданы задним числом или одновременно с происходящим событием. Но то обстоятельство, что культура на протяжении десятилетий, а, возможно, и столетий служила основанием для исключения периферии ядром посредством культурного разделения труда, говорит нам о том, что «культура» и «история» имеют отношение не только к творениям «высокой культуры» и «повторному усвоению прошлого» националистами и всеми остальными, но и к общим мифам о происхождении, к опыту и воспоминаниям поколений отвергнутых, к истории и культуре «народа». Отсутствие этнического сепаратизма в северо-восточной Англии или южной Италии — это следствие отсут-

ствия в этих регионах не только отличительных культурных признаков, но и особых мифов о происхождении, особого совместного опыта и исторических воспоминаний. Память о Нортумбрии и Неаполитанском королевстве стерлась, а их последующий опыт и память отвергнуты.

Но, быть может, основной проблемой тезиса «внутреннего колониализма» является объединение *региона с этническим сообществом* (или *ethnie*). Это возможно там, где отдельная *ethnie* полностью занимает легко узнаваемый регион, как бретонцы в Бретани и шотландцы в Шотландии; в меньшей степени там, где они разделяют его с иммигрантами, как в стране басков и Каталонии, и еще меньше там, где древние этнические общности, вроде армян, греков и евреев, были (или по-прежнему) рассеяны по целому ряду экономически развитых регионов. И вновь тезис представляется более убедительным вследствие предъявляемых националистами требований на «землю». Однако пространственный анализ, который в результате оказывается разновидностью территориального редукционизма, пренебрегает значимостью истории и культуры.

Земля действительно имеет жизненно важное значение для этнических сепаратистов, но не только из экономических и политических соображений. Они в равной степени заинтересованы в ее культурном и историческом аспектах; они нуждаются в «удобном прошлом» и «культуре с глубокими корнями». Этнических националистов не интересует земля как таковая; они мечтают только о земле своих предполагаемых предков и священных местах, по которым ходили их герои и ученые мужи, где они сражались и учительствовали. Они алчут исторической «родины» или земли предков, земли, которую они считают только «своей» в силу связи с событиями и персонажами предшествующих поколений «своего» народа. Другими словами, данная территория должна быть превращена в «этноландшафт», поэтический ландшафт, который служит продолжением и выражением характера этнического сообщества, воспеваемый сам по себе в стихах и песнях (A. D. Smith 1997a).

Из этого следует, что, если мы хотим постичь движущие силы этнического сецессионизма, этничность надо рассматривать в качестве независимого фактора в такой же мере, как и экономическое развитие. Ни один из них не может быть сведен к другому. Только там, где они соединяются, мы можем рассчитывать обнаружить движения за этническое отделение. Мы можем даже пойти еще дальше. Уокер Коннор утверждал, что экономические факторы только благоприятствуют или катализируют разжигание этнического сепаратизма. Он перечисляет ряд исторических и современных событий, которые свидетельствуют о силе этничности независимо от экономической ситуации. Таким образом, мы находим этнические националистические движения как среди экономически отсталых, так и среди развитых групп, в условиях экономического роста и экономического спада, и даже среди групп, переживающих экономический застой. По-видимому, не существует модели явной взаимосвязи между экономическими факторами и этническим национализмом, а напротив, имеется наглядное свидетельство этнических настроений и деятельности, возникающих независимо от других, особенно экономических факторов (Сопног 1994: ch. 6).

Таким образом, этнорегиональные движения являются лишь одной из разновидностей этнического национализма, возникающих вследствие исторических различий в богатых и развитых государствах Запада. Их взаимосвязь с изменениями в экономике вторична по отношению к неравномерному распределению их этноисторий и культур, изменениям в их геополитической ситуации (особенно утрате своих империй) и политической трактовке их элитами этих государств. Следовательно, модель внутреннего колониализма имеет ограниченное применение и представляет собой особый случай в рамках более широкого типа политически неблагоприятных этнических сообществ в национальных государствах. Причины, по которым мы являемся свидетелями возрождения этнических связей и националистических движений в неоднородных обществах во второй половине двадцатого столетия, нам следует искать где-то еще.

СТРАТЕГИИ «РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА» ЭЛИТЫ

Почему люди присоединяются к этническим и националистическим движениям, которые возглавляют действующие от их имени элиты, когда они легко могут избежать этого в современных обществах? Решение именно этой проблемы все чаще занимало Хечтера и других исследователей. Хечтер задается вопросом:

Если коллективное действие становится более эффективным, когда отдельные члены группы разделяют общие интересы, то почему это происходит так редко? Как мы можем объяснить, почему одним людям, занимающим одинаковое положение в структуре общества, достается все (Olson 1965), а другим ничего?

(Hechter 1988: 268)

По Хечтеру, в этом состоит главное достоинство теории рационального выбора: признавая важность структурных ограничений, она отталкивается от методологического индивидуализма, который пытается объяснить коллективные последствия с точки зрения индивидуального поведения. Этот подход, тем самым, не прибегает к историческому регрессу при объяснении этничности и национализма и объясняет, почему индивиды ведут себя определенным образом, часто вопреки нашим структурным ожиданиям.¹³

Рациональный выбор предполагает, что индивидуальное поведение является следствием взаимодействия структурных ограничений и независимых предпочтений индивидов. Структура прежде всего определяет — в большей или меньшей степени — рамки, в которых действуют индивиды. В рамках этих ограничений индивиды сталкиваются с различными возможными линиями поведения. Выбранный в конечном итоге образ действий есть выбор рациональный: ...когда предполагается, что индивидуальные предпочтения известны, пре-

ходящи и какое-то время стабильны, поведение можно предсказать при любом сочетании условий.

(*ibid.*: 268)

По Хечтеру, этнические группы в принципе не отличаются от любого другого типа групп, а потому не нуждаются в специальной теории. Люди присоединяются к этническим группам или националистическим движениям, поскольку считают, что благодаря этому они получают чистую личную выгоду.

В этом отношении этнические организации имеют большое значение по двум основным причинам. Во-первых, они являются главным источником поощрений и взысканий, побуждающих индивида к участию в коллективном действии. Во-вторых, поскольку расчет индивидом прибыли/издержек частично зависит от его оценки вероятности успеха любого коллективного действия, организации могут играть ключевую роль, контролируя информацию, доступную ее членам.

(*ibid.*: 271)

Такие организации представляют собой группы солидарности, а наиболее показательными их примерами служат этнические организации. Они формируют предпочтения своих членов, применяя санкций к индивидам, чье поведение отклоняется от нормы (таким, как «любители поживиться за общественный счет» и преступники), и контролируя информацию, которая поступает к ним извне — что, к примеру, и делали на протяжении поколений секты меннонитов в Пенсильвании или цыгане во многих странах мира (*ibid.*: 275–276).

Хечтер и его коллеги применили эту солидаристскую теорию социального порядка к целому ряду проблем. Здесь я могу рассмотреть только две наиболее тесно связанные с теорией национализма: сецессию и националистическое насилие. Что касается сецессии, Хечтер обрисовал систематичес-

кую, поэтапную оценку избираемых стратегий и возможностей открытых для элиты на пути сецессии, определяемой как

требование официального выхода из-под юрисдикции центральной политической власти одной или нескольких административных единиц на основе предоставления независимого суверенного статуса.

(Hechter 1992, 267)

Сецессию необходимо отличать от сепаратизма, в котором наблюдается постепенное движение к распаду, и от освободительных движений в колониях. Сецессия происходит только в многонациональных федерациях, где есть регионы с населением, у которого имеются общие интересы в производстве или потреблении либо в них обоих. Такое население может занимать особую экономическую нишу или обладать определенными культурными особенностями, наподобие религии или языка, особенно там, где они носят корпоративный характер, например в миллетах Османской империи. Там, где эти общие интересы накладываются друг на друга, где класс и культура совпадают и где есть разветвленные системы коммуникаций, вероятнее всего в регионе возникнет ощущение своей самостоятельности.

Хечтер готов признать, что социальные движения, основанные на примордиальных связях, могут в отдельных случаях пробуждать огромное самопожертвование. Тем не менее, теория рационального выбора, отталкивающаяся от предпочтений индивидов, вероятнее всего, охватывает большинство разновидностей национализма, поскольку она предсказывает, что этнические и национальные группы будут пристально следить за своими членами, применять к ним санкции и контролировать их доступ к информации, не допуская тем самым появления «любителей пожить за общественный счет» во имя коллективного блага, а именно — суверенитета. Но, учитывая высокие издержки неудавшейся сецессии, лишь личные побуждения, например, перспектива получения работы, могли подвигнуть членов этнических групп,

и особенно средние классы, которые выступают в качестве главных ее сторонников, на столь опасный образ действий (*ibid.*: 273–275).¹⁴

Даже если они склоняются к сецессии, позиция государства, в состав которого они входят, по-прежнему остается решающей. Только там, где ощущается слабость государства и его неспособность принести выгоду региональным группам, а конституционные реформы и репрессии терпят неудачу, как это имело место в последние годы существования Советского Союза, у сторонников сецессии есть шансы на успех. И даже тогда геополитическая обстановка должна быть благоприятной; но обычно государственная система противодействует сецессии. Все это делает

сецессию в высшей степени нереальной. Данное исследование показывает, почему сецессия была столь невероятной и почему она останется недостижимой в будущем.

(*ibid.*: 280)

Та же схема может пролить свет даже на столь трудно разрешимую проблему, как националистическое насилие. И здесь опять мы должны отдать предпочтение исследованию, основанному на индивидуальном стремлении к богатству, положению в обществе и власти, перед исследованием, основанном на непостижимой приверженности к ценностям. Итак, чтобы получить эти взаимозаменяемые вещи, люди будут готовы присоединиться к группам, которые производят их, и станут соблюдать их правила. Чтобы предотвратить «нахлебничество», эти группы будут следить за своими членами и контролировать их, а также создадут групповую солидарность. Но там, где на одной территории имеется несколько сплоченных групп, должен существовать институт, регулирующий межгрупповые конфликты. Таким институтом является государство, в чьи функции входит защита производящих сплоченных групп от преступников (к примеру, гангстерских банд) и от идеологически оппозиционных групп (к приме-

ру, сепаратистов), которые стремятся ослабить или разрушить государство. Подобная ситуация может вызывать жесткие репрессивные меры со стороны государства, и потому для членов оппозиционных групп насилие становится рациональным средством для сопротивления государственным репрессиям от имени нации. Именно здесь на сцену выходит национализм:

Имеется достаточно свидетельств того, что националистические группы в стратегическом отношении используют насилие как средство для достижения общих выгод, среди которых важное место занимает суверенитет.
(Hechter 1995: 62)

Именно это и происходит в Северной Ирландии, где уровень насилия был относительно «ограниченным». Это говорит о том, что

вероятнее всего, насилие вспыхнет тогда, когда слабо сплоченные националистические группы противостоят сильному государственному аппарату, обладающему высокой внутренней и международной автономией. Но поскольку такое государство в состоянии будет подавить сторонников сецессии, в таких условиях насилие вряд ли возрастет. Следовательно, *в условиях слабого государства, столкнувшегося с высоко сплоченной националистической группой, эскалация насилия наиболее вероятна.*

(*ibid.*: 64, выделено автором)

ИНТЕРЕС И СТРАСТЬ

Вполне вероятно, что дело обстоит именно так, но могут задать вопрос: какое отношение это имеет к национализму? Будет полезно (и это вполне возможно) определить условия, в которых с наибольшей вероятностью могут достигаться наименьший и наибольший уровни группового насилия, но они касаются всех разновидностей оппозиционных соци-

альных движений и систем убеждений. В этом смысле в национализме нет ничего особенного, как нет ничего особенного, с точки зрения Хечтера, и в этнических группах. Таким образом, проблема исчезает. И нам остается только удивляться тому, почему именно нация и национализм пробудили столько страстей и слепили современный мир по своему подобию.

Но так ли это? Можем ли мы просто перевести националистическую сецессию в разряд «оппозиционных движений» и «сплоченных групп»? Тождественно ли насилие захватнических и освободительных националистических войн насилию расовой ненависти, массовых коммунистических чисток или религиозных преследований? По-видимому, здесь нет места «убеждениям» и «идеологии». Не будет ли правильно предположить существование связи между декларируемыми «убеждениями» и последующими действиями и объяснить последние, по крайней мере, отчасти с точки зрения первых? Нельзя ли, по крайней мере, некоторые действия националистов — наиболее сокрушительные и страстные — объяснить при помощи сравнительного анализа систем «убеждений» и их последствий? Полностью пренебрегая ролью убеждений и идей, Хечтер также игнорировал и проблему того, почему люди обращаются к нации. По-видимому, нет никаких причин для того, чтобы государство или сплоченная группа вынуждены были взывать к нации.

Есть и еще одна проблема. По Хечтеру, ценностные объяснения не столько ошибочны, сколько сомнительны. Ценности, утверждает он, невозможно объяснять исключительно поведением. Мы не можем знать, является ли особый вид потребительского поведения (например, голодный индус, отказывающийся есть говядину) следствием страха перед наказанием или же глубокой веры. Это действительно так, но методологическая трудность раскрытия механизма объяснения сама по себе не говорит о несостоятельности ценностного объяснения. После отбрасывания ценностей нам остаются только предпочтения, которые сами по себе в действительности никогда не могут объяснить силу и страсть, порожд-

дающие националистическое самопожертвование. Пример Северной Ирландии, на который ссылается Хечтер, имеет отношение только к одному из видов националистического насилия, разновидности, при которой вооруженные и обученные бойцы ведут войну и, естественно, тщательно просчитывают свои действия с точки зрения рациональных стратегий сохранения собственных жизней и жизни движения (Hechter 1995: 62–63).

У теории рационального выбора есть еще один недостаток — проблема памяти. Как нам известно из последних войн между сербами и хорватами, память о предыдущих кровопролитных столкновениях может играть огромную роль и побуждать людей к совершению злодеяний, которые невозможно оправдать никакими стратегическими целями сражений. Подобным образом, гитлеровскую борьбу за истребление всех европейских евреев, даже в последние безнадежные дни Рейха, когда все людские ресурсы и боевая техника были нужны для ведения войны на двух фронтах, сложно объяснить с точки зрения стратегических расчетов представителей сплоченных групп. Если ее вообще можно объяснить, то, скорее всего, надо начать с фанатической приверженности убеждениям и ценностям нацистских лидеров и их ненависти, вероятно, вызванной ранами, оставшимися в памяти от воображаемой первоначальной несправедливости. Такие воспоминания не обязательно должны быть столь уж мрачными; память о славно погибших, павших в боях за отчизну, побуждает живых подражать им, поддерживая моральные основы нации. Не ясно, какие функции выполняют такие массовые проявления чувств в рациональных расчетах теории предпочтений, но то, что они явно выполняют индивидуальные и коллективные функции, подтверждается их повсеместной распространенностью и массовым почитанием, которого они так часто требуют (Ignatieff 1998: ch. 2; Gillis 1994).

Я не собираюсь доказывать необходимость особой «нерациональной» и куда менее «эмоциональной» теории национализма. Хечтер справедливо напоминает нам о необходимости детально излагать механизм любых объяснений, к ко-

торым мы прибегаем, причем он сослужил большую службу, потребовав более тщательного внимания к логике таких объяснений. Но объяснения, как и определения, могут быть точными и строгими ровно настолько, насколько это позволяют сами рассматриваемые явления. Значительные изменения в объяснительных факторах, огромное разнообразие исторических примеров, помимо непостижимой запутанности определяющих черт понятий «нация» и «национализм», вызывают стремление к определенности при объяснении этнических и националистических феноменов, а попытки свести их разнообразие к одной единственной модели предпочтений необоснованны и несостоятельны.

Хечтер и сам старается не предъявлять чрезмерных требований к моделям рационального выбора. Обычно такие стратегии действуют в строго ограниченных рамках. Например, открытые для элит, помышляющих о сецессии, возможности выбора в значительной степени определяются возможностью организации разнообразных коллективных действий, а это, в свою очередь, зависит от общих интересов потребления или производства (желательно даже обоих) и систем коммуникаций. Другими словами, структурные ограничения в значительной степени определяют ответ на вопрос о том, насколько осуществима сецессия. Прежде всего должна существовать определенная группа, описываемая с экономической, территориальной и культурной точки зрения, то есть самостоятельная, имеющая отличительные особенности этническая группа, а ее члены должны быть связаны системами коммуникаций, превращающими группу в этническое сообщество, обладающее самосознанием. Как мы увидим далее, такого рода объяснение, по-видимому, не сильно отличается от многих других, включая некоторые перенационалистские объяснения, и оно демонстрирует решающее значение этих условий для сецессии, не обращая при этом к рациональному выбору. В действительности, лишь при наличии таких условий и только в их рамках рациональные стратегии имеют какой-то смысл.

Это во многом схоже с тем, что Дональд Горовитц имеет

в виду в своей типологии логики сецессионистских движений. После сравнения сецессионизма и ирридентизма Горовитц выявляет структурные и социально-психологические условия, определяющие вероятность достижения успеха попыток сецессии. Опираясь на теорию группового достоинства (к которой я еще вернусь), Горовитц анализирует стереотипы этнических групп, поддерживаемые колониальной властью и унаследованные этническими районами, где проживает коренное население, в колониальном государстве. Как правило, эти стереотипы разделяют групповые качества на две категории: одна придает особое значение таким признакам «отсталости», как невежество, лень, покорность и гордыня, а другая подчеркивает такие особенности «развитых» групп, как предприимчивость, упорство, трудолюбие, бережливость, честолюбие и энергичность. Последний тип групп обладает преимуществом благодаря высокому уровню образования и занятости не в сельском хозяйстве, тогда как отсталые группы имеют более низкий уровень образования, дохода и занятости. (Hogowitz 1985: chs 4–5).

Далее Горовитц помещает каждый тип групп в «регионы», которые описываются как развитые или отсталые с точки зрения дохода на душу населения в регионе, и тем самым выделяют четыре причины сецессии. Наиболее общая причина, утверждает он, встречается среди отсталых групп в отсталых регионах, поскольку им нечего терять:

Они быстро приходят к заключению, что они мало заинтересованы в сохранении единого государства, частью которого они являются.

(*ibid.*: 236–240)

Дело здесь не только в корыстных манипуляциях элиты; это также результат искренних и распространенных обид, например, на перевод государственных служащих доминирующей этнической группы в отсталые районы. Совершенно иная ситуация характерна для развитых групп в отсталых регионах. «Там, где отсталые группы одними из первых вста-

ют на путь сецессии, развитые группы обращаются к сецессии последними» (*ibid.*: 243). В действительности, будучи экспортерами населения, они прибегают к сецессии только как к последнему средству, как показывают случаи с иббо и тамилами; их диаспоры и открывающиеся перед ними возможности в масштабах всей страны препятствуют сецессии, но лишь до тех пор, пока насилие не убедит их в обратном.

Такая же привлекательность открывающихся возможностей сдерживает сецессию среди развитых групп в развитых регионах, наподобие страны басков, но она компенсируется тенденцией таких регионов субсидировать другие, более бедные регионы и сообщества в национальном государстве. Сецессия также редко встречается среди отсталых групп в развитых регионах, главным образом, в связи с тем, что они невелики по своей численности. Они могут жаждать отделения, как это было с народностью лунда в богатой полезными ископаемыми провинции Катанга (Республика Конго), движимые страхом перед иммигрантами, но их шансы на успех ограничены сильными соседями внутри региона. (*ibid.*: 249–259).

По Горовитцу, таким образом, не индивидуальные предпочтения, а структурные ограничения, включающие не только экономическое неравенство, но и оценку группами самих себя и остальных, служат определяющими факторами сецессии. Можно не соглашаться с эмпирическими прогнозами Горовитца (например, таким развитым группам в развитых регионах, как иббо, латыши и эстонцы, или же группам в таких отсталых регионах, как Бангладеш, потребовалось немного времени, чтобы подготовить мощные сецессионистские движения), но его исследование, несомненно, более показательно в отношении этих структурных условий, которые Хечтер относит к своей исходной категории «структурных ограничений». Оно также показывает, как много может дать структурный анализ, не прибегая к индивидуальным предпочтениям.¹⁵

Чистый инструментализм, по-видимому, обладает ограниченной применимостью в данной области. Он успешно ра-

ботает лишь в определенных рамках. Он многое говорит нам о стратегиях элит и заставляет нас помнить о том, насколько широко распространен рациональный расчет даже в рамках такого, как многие считают, по преимуществу субъективного явления. В романтизме присутствует рациональность, а в национализме логика. Но, как часто бывает, человеческие мотивы переплетены, часто неясны и трудно распознаваемы. Кроме того, как индивидуальный уровень действий невозможно понять, исходя из коллективных особенностей, так и наоборот, мы не можем выводить природу и характерные особенности таких общностей, как нация, из суммы поведений индивидов. Теория рационального выбора игнорирует то, каким образом общности, однажды созданные на основе индивидуального опыта и действия, могут действовать, если и не полностью самостоятельно, то, по крайней мере, независимо от индивидов во всех поколениях. Посредством институтов, правил, воспоминаний, мифов, ценностей и символов индивиды объединяются в социальные группы, которые могут увековечивать себя в последующих поколениях и влиять на поведение своих членов не просто посредством наград и санкций, но и вследствие социализации, показательных примеров, мифотворчества, идеологии и символики. Кроме исследования предпочтений и рациональных стратегий, общая теория в данной области также должна рассмотреть эти процессы и механизмы, чтобы дать более полное и убедительное описание наций и национализма.

На Западе нация и государство возникли одновременно. Со времен Французской и Американской революций «национальное государство» стало доминирующей, а вскоре и почти единственной легитимной формой политической организации и основным средством коллективной идентичности. Учитывая роль Запада в освоении новых земель и его превосходящую силу, колонизированные европейскими державами территории также были местом возникновения наций *pari passu* с колониальными государствами, созданными ими в Азии и Африке. Колониализм был также основным источником образования наций в Латинской Америке, где административные провинции испанской и португальской империй сформировали основу и определили границы последующих постколониальных государств, а следовательно, и их наций.

ИСТОЧНИКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО МОДЕРНИЗМА

Подобные рассуждения привели многих теоретиков национализма к представлению о том, что современное бюрократическое государство служит источником и каркасом современных наций и национализма, а политическая и военная сила и институты — ключом к объяснению их возникновения. Именно этот третий — политический — вариант классического модернизма я и намерен рассмотреть в данной главе.

Такая точка зрения имеет четыре источника. Начнем с того, что веберовский акцент на отношениях господства привел к классическому определению государства как «организованного по типу учреждения союза господства, который внутри определенной сферы добился успеха в монополизации легитимного физического насилия». Юридически-рациональный тип легитимации современного государства нуж-

дается в административном и правовом порядке, зависящем от законодательства, и власти, обязательной для всех граждан и действий, совершающихся в рамках ее юрисдикции. По Веберу, бюрократия воплотила в себе дух и деятельность современного рационального государства (Weber 1948; Вебер 1990).¹

Политические объяснения национализма также прибегали к марксистскому анализу растущего раскола между государством и гражданским обществом в современную эпоху. Уничтожение промежуточных корпораций в эпоху капитализма и усиление власти и безличной рациональности государства сделали индивидов как граждан беззащитными перед государством, а нередко и враждебными по отношению к нему. Капитализм привел к отчуждению массы наемных работников и оставил их на милость небольшому капиталистическому классу собственников. Из этой пропасти между государством и гражданским обществом возникает историческое представление о нации и сопутствующее ему националистическое желание воссоединить гражданскую и политическую сферы в единое целое (Shaheen 1956).²

Третий фактор, способствовавший формированию такой точки зрения, — это восходящая к Зиммелю идея эндемического конфликта между государствами и обществами. «Общества» досовременного мира различались по форме и характеру в разнообразных городах-государствах, феодальных княжествах, этнических общинах и империях; в современном мире такими «обществами» почти всегда являются нации и национальные государства. Современный мир — это мир национального соперничества и войны, в результате, военные факторы и милитаризм начинают играть все более важную роль в распределении ресурсов и формировании политических сообществ и идентичностей (Simmel 1964; Poggi 1978; ср.: A. D. Smith 1981b).

Наконец, существует общее представление о современности как о революции в управлении и коммуникациях, революции, которая требует новых типов объединений людей, способных эффективно действовать в подобной обстановке.

Здесь мы имеем самый непосредственный источник представления о формировании нации после возникновения государства, поскольку именно в современном государстве и с его помощью эта революция оказала наиболее существенное воздействие. Восходя к работам Вебера и теоретиков «коммуникаций», особенно Карла Дойча, такая точка зрения усматривает в современном государстве контролирующий и рефлексивный институт, для успешного функционирования которого необходимы политическое сообщество и идентичность, сформированные по его образцу (Deutsch 1963, 1966; Tilly 1975).

РЕФЛЕКСИВНОЕ ГОСУДАРСТВО

Наиболее четко эта точка зрения выражена в работах Энтона Гидденса. Возникновение, характер и последствия современного национального государства составляют существенную часть второго тома его «Современной критики исторического материализма» под названием «Национальное государство и насилие». Хотя государство — как «национальное государство» — занимает важное место на его страницах, нации и национализм рассматриваются более поверхностно. Тем не менее, посвященные им пассажи позволяют нам составить четкое представление о теоретической позиции Гидденса в отношении наций и национализма.

По Гидденсу, главное — это «систематическая интерпретация возникновения территориально ограниченного национального государства и его связи с военной силой» (Giddens 1985: 26). Образование национального государства и системы национальных государств — это «выражение нарушенного состояния современной истории», которая с приходом промышленного капитализма претерпела значительные изменения (*ibid.*: 34). И нация, и национализм «являются отличительными особенностями современных государств»; согласно определению Гидденса, нация — это

общность, существующая на четко ограниченной терри-

тории, которая подчиняется единой администрации, рефлексивно контролируемая внутригосударственным аппаратом и аппаратами других государств.

(*ibid.*: 116)

Национализм, в свою очередь, Гидденс считает преимущественно психологическим явлением:

приверженность индивидов к совокупности символов и верований, придающая особое значение чувству общности у представителей политического порядка.

(*ibid.*: 116)

Но сам по себе национализм не находится в центре внимания Гидденса. Он функционирует лишь постольку, поскольку усиливает территориальное единство и рефлексивные свойства национального государства. Его интересует именно национальное государство в его особых административных, военных и территориальных качествах:

Национальное государство, которое существует в комплексе других национальных государств, представляет собой совокупность институциональных форм управления, поддерживающих административную монополию над определенной территорией (границы), господство которых санкционировано законом и прямым контролем над средствами внутреннего и внешнего принуждения и насилия.

(*ibid.*: 121)

Иными словами, национальное государство от других государственных образований, а национализм от ранних форм групповой идентичности отличает появление постоянного управления из столиц над четко определенными участками территории. До наступления современности существованию нормальных исключаящих форм «племенной» групповой идентичности способствовали генеалогические мифы и ре-

лигиозные символы. С наступлением современности, напротив, нации формировались в ходе государственной централизации и административной экспансии, которые посредством рефлексивного упорядочения государственной системы определили границы большого числа наций. Так Гидденс подходит к определению «национального государства» как «обладающего определенными границами вместилища власти... важнейшего вместилища власти современности» (*ibid.*: 120).

Для Энтони Гидденса, как и для Эрика Хобсбаума и других, национализм тесно связан с современным государством. Только постольку, поскольку он связан с государством, полагает Гидденс, он может представлять социологический интерес. Хотя он считает национализм в основном политическим движением, связанным с государством, он признает его психологическое значение и отмечает его определенное символическое содержание, в котором «родина» сплетается с

мифом о происхождении, наделяющим культурной автономией сообщество, которое должно выступать носителем этих идеалов.

(*ibid.*: 216)

Такое символическое содержание зачастую основывается на «историцистских» идеях, наподобие тех, что выдвигались Гердером, а это может вести к более исключаящим или эгалитарным вариантам концепции национального государства. Точно так же национальные символы, например, общий язык, могут создавать чувство общности и, следовательно, определенную онтологическую уверенность там, где традиционные моральные схемы разрушены современным государством. Они также могут быть связаны с фигурами популистских лидеров, которые становятся влиятельными в ситуациях кризиса и разрыва [традиционных связей], часто вызывающих страх.

Однако еще более важно то, что национализм фигурирует в теории Гидденса как

культурная восприимчивость к суверенитету, сопутствующее обстоятельство координации административной власти в рамках обладающего определенными границами национального государства.

(*ibid.*: 219)

Приняв во внимание значительный рост коммуникаций и координации действий, мы можем наиболее практично описать национальное государство как «концептуальное сообщество», основывающееся на общем языке и общей символической историчности. Но лишь в немногих случаях, когда политические границы совпадают с существующими языковыми сообществами, взаимоотношения между национальными государствами и национализмом протекают «относительно без трений». В большинстве случаев возникновение национального государства стимулирует оппозиционные национализмы. Истоки этих национализмов следует искать не столько в региональных экономических различиях, сколько в разрушении традиционных форм поведения, подталкивающим к историчности и требованию административного суверенитета. Это подводит Гидденса к заключению о том, что «все националистические движения неизбежно являются политическими», ибо национализм «тесно связан с достижением административной автономии в современном (то есть рефлексивном) виде» (*ibid.*: 220).

НАЦИЯ ВНЕ ГОСУДАРСТВА

Нет никаких сомнений в том, что возникновение современного бюрократического и рефлексивного государства оказало глубокое историческое влияние на форму и в какой-то степени на содержание многих национализмов. Это имело место не только на Западе; мы сталкиваемся с этим, быть может, в самой откровенной форме в «государствах-нациях» Азии и Африки, то есть в постколониальных государствах, стремящихся стать нациями на основе своих прежних колониальных территориальных границ и своей административной

структуры. Всеобъемлющее, имеющее определенные границы, однородное государство было отправной точкой и образцом для многих национально-освободительных движений в эпоху деколонизации с 1945 по 1970-е годы. Нация, о которой грезили лидеры этих освободительных движений, в равной степени обосновывалась и определялась государственным идеалом, унаследованным от Запада и адаптированным первым постколониальным поколением политических лидеров.³

Однако существуют определенные сложности с объяснениями, берущими за основу государство. Во-первых, на практике не все национализмы отдают предпочтение государственной независимости; большинство шотландцев и каталонцев, например, до сих пор не оказывали поддержки своим движениям и партиям, стремящимся к полной независимости, а вместо этого довольствовались значительной социальной, культурной и экономической автономией в своих границах. Конечно, можно было бы представить ситуацию, в которых они, подобно словенцам и хорватам, также отдали бы предпочтение полной независимости, но, как показывает пример квебекцев, в случае претензий на полную независимость в действие вступает серьезная составляющая «рационального выбора», расчетливой стратегии в противовес автономии (см.: Meadwell 1989; Hechter 1992).

Возможно, более важна проблема культурного национализма. Легко отделаться от сильного желания культурного возрождения, посчитав его привнесенным периферийными интеллектуалами, которые не обладают серьезным влиянием на политический курс данного национализма. Но, как убедительно показал Джон Хатчинсон, культурный национализм — это самостоятельная сила, и он находится в контрапунктных отношениях с политическим национализмом. То есть там, где политический национализм терпит провал или себя исчерпывает, мы сталкиваемся с культурными националистами, предлагающими новые модели и овладевающими коллективной энергией иного рода, мобилизуя тем самым значительное число тех представителей сообщества, кото-

рые прежде оставались безучастными. Хатчинсон описывает это явление главным образом на примере Ирландии, показывая, например, что падение Парнелла в 1891 году действительно положило конец ирландскому политическому движению за гомруль, но в то же самое время способствовало выдвижению на передний край культурных националистов и распространению их гэльских идеалов и образов новой ирландской духовной общности, пока новая волна политического национализма, основываясь на успехах культурных националистов, не смогла взяться за то, на чем остановился Парнелл. В таком случае тезис о том, что все национализмы являются «неизбежно политическими», либо справедлив по определению, либо попросту урезает националистический опыт (Hutchinson 1987: ch. 4).

Еще один недостаток представлений, придающих особое значение государству, — это их этноцентристский, то есть западноевропейский уклон. Исторически Гидденс считает государство историческим феноменом, возникшим из европейского абсолютизма. Помимо игнорирования неевропейских примеров развитого абсолютизма, например, японского сегуната Токугава, такая точка зрения не в состоянии по достоинству оценить другие модели формирования нации за пределами Запада. Действительно, в Западной Европе нация возникла одновременно с бюрократическим государством, пройдя его суровую школу, хотя западные национализмы также можно считать в значительной степени ориентированными на государство движениями, идеологическими движениями за консолидацию и усиление государственной власти (но даже здесь мы можем вспомнить, что голландский, ирландский, американский и даже французский буржуазный национализм во время революций был оппозиционным движением, направленным против государственных властей). Но это вряд ли нам чем-то поможет, когда мы обратимся к Восточной Европе и Азии. Попытки модернизировать управление империей Романовых, Габсбургской и Османской империями были, конечно, движущей силой в процессе генезиса этнических национализмов в собственных границах, но наци-

онализмы, рождению которых они способствовали, равно как и нации, ставшие целями их устремлений, вовсе не были «оппозиционными». Сами их очертания и содержание в значительной мере определялись прежним этническим, языковым и религиозным наследием, а нации, которые они стремились создать, в свою очередь, в различной степени основывались на узах и сообществах, существовавших до проведения имперских реформ, а в ряде случаев и до появления самих империй. Если для Запада характерна траектория «от государства к нации», то Восточную Европу и Азию более убедительно можно проанализировать с позиций модели «от нации к государству». Обе модели, как мы увидим, представляют собой лишь грубые приближения, но они служат нам напоминанием о сложностях формирования нации и необходимости с осторожностью делать обобщения из западного опыта (см.: A. D. Smith 1986b; James 1996: 155–158).⁴

Есть еще два более общих критических замечания. Первое — проблема дефинициональной редукции. Гидденс и некоторые другие авторы настаивают на том, что национализм и нация на самом деле значимы лишь постольку, поскольку они связаны с государством, то есть с достижением и сохранением государственной власти, а также на том, что нация не обладает никаким независимым концептуальным статусом вне своей связи с государством. Здесь не остается никакой возможности независимой теории нации и национализма. Нация включена в понятие национального государства, а в теории и на практике акцент всегда делается на «государственной» составляющей. В своем логическом завершении это означало бы, что поскольку польское «национальное государство» прекратило свое существование в результате разделов конца восемнадцатого века, то же произошло и с польской «нацией»; и что мы могли бы вновь заговорить о польской «нации», когда Польша была возрождена как «национальное государство» в 1918 году. В соответствии с этой логикой, Шотландия не может стать «нацией» до тех пор, пока большинство шотландских избирателей не согласится с платформой Шотландской национальной партии и не от-

даст свой голос в пользу независимого шотландского «национального государства». На теоретическом уровне включение понятия нации в понятие «национального государства» препятствует рассмотрению проблемы нации как сообщества, то есть того, каким образом «нация» стала столь значимой для множества людей во всем мире и почему миллионы готовы отдать свои жизни за явно абстрактное сообщество незнакомцев. Государственническая точка зрения упускает из виду повсеместность такого чувства сообщества одинаково мыслящих людей, с которыми мы ощущаем тесную связь, даже если мы не можем быть знакомы с большинством из них, и ради которых мы готовы пойти на реальные жертвы (см.: James 1996: 166–167).

Второе критическое замечание касается описания Гидденсом национализма как психологического феномена в отличие от структурного характера национального государства. В «Национальном государстве и насилиии» Гидденс отбрасывает свое более раннее предположение о том, что национализм питает и воспроизводит ослабленную форму «примордиальных чувств» (в гирцевском смысле), и вместо этого отдает предпочтение заимствованной у Фредрика Барта идее, подчеркивающей особое значение исключаящих чувств, основанных на социальных границах между этническими группами. Подобного рода аргументация, к которой я вернусь позднее, уязвима для критики, ибо она не в состоянии дать действительную оценку единства социальных и культурных отношений в группах. В действительности, Гидденс признает важность культурных уз, например, языка и религии, но ему не удастся связать их с новым видом «границ», созданных рефлексивным национальным государством, и понять, что они могут быть символически воссозданы для формирования основы современной нации. В этом и заключается одна из самых главных неудач модернизма: его неспособность понять, что преобразования современности в измененной форме восстанавливают социальные и культурные отношения прежних эпох. Описывая «национализм» как чисто субъективный, психологический феномен, Гидденс сводит

его значение к роли основы национального государства, вследствие чего ему не удастся понять, что национализм символически определяет и наполняет страстью национальные идентичности, возникновению которых способствует нация как сообщество. Разверзшуюся между структурой «национального государства» и субъективностью «национализма» пропасть невозможно преодолеть, поставив последнюю в полную зависимость от первой (A. D. Smith 1986a: ch. 3; James 1996: ch. 7).

Таков один из примеров более общей проблемы, касающейся всех вариантов политического модернизма. Этники Гидденс несомненно осознает значимость идеологии и этнической символики, ибо он считает их важнейшими составляющими процесса образования национального государства как *политического сообщества* или «вместилища власти». Тем не менее, понятие нации охватывает вовсе не только одну лишь идею политического сообщества или средства государственной власти, даже обладающего четкими границами, оно также связано с особым культурным сообществом, «народом», проживающим на своей «родине», историческим обществом и духовной общностью. Стремление к политической автономии на определенной территории является жизненно важной составляющей национализма, но оно далеко не исчерпывает его идеалы.

НАЦИИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

Центральную роль политических институтов признавал также Чарльз Тилли в своей работе, посвященной образованию национальных государств в Европе. Тилли фокусирует внимание на государстве и его деятельности, а не на нации, «одном из самых озадачивающих и тенденциозных понятий политического лексикона» (Tilly 1975: 6). Тем не менее, он тоже проводил различие между теми нациями, которые постепенно сформировались в результате экономической и военной деятельности современных государств, главным образом, в Западной Европе, и теми более поздними нациями, которые

создавались как бы «по плану» дипломатами и государственными деятелями путем заключения международных соглашений после продолжительных войн, как это было после тридцатилетней войны или наполеоновских войн. Хотя такое различие имплицитно предполагает роль идеи нации, разрабатывавшейся государственными деятелями, интеллектуалами и другими, Тилли не придает этой идее никакого самостоятельного статуса. По Тилли, именно современное государство обладает в социологическом отношении первостепенной важностью, ибо исторически оно возникло раньше; нация — это просто конструкция, зависящая от государства по своей силе и значению, а потому она не самостоятельна. Конечно, дискуссии элит — военных, политических и интеллектуальных — оказали большое влияние на политическую карту Европы и не только ее одной, но всегда в контексте межгосударственной системы, представители которой постоянно находятся в состоянии соперничества и, следовательно, конфликта (Tilly 1975: Conclusion).

Эта межгосударственная система возникла в Европе, постоянно находившейся в состоянии войны, Европе, неспособной воссоздать Римскую империю. Ее защищенное географическое положение и разнообразные группировки, ее многочисленные города и конфликты между сеньорами и крестьянами, а также военная и экономическая эффективность государственной формы не позволили какому-то одному государству стать господствующим на континенте. Согласно Чарльзу Тилли, прежде всего именно война «создает государство», а уже после этого государство «ведет войны». Война — это двигатель процесса создания государства, но также и процесса формирования нации. Но после того как участвующие стороны были обессилены войной, дипломатия была призвана создать новый международный порядок «национальных государств» в соответствии с балансом сил между ведущими государствами — сначала в Европе, а затем и в мировом масштабе (Tilly 1975: Introduction, Conclusion).⁵

Более новое описание превосходства политических институтов можно встретить в работе Роджерса Брубейкера. Он

утверждает, что традиционные «субстанциалистские» представления национализма овеществляют нацию и превращают ее в устойчивую общность. Не считая нации реальными сообществами, которые неизменны и устойчивы во времени,

мы должны сфокусировать внимание на нации как категории практики, статусе нации как институционализированной культурной и политической форме и национальности (*nationness*) как случайном событии или явлении, а также воздерживаться от употребления сомнительного в аналитическом отношении понятия «нации» как субстанциальной, устойчивой общности. Последняя книга Юлии Кристевой по-английски называется «Нации без национализма»; однако ближайшая исследовательская задача, по моему мнению, заключается в том, чтобы помыслить национализм без наций.

(Brubaker 1996: 21)

Здесь Брубейкер обращается к политике и методам, которыми советский режим институционализировал территориальные и этнические республики, пришедшие на смену ему после 1991 года. Националистические практики были сформированы советскими политическими институтами, а, учитывая все произошедшее, процесс обретения «национального» статуса привел к образованию государств-преемников. Ибо советские институты заключали в себе

всеобъемлющую систему социальной классификации, организующий «принцип представления и разделения» социального мира.

(*ibid.*: 24)

Итогом распада советской системы стала не борьба постсоветских «наций», а «институциональное становление национальных элит» (*ibid.*: 25).

Теперь понятно, что современное государство, подобно более масштабной межгосударственной системе, предусмат-

ривает четкий контекст и накладывает серьезные ограничения на образование наций и национализмов. Но говорить, что оно также *конституирует* интересы и участников в соответствии с постулатами «нового институционализма» в социологии, — значит серьезно ограничивать область теоретического исследования и исключать альтернативные возможности. Мы в состоянии, я полагаю, избежать социального овеществления, сохранив при этом представление о нациях как о реальных сообществах (не обязательно «устойчивых» и, конечно же, не «неизменных и данных» или «внутренне однородных»); и мы должны сделать это, поскольку «нация», не будучи только лишь категорией практики, институционализированной формой и случайным событием, как справедливо замечает Брубейкер, также связана с живым и осязаемым сообществом, что приводит к совершенно реальным и серьезным последствиям. Именно социальная реальность таких последствий заставляет исследователей считать нации реальными сообществами, существующими наряду с другими видами живых и осязаемых сообществ. (Кроме того, почему мы должны считать, что политические или иные институты и их практики обладают большей «реальностью», нежели сообщества? В конечном счете, все они представляют собой абстракции, но в действительности социальная наука не в состоянии обходиться без них. Даже теория рационального выбора оперирует «организациями» и «корпорациями», имеющими свои интересы.) Дело в том, что этнические сообщества, конфликты и этнонациональные движения существовали уже в царской империи, как и в остальной Европе (не говоря уже о марксистском теоретическом осмыслении «национального вопроса»), а советские правители просто адаптировали, расширили и укрепили политически то, что уже существовало социодемографически и культурно (Ben-nigsen and Lemercier-Quelquejau 1966). Роджерс Брубейкер справедливо напоминает нам, что «нация» (как и «государство») — это понятие, но ограничить ее референты формой, практикой и событием — значит лишить ее тех признаков, которые делают ее столь сильной и привлекательной. Как

мы можем объяснить распространенные сильные чувства привязанности к простым формам и практикам, даже когда их затмевает блеск государственных институтов и международной системы? «Национализм» нельзя так легко отделить от наций как сообществ.

Влияние межгосударственной системы на такие нации — большая тема. Она изучалась социологами, вроде Стейна Роккана, и специалистами в области теории международных отношений, вроде Хинсли и Мейалла. С точки зрения социологов предложенную Дойчем модель строительства нации следует поместить в более широкий контекст международных экономических, политических и культурных взаимосвязей. С этой целью ими были разработаны сложные модели множества взаимосвязанных факторов (язык, религия, торговля, управление и региональные экономики), с помощью которых они пытались показать, почему отдельные сообщества и регионы не смогли обрести статус нации, тогда как другие в этом преуспели. В этом духе Эндрю Орридж попытался обрисовать сложные социальные и исторические основания современных автономистских и сепаратистских движений в Европе. В богатом и всестороннем исследовании множества действующих факторов и их превращений он показал изменчивость оснований и содержания таких движений, продемонстрировав тем самым ограниченность прежних социально-экономических моделей (Rokkan *et al.* 1972; Orridge 1981, 1982; Tivey 1980).

На более общем уровне специалисты в области теории международных отношений стремились определить значение и влияние наций и национализма в контексте ранее существовавшей межгосударственной системы и роли дипломатии и войны. Новый мировой порядок, построенный на основе государств и впервые кодифицированный в Вестфалии в 1648 году, подчеркивал естественность иерархии в мире монархических государств, где война считалась легитимным институтом суверенных государств. Именно этому миру национализм бросил вызов от имени идеалов народного суверенитета и народной культуры (см., *inter alia*: Hinsley

1973; Azar and Burton 1986; Mayall 1990; ср.: Posen 1993; Snyder 1993).

Согласно Джеймсу Мейаллу, наиболее систематичному теоретику модернистского вызова национализма международному порядку, национализм, разумеется, способствовал подрыву традиционного основания политической легитимности. В то же самое время он расширил и углубил роль войны. У самих националистов не было единого мнения относительно роли войны. Либеральные националисты были людьми мира и надеялись на то, что международное сообщество свободных государств уничтожит этот бич человечества. С другой стороны, «историцистские» националисты вслед за Гегелем считали войну необходимой для выживания нации и ценностей, ею олицетворяемых. Вместе с широким ростом промышленного производства и технологий массового уничтожения в двадцатом веке этот идеал способствовал переходу к тотальной войне. Это сопровождалось глобализацией государственной системы под воздействием национализма и растущим проникновением государства в повседневную жизнь его граждан от имени нации (Mayall 1990: 25–34; ср. работу Наварри в: Tivey 1980).

Преуспел ли вызов национализма в разрушении нового мирового порядка, основанного на системе суверенных государств? Согласно Мейаллу,

был достигнут компромисс между основанным на праве давности принципом суверенитета и распространенным принципом национального самоопределения. В результате произошло создание более ста новых государств и развитие первого действительно глобального международного сообщества, известного миру. Но старый мир не пошел на безоговорочную капитуляцию перед новым: всякое приспособление к новым условиям связано с компромиссом. Принцип национального самоопределения, включенный в новую систему, как оказалось, был гораздо менее терпимым или распространенным, чем можно было ожидать, судя по вниманию к

его философским истокам и смыслу. Более того, глобальная интеграция международного сообщества на основе принципа народного суверенитета сопровождалась беспрецедентной попыткой *замораживания* политической карты.

(*ibid.*: 35, выделено автором)

Это означало, что межгосударственный порядок, опираясь на принцип суверенитета, не был склонен предоставлять новым претендентам национальный статус, если они не находились на территориях бывших колоний. Принцип национального самоопределения ООН на практике был уточнен таким образом, что учитывал лишь государства, созданные в ходе деколонизации империй, а не этнические сецессионистские движения, добивавшиеся создания собственных государств путем выхода из устроенных соответствующим образом национальных государств. Лишь в редких случаях после окончания Второй мировой войны новые государства создавались и признавались легитимными в международном масштабе в результате мирного соглашения между сторонами (Сингапур) или регионального покровительства, оказываемого отделившейся нации (Бангладеш) (*ibid.*: 61–69).

Конечно, после 1991 года было создано примерно двадцать новых государств. Но это в основном было результатом распада двух империй, советской и эфиопской. Джеймс Мейалл признает мощь этнического всплеска после 1989 года, но утверждает, что межгосударственная система продемонстрировала свою обычную устойчивость и по-прежнему отказывается поощрять сецессию или ирредентизм, кроме как путем мирного соглашения, как это имело место в случае Словакии. До сих пор остается открытым вопрос о преждевременном признании Словении, Хорватии, Македонии и Боснии: служат ли они исключениями из правила или же они предвещают серьезное смещение акцента в международных отношениях? Принимая во внимание распространенные во всем мире и часто непредсказуемые вспышки этнических конфликтов и националистических настроений, можем ли

мы быть столь оптимистичными в вопросе стабильности международного сообщества суверенных государств? Кроме того, разве международные организации от имени прав человека и прав меньшинств и под влиянием широко распространенного этнического национализма не ослабляют суверенную власть отдельных государств? (Mayall 1991, 1992; ср.: Preece 1997).

ГОСУДАРСТВО И ВОЙНА

Роль войны в создании этнических и национальных сообществ, разумеется, может быть засвидетельствована и в до-современные эпохи. Нам достаточно вспомнить то, как этнические сообщества и нации усиливали чувство коллективной идентичности путем мобилизации мужчин, поддерживали враждебность и вели продолжительные войны, и как воспоминания и мифы о битвах способствовали постепенному оформлению чувства этнического или национального единства — будь то у древних греков после Марафона и Саламина, католиков после Канн и Замы, швейцарцев после Земпаха и Моргартена, французов после осады Орлеана или англичан после победы над Непобедимой армадой. Но именно в современную эпоху война оказала свое наиболее глубокое воздействие; и это в значительной мере потому, что, как ярко описал Майкл Говард, революция в ведении войны начала Нового времени была связана тесной причинной связью с управленческой эффективностью современного государства (см.: Howard 1976; A. D. Smith 1981b).

Согласно Майклу Манну, военные факторы обладают первостепенной важностью в ходе формирования современного национализма и его курса. Манн, подобно Тилли и Гидденсу, является убежденным «модернистом»: в первом томе «Истоков социальной власти» он утверждает, что, хотя, возможно, в древнем мире и в средневековье существовали обособленные этнические сообщества, они не могли стать — и не становились — основой государственных образований. При этом *нации* не могли возникнуть до начала западных де-

мократических революций, которые впервые вывели массы на политическую арену. Тем не менее, Манн готов признать, что не только военно-политические, но и иные факторы сыграли определенную роль в становлении современных наций и национализма (Mann 1986: 527–530).⁶

Во втором томе Майкл Манн связывает возникновение наций и национализма с возникновением классов, произошедшим приблизительно в конце восемнадцатого века. Он определяет нацию как

широкое межклассовое сообщество, утверждающее свою особую этническую идентичность и историю и претендующее на свое собственное государство.

(Mann 1993: 215)

Он выделяет четыре этапа становления национальных государств: первый — религиозный — в Европе шестнадцатого века, когда протестантская Реформация и католическая Контрреформация способствовали образованию новых общностей дискурсивной грамотности крупных народных языков, связывая семейные ритуалы с более широкими светскими социальными практиками и мобилизуя тем самым более высокую степень «интенсивного влияния» у ограниченного класса. Второй — приблизительно с 1700 года, когда государственная экспансия и коммерческий капитализм распространили поле дискурсивной грамотности на более широкий класс через разнообразные институты — от контрактов и военных учебников до дискуссий в кофейнях и салонах, способствуя пробуждению ограниченного «гражданского» чувства среди высших классов (*ibid.*: 216–218).

Эти два этапа привели к возникновению того, что Манн называет «протонацией», сознание которой в значительной степени было сознанием элиты. Реальные межклассовые нации возникли только на третьем этапе, в конце восемнадцатого века, под давлением финансовых кризисов и государственного милитаризма. До 1792 года военная революция оказала глубокое влияние на геополитические отношения в

Европе, вызвав несколько финансовых кризисов в ряде европейских государств. Результатом стал рост воинской повинности, налогов на войну и регрессивных военных займов, причем все это способствовало политизации понятий «народа» и «нации». Вследствие роста притязаний имущих классов на представительное правление и политическое гражданство интенсивные, ранее существовавшие наследственные общности ритуала и грамотности связывались с широкими властными сообществами разросшегося и ставшего более агрессивным государства, хотя в ту пору и в ограничивавшемся только элитами масштабе. В централизованной Англии и, в более радикальной форме, во Франции национализм, возникший в результате этих кризисов, служил опорой государства; в конфедеративной Австрии и Германии он был направлен на ниспровержение государства, потому что эти государства были построены в соответствии с провинциальной логикой и имели давние и влиятельные провинциальные учреждения, контролировавшие налогообложение. Так,

становление межклассовых наций стимулировалось скорее военным, а не капиталистическим оформлением государств. Поскольку фискально-военное бремя затрагивало государства более непосредственно и равномерно, нежели торговый или промышленный капитализм, нации возникли во всех них одновременно с региональными политическими институтами, причем не только в более развитых в экономическом отношении регионах.

(*ibid.*: 226; ср.: Mann 1995)

В период после 1792 года под давлением французских революционных и бонапартистских войск режимы по всей Европе стали проникать в интенсивные, наследственные сообщества и связывать их более тесно с широкими государственными и военными сообществами, причем в намного большем масштабе. Особенно важным здесь было использование ранее существовавших религиозных и коммерческих общнос-

тей дискурсивной грамотности со стороны капитализма и военного государства. Этим занималась радикальная интеллигенция, обращавшаяся к универсальным принципам, пересекавшим все границы — будь то знания, социального класса или социальной практики. Казалось, что в ситуациях острых кризисов эти идеологические принципы исполнялись сами собой: громогласно провозглашался конец привилегий и нации под ружьем — так возникала свободная нация. В эти ключевые идеологические «моменты» «национальное государство мобилизовало большую коллективную силу, чем могли собрать старые режимы» (*ibid.*: 235).

В Германии и Австрии разрыв между языковыми и политическими границами действительно привел к тому, что первое романтическое брожение академического национализма стало странным образом «культурным» и аполитичным. Но это не могло продлиться долго. Под влиянием французского милитаризма упрочились национальные стереотипы, целые народы противостояли друг другу, и выросло число радикально-патриотических обществ, обращавшихся к народу на местных наречиях. В этом процессе язык стал основным средством различения «нас», местной общины, и «их», завоевателей и политических правителей, а следовательно, средством определения новых «будущих наций» Центральной Европы (*ibid.*: 238—247).

На четвертом и заключительном этапе формирования нации, начиная с конца девятнадцатого века, промышленный капитализм укреплял нации при помощи развитого государства. Всеобщая жажда промышленного капиталистического роста наделила государство чрезвычайно широкими полномочиями в координации жизни общества. На государство возлагалась все большая ответственность за коммуникации, всеобщее образование, здравоохранение, социальное обеспечение и даже за семейные нравы. Государство становилось одновременно все более представительным и «национальным», более участвующим и однородным. Конечно, это могло бы привести к противостоянию на основе языковых или религиозных различий, ниспровержению существующе-

го государства или формированию основы новых национальных государств; однако тенденция к национальной однородности и народным нациям средних классов, крестьян и рабочих способствовала более страстному, агрессивному национализму, проистекавшему из тесной взаимосвязи интенсивных, эмоциональных сфер и милитаристского, капиталистического государства. Индустриализм распространялся на гражданские и военные государственные сообщества: они сформировали ядро агрессивных национализмов. Манн заключает, отмечая постепенно сформировавшиеся тесные связи между государством и нацией, что:

На этапе промышленного капитализма усиливающая государство нация может быть легко представлена в виде трех концентрических кругов: внешнего — ограниченного и связанного с тотальным национальным государством, среднего — более тесно связанного с внутренним кругом, государственным ядром.

(*ibid.*: 734)

Таково сложное и нюансированное модернистское представление о возникновении национализма в Европе, которое помещает его в исторический контекст развития классов и классовой борьбы под сенью современного милитаризованного государства. Майклу Манну не удастся обнаружить какой-то «основной» причины возникновения наций или национализма, хотя влияние капитализма особенно заметно на последних двух этапах. Но в таком случае, говорит он, нации и национализм возникают вследствие деятельности милитаристского государства. Кроме того, Манн осмотрительно предупреждает нас, что все, на что мы можем рассчитывать, — это самое общее описание факторов, обуславливающих возникновение наций и национализма, и что затем каждый случай должен рассматриваться в своих особых социальных и исторических условиях, отдельные европейские примеры которых он, соответственно, анализирует.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ НАЦИОНАЛИЗМА?

Вопреки своим прежним заявлениям, позднее Майкл Манн предложил общую «политическую» теорию национализма и его эксцессов. Здесь он идет значительно дальше, утверждая приоритет политического и военного факторов. Это происходит, когда он утверждает, что «разгадка заключается, скорее, в государстве». На третьем или милитаристском этапе «государства теперь довлеют над жизнью своих подданных, облагая налогами и призывая их на военную службу, пытаясь мобилизовать их энтузиазм ради собственных целей». Оказывая сопротивление, народ выдвигал требование политического гражданства «народа» и «нации» (Mann 1995: 47–48).

В этот момент Манн отходит от однофакторных объяснений. Он готов признать, что регионально-этнические и религиозные составляющие играют особую роль, особенно на ранних этапах установления масштабных сфер дискурсивной грамотности. Это особенно заметно в «конфедеративных» структурах, наподобие империи Романовых, Габсбургской и Османской, где «патриотическая» оппозиция формировалась в провинциях. Тем не менее, он постоянно возвращается к «политическим» объяснениям. В отношении поддерживавших государство национализмов, наподобие английского и французского, он пишет:

Но очевидная тесная связь нации и государства нуждается прежде всего в политическом объяснении.

(*ibid.*: 48)

И вновь в отношении «провинциальных» национализмов Габсбургской империи он замечает:

Мы не в состоянии предсказать, сколько именно наций появится на основе простой «этничности». Присутствие или отсутствие региональной администрации значительно облегчает задачу предсказателя. Это под-

талкивает к преимущественно политическому объяснению. (ibid.: 50)

Манн, конечно, справедливо отмечает рост нации в рамках государственной структуры главным образом на Западе. Но подтверждается ли такое объяснение в случае Центральной Европы? Достигает ли успеха такое объяснение в отношении Германии и Италии? Разве нам не следовало бы ожидать возникновения сначала прусской и пьемонтской, а не «немецкой» и «итальянской» наций, которые в конечном итоге заняли свое место в союзе «наций»? Почему борьба за демократию и представительное правление была *ipso facto* движением за немецкую и итальянскую нации? Манн мог бы справедливо сказать, давая предвзятый ответ, что национализм служит составляющей более широкого движения за демократию (безотносительно к тому, встречались ли более поздние его проявления), но едва ли этим можно объяснить, почему демократизация повсюду является националистической, почему именно *нация* должна быть демократизирована и почему демократия должна осуществляться в нации и посредством нации.⁷

Манн справедливо озабочен объяснением страстного, зачастую агрессивного характера национализма. Он утверждает, что национализм возник из протеста против действий авторитарных, милитаризованных государств, которые вторгались в негосударственные сферы семейной жизни, религии и образования и связывали их с милитаризованным государством. Но почему народ должен был желать овладеть всепроникающим, часто чуждым государством и связать свои частные интересы или чувство принадлежности к сообществу с образом милитаризованного, профессионального государства? Не потому ли, что государство было настолько всепроникающим и чуждым, зачастую угрожая традиционному образу жизни, что люди стремились обрести некое чувство общности *вопреки* государству?

Манн рассматривает нацию в значительной степени с позиций государства — как продукт либо гармонических, либо

— вследствие реакции — конфликтных отношений с ним. В конечном счете, как утверждал Тилли, современное национальное государство возникло до наций и национализма; поэтому понять их можно только в европейском контексте межгосударственной дипломатии и войны. Это могло бы помочь в объяснении того, почему границы и вытеснение за их пределы стали для многих националистов важным предметом озабоченности и почему, когда не был решен вопрос границ, война, по-видимому, считалась нормальным и даже «естественным» вариантом его решения (Tilly 1975: Introduction; см.: Dunn 1978: ch. 3).

Но современные нации и национализм связаны не только с повышенной озабоченностью контролем над границами и исключением «иностранцев». Для националистов важно чувство «родины» и исторической, даже священной территории, а не просто границ. Нам следует искать объяснение не только в форме, но и в содержании, заключенном в ней. Именно отношения — эмоциональные и политические — между землей и народом, историей и территорией служат одной из главных движущих сил национальной мобилизации и последующих притязаний на правовой статус. Следовательно, объяснения в терминах межгосударственных отношений и войны не в состоянии раскрыть эмоциональные истоки национального чувства.⁸

Точно так же националисты подчеркивают уникальность народной культуры. Манн восприимчив к проблемам культуры в контексте Германии и Австрии и их наций, но он не в состоянии понять, что они составляют предмет озабоченности националистов повсюду. Нам необходимо объяснить, почему столькие народы следовали за националистами, подчеркивая особый характер собственных культур и желая принадлежать к «уникальным» нациям, особенно народы, не имевшие своего собственного государства. Трудно понять, каким образом мы можем объяснить эти основные предметы озабоченности современного национализма при помощи таких общих факторов, как межгосударственный порядок и образующие его милитаризованные государства.⁹

Можно было бы также усомниться в тезисе Манна о том, что неудачная попытка установления демократии национальными государствами, особенно в период, который он называет «модернистским» этапом, наступившим после окончания Первой мировой войны, имела результатом крайне агрессивный национализм и особенно фашизм (*ibid.*: 57–63). Точно так же можно было бы утверждать, что неудачные попытки ортодоксальных национализмов выполнить свои обещания — экономические, культурные и политические — открыли возможность для куда более радикальных «решений», которые в конечном итоге подорвали саму концепцию вертикальной нации, заменив ее идеей горизонтальных расовых каст. Радикалами зачастую были люди, с государством не связанные: бывшие солдаты, принадлежащие к низшим классам интеллектуалы, низшее духовенство и конторские служащие. Государство может быть целью их устремлений, но оно не всегда служит источником их недовольства (A. D. Smith 1979: ch. 3).

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: НАВЕДЕНИЕ МОСТОВ?

Попытка решения некоторых из этих проблем при сохранении представления о государстве как об основной цели и задаче национализма находится в центре внимания наиболее сложной и полной «политической» теории национализма. Джон Бройи — убежденный модернист, он начинает с признания того, что в эпоху позднего средневековья могло существовать нечто похожее на национальное сознание, но отказывается называть его «национализмом». По Бройи,

термин «национализм» используется по отношению к политическим движениям, которые стремятся к государственной власти или осуществляют ее, оправдывая свои действия доводами национализма.

Националистическая идея — это политическая доктрина, основанная на трех посылах:

- (а) Существует нация, обладающая ярко выраженным особым характером.
- (б) Интересы и ценности этой нации обладают приоритетом перед всеми остальными интересами и ценностями.
- (в) Нация должна быть независимой, насколько это возможно. Для этого обычно необходимо достижение, по крайней мере, политического суверенитета.

(Breuilly 1993: 2)

Ограничивая термин политической доктриной, такое определение «избегает опасности чрезмерной неопределенности и широты и, среди прочего, акцентирует внимание на современном характере национализма» (*ibid.*: 5).¹⁰

Бройи также хочет исключить из своего определения те политические движения, которые требуют независимости на основе универсальных принципов, наподобие свободы и равенства. Это приводит его к исключению Декларации и войны за независимость американских колоний 1776 года. Для национализма необходимо сочетание таких универсальных принципов с озабоченностью особой культурной идентичностью, а американские лидеры до и во время войны подобной озабоченности не выказывали. В то же самое время Бройи готов признать, рассматривая роль Франкфуртского парламента 1848–1849 годов в формировании немецкой нации, что вместо этнического критерия национализм может выдвигать свои требования на основе «исторически-территориального представления о нации» (*ibid.*: 6).

Тем не менее, Бройи не готов принять крайнюю волюнтаристскую позицию: если бы национальная идентичность основывалась на индивидуальном выборе, то пришлось бы отказаться от всякой идеи об особой в культурном отношении нации, даже с националистической точки зрения. При этом националистические призывы нельзя приравнивать к требованиям универсальных прав человека на данную территорию, выдвигавшимся многими антиколониальными движениями Африки. В действительности, во многих из этих слу-

часев важными казались именно культурные темы: современные антиколониальные движения противопоставляли якобы лучшей западной культуре «представления о своих собственных, незападных культурах». Эти представления могут быть весьма общими, действующими на «пан-уровне»: арабском, африканском, индийском, китайском. Или же они могут действовать на «субнационалистическом» или «племенном» уровне и обращаться к особым этническим идентичностям (*ibid.*: 6–7).

На самом деле Джона Бройи интересуют только политически значимые национализмы, а не идеология или идеологии *per se*.

Главное здесь то, что национализм как форма политики представляет собой в основном оппозиционную политику. Принцип классификации, следовательно, будет основываться на отношениях между националистическим движением и государством, которое оно либо отвергает, либо контролирует. Националистическая оппозиция может стремиться покончить с существующим государством (отделение), реформировать его в националистическом направлении (реформа), либо объединить его с другими государствами (объединение).

(*ibid.*: 9)

Эти разграничения приводят к выделению шести классов национализма в зависимости от того, за что они выступают (объединение, реформу или отделение) и с какими государствами они связаны (национальными или «ненациональными», например, империями). Конечно, национализмы, наподобие польского национализма девятнадцатого века, были направлены против обеих разновидностей государства и стремились одновременно к отделению, объединению и реформе. Но различия в их целях и ситуациях обусловили совершенно различные виды националистической политики в самом польском национализме. Поэтому политическая типология чрезвычайно полезна, а «единственной отправной

точкой для понимания национализма вообще является серьезное осмысление его формы политики» при помощи сравнительно-исторического исследования. Принимая во внимание разнообразие социальных групп, объединяемых национализмом, и сложности проведения четкого различия между разными видами националистической идеологии, лучшим средством классификации и понимания природы национализма и его воздействия на современный мир служит политический критерий (*ibid.*: 12–14).

Вообще говоря, национализм способен овладеть государственной властью, потому что он может вызвать поддержку масс, объединить различные социальные группы и обеспечить общую основу их разрозненных социальных интересов. Благодаря действенному исполнению функций социальной мобилизации, политической координации и идеологической легитимации, национализм распространился по всему миру, привлек на свою сторону различные социальные группы и на протяжении последних двух столетий оставался мощной силой. Согласно Бройи, роль субэлит была решающей, особенно для важной разновидности оппозиционных национализмов на колониальных территориях. К ним Бройи относит средних чиновников, офицеров, лиц свободных профессий, торговцев и интеллектуалов. В других случаях авангард националистического движения составляли недовольные и обидевшиеся аристократы или представители низшего духовенства, особенно в странах Восточной Европы. Иногда в националистическом движении участвовали крестьяне и рабочие, хотя сами по себе работники физического труда склонны ставить классовую солидарность выше нации, как утверждали Маркс и Энгельс. Однако национализм получил широкую крестьянскую поддержку в ряде революционных ситуаций в Азии и Африке, а также привлекал на свою сторону рабочих, когда их профсоюзы становились основными оппозиционными партиями, выступавшими против колониальных властей. Рабочие также были склонны становиться на националистические позиции всюду, где обострялась трудовая конкуренция между рабочими, принадлежащими к различным эт-

ническим группам, как это имело место в конце девятнадцатого века в Богемии. Но, быть может, наиболее поразительный пример приверженности рабочего класса к национализму имел место в двух мировых войнах, хотя нам следует помнить, что, несмотря на большое число добровольцев из числа рабочих, именно лидеры профсоюзов во Франции, Германии и Англии с куда большей, чем у их рядовых членов, готовностью согласились с требованиями буржуазии начать войну в 1914 году, а затем и еще раз в 1939 году (*ibid.*: 36–46).¹¹

Лица свободных профессий и интеллектуалы, как часто принято считать, играют основную роль в националистических движениях. Принимая во внимание их дискурсивные навыки, статусные интересы и профессиональные потребности, лица свободных профессий были особенно решительными сторонниками дела национализма. Тем не менее, утверждает Бройи, было бы ошибкой считать национализм политикой лиц свободных профессий, хотя бы потому, что их позиции в иерархиях статуса и власти оставляли большинство представителей их социальной группы равнодушным и аполитичным. Точно так же с интеллектуалами, которые, как часто думают, должны быть главными сторонниками и борниками национализма. Джон Бройи с готовностью признает значение интеллектуалов для политических движений вообще и готов признать, что националистические идеологии с их претензией выступать от имени всей нации были особенно привлекательными для тех, кто ценил интеллектуальную абстракцию и свою независимость от частных интересов. В то же самое время, такие абстракция и независимость характерны для всех современных идеологий, а интеллектуалы, как и все остальные, подчиняются разнообразным социальным ограничениям и вынуждены действовать в рамках ранее существовавших политических сообществ. Поэтому было бы ошибкой считать национализм политикой интеллектуалов или какой-то другой социальной группы. И именно политику и политические контексты социальных групп, а не их идеи должны мы рассматривать для того, чтобы понять характер и функции национализма (*ibid.*: 48–51).¹²

Если национализм нельзя считать политикой интеллектуалов, означает ли это, что идеология не играет никакой роли? С некоторыми оговорками, заключает Бройи,

идеология по-прежнему может считаться могущественной силой, которая была важна в работе по координации, мобилизации и приданию легитимности деятельности националистического движения.

(*ibid.*: 70)

Однако претензия на связь культурной самобытности с требованием политического самоопределения должна была соотноситься с определенными интересами, причем она возникала лишь в политических ситуациях определенного рода. Основной ситуацией была ситуация современности. Современная эпоха капитализма, бюрократии и секуляризма сопровождалась растущим разрывом между «государством» и «обществом», ростом абсолютистской сферы политики, с одной стороны, и частной сферы «гражданского общества» — с другой. Именно эту зияющую пропасть стремились преодолеть различные идеологии, а национализм выдвинул псевдорешение, выступив в поддержку идеи сообщества, представлявшего собой одновременно культурную и политическую «нацию» теоретически равных граждан. Здесь Бройи называет доводы Гердера типичными для того, что он считает историцистским по своей сути представлением о национализме. По Гердеру, язык был мышлением, и он развивался лишь в контексте социальных групп. Поэтому мышление, подобно языку, было особым и уникальным для каждой группы; так, в обществе всегда существовали развивавшиеся вместе с ним различные культурные коды: одежда, танец, архитектура, музыка. От природы, как она сотворена Господом, каждая нация уникальна и «подлинна». Задача националиста очевидна — вернуть свое сообщество к его естественному, подлинному состоянию. Но это можно сделать, лишь поняв культурную нацию как нацию политическую, тем самым заново соединив то, что было разделено современностью. От-

сюда призыв к национальному самоопределению, который означает воссоединение общества и государства путем сохранения уникальности каждой нации в рамках ее собственного территориального государства. Только так может быть возрождена подлинность, а сообщество, то есть нация, сумеет воплотить в жизнь свою самобытность и свои истинные внутренние ценности (*ibid.*: 55–64).

Бройи с глубоким подозрением относится к историцизму национализма, ибо он обманным путем перескакивает от культуры к политике, ловко подменяя особую культурную нацию политической нацией граждан. В то же самое время он признает, что национализм пытается найти решение вполне реальной проблемы – проблемы раскола между государством и обществом, который выходит наружу с наступлением Нового времени. В важном и оригинальном пассаже он пытается показать, как такая попытка, хотя и обладающая рядом недостатков, оказала большое влияние на массы через развитие особой конкретной символики. Качество, отличающее национализм от других идеологий, – это беззастенчивое прославление самого сообщества.

Националисты превозносят себя самих, а не какую-то трансцендентную реальность, будь то иной мир или будущее общество, хотя такое прославление связано с озабоченностью преобразованием реальности настоящего.
(*ibid.*: 64)

Бройи иллюстрирует это свойство самореференциальности на ярком примере бурского мифа о Великом переселении и Дне завета, напоминающего о «спасении» бурских фермеров в битве на Кровавой реке в 1838 году. Символика освобождения и победы успешно мобилизовала чувство общей судьбы буров (хотя и не сразу политического единства) столетием позже, когда после паломничества по пути Великого переселения в память о нем был возведен монумент. В данном случае, согласно Бройи,

основное послание, передававшееся в гимнах, на собраниях, в речах и сложных церемониях, повествовало о народе, готовом к сражению. Цель заключается в возвращении к высотам прошлого, хотя и превращенным образом.

(*ibid.*: 67–68)

Неохотно уступая, Бройи заключает, что

самореферентное свойство националистической пропаганды и тема восстановления славного прошлого в преобразованном будущем обладают особой силой, с которой трудно состязаться другим идеологическим движениям.

(*ibid.*: 68)¹³

Большая часть объемного исследования Джона Бройи посвящена историческому разъяснению форм и условий существования каждой из шести разновидностей национализма (реформа, объединение и отделение в национальных и ненациональных государствах) в Европе, Азии и Африке. Обобщая свою политическую модернистскую теорию, он приходит к следующим выводам. Современное абсолютистское государство, одновременно территориально ограниченное и всеобъемлюще универсальное, все более ставится под сомнение и ограничивается негосударственной сферой «гражданского общества», базирующегося на развитом капитализме, которое составило основу растущего политического сообщества. С конца восемнадцатого века идея суверенного государства и его политического сообщества стала господствующей в Европе и сформировала основу современной территориальной нации. Понятие нации «относилось главным образом к институтам политического сообщества, служившего опорой монархии» (*ibid.*: 374). Когда оппозиция монарху и государству стала основываться на исторических или естественных правах, был сделан первый шаг к национализму. Но там, где политическая оппозиция была слабой, группы, исключенные

прежде из политической жизни, могли включиться в нее, обратившись к культурной идентичности как основе территориального политического сообщества. В этот момент и возникает национализм. Поэтому,

идея управляемого общества, которая могла быть определена только с точки зрения его негосударственного характера, то есть с точки зрения его «культуры», идея суверенного территориального государства, и идея мира вынуждали такие государства соперничать друг с другом — таковы основные посылки, на которых строятся националистическая идеология и националистическая политика.

(*ibid.*: 375)

По Бройи, первыми подлинно националистическими движениями были движения за отделение или объединение, ибо обе эти разновидности движения стремятся к тому, чтобы границы культурного сообщества совпадали с политической единицей. Вообще, развитие национализма тесно связано с характером политической модернизации в Европе девятнадцатого века и на территориях европейских поселений и колониальных режимов за границей. В этом особом политическом контексте национализм следует рассматривать не как интеллектуальное изобретение, которое должно быть разоблачено, и не как иррациональную силу, выходящую наружу в ходе истории, и уж, конечно, не как решение, предлагаемое самими националистами в ответ на глубокую потребность человека в идентичности. Национализм — это «необычайно современная форма политики, которая может быть понята лишь по отношению к тому, как развивалось современное государство» (*ibid.*: 398–399, 401).

ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПОЛИТИКА

Но можем ли мы точно определить характер и пределы национализма? Понятные, рассмотренные вкратце доводы в

пользу политического определения национализма Бройи достаются дорогой ценой, о чем он и сам прекрасно знает. Он неоднократно возвращается к вопросу о более широкой «идентичности», которой стремятся достигнуть националисты и народ в целом и которую отстаивают конкурирующие подходы к национализму. Его доводы в пользу отказа от идеи национализма как языка и идеологии культурной идентичности двояки. Первый — методологический: пытаться включить озабоченность культурной идентичностью значит необоснованно расширять определение национализма и делать его неясным и неточным. Нас должен интересовать национализм только как форма политики, потому что только такого рода определение поддается историческому и социальному анализу.

Но разве похвальная обеспокоенность точностью является достаточным основанием для отказа, по крайней мере, от упоминания об «идентичности» при определении понятия, если, по признанию самого Бройи, мы можем говорить о «национализме» лишь там, где культурная идентичность становится основой политической мобилизации? По Бройи, национализм — это разновидность историцизма, основанная на культурном многообразии и стремлении к «подлинности». Можем ли мы исключить все упоминания о «культуре» из определения понятия, специфика которого заключается как раз в отношениях между культурой и политикой? И если мы включаем «культуру», то не потому ли, что культура, согласно националистической идеологии, определяет коллективную идентичность? Точность и строгость не должны достигаться ценой исключения основных составляющих понятия и его отличительных особенностей.¹⁴

Существует также теоретическое основание для отказа от рассмотрения культурной идентичности как определяющей черты национализма. Бройи убежден, что ее включение вернуло бы нас к неприемлемому примордиализму иррациональной потребности в принадлежности и атавистическому обращению к силам, вырывающимся на поверхность истории. В то же самое время, он, в конечном итоге, признает, что

национализм «извлекает основную свою силу из заключенной в нем полуправды». Он продолжает:

Люди стремятся быть членам общности, иметь твердое чувство различия между «нами» и «ними», территории как родины, принадлежности к культурно определенным и ограниченным мирам, которые наполняют их жизни смыслом. В конечном итоге, большая часть всего этого находится за пределами рационального исследования и, я полагаю, объяснительных способностей историка.

(*ibid.*: 401)

Может показаться, что это подрывает его доводы в пользу ограничения национализма формой политики. Но Джон Бройи абсолютно последователен в своих послылках: именно потому, что существуют идеи и чувства, которые историк не в состоянии объяснить, мы должны держаться тех элементов, которые объяснению поддаются. В то же самое время такое «недоработанный» взгляд относительно задач ученого должен признать собственную ограниченность; и всегда будут существовать те, у кого будет соблазн занять иную точку зрения по поводу того, что может, а что не может быть предметом рационального исследования. В частности, метод, в основе которого лежит веберовская *Verstehende Soziologie*, по-прежнему будет прибегать к исследованию субъективных мотиваций индивидов и сообществ, не обращаясь к примордиалистскому подходу.¹⁵

На самом деле, по-видимому, имеются серьезные основания для включения отсылки к культурной идентичности в определение национализма. Одна из целей национализма — достижение и сохранение культурной идентичности, то есть чувство особого культурного наследия и «индивидуальности» у данного конкретного населения. Без такой коллективной идентичности, с точки зрения националистов, невозможно существование подлинной и зрелой «нации». Разумеется, это предполагает скорее иллюстративное определение национа-

лизма, нежели условное определение, предлагаемое Бройи; но даже он *в своем первоначальном определении* понятия национализма соглашается с тем, что нация наделяется «особым и определенным характером в националистической доктрине». ¹⁶

Второй причиной для включения упоминания о культурной идентичности служит необходимость согласования между собой различных видов национализма: религиозного, расового, лингвистического и культурного. Бесспорно, встречались и «чистые» культурные националисты, которые либо отрицали государство и необходимость захвата государственной власти, либо хранили по этому поводу молчание. Бройи упорно отказывается называть такие идеологии и движения «националистическими». Но мало того, что здесь не учитывается самоописание и взгляды культурных, религиозных или лингвистических националистов, также становится очень трудно оценить действительную роль влиятельных культурных националистов, вроде Йейтса, Ахада Гаама или Ауробиндо, или движений за культурное возрождение и духовное обновление, вроде ирландского газельского или финского литературного возрождения (Branch 1985; Hutchinson 1987).

Имеется также эмпирическое возражение против ограниченного определения национализма у Бройи. Некоторые национализмы не стремились достичь полной независимости, предпочитая получение максимальной культурной и социально-экономической автономии для своего отечества в рамках более крупного федеративного суверенного государства. Шотландцам и каталонцам, например, была предоставлена значительная автономия, включая собственные юридические, образовательные и культурные учреждения, но большинство шотландцев и каталонцев до сих пор предпочитает оставаться в составе Великобритании и Испании. Ситуация, конечно, может и измениться, но не считать их проявлениями «национализма» из-за того, что их оппозиционные движения не стремились к завоеванию государственной власти, — значит упускать центральную роль стремления к наци-

ональному культурному и социальному обновлению в этих движениях, идеал, распространенный также среди многих других «национализмов».¹⁷

Наконец, если национализм — это форма политики, как справедливо напоминает нам Бройи, то он также представляет собой форму культуры и общества, что, быть может, еще более важно. Он предлагает форму культуры, основанной на «подлинном» и уникальном опыте, которая стремится возродить общества, раскрывая и высвобождая их внутренние ритмы и энергию. Это делается для того, чтобы путем повторного открытия, реконструкции и освоения общего прошлого создать основу для представления об общей судьбе. Национализм предлагает своеобразную коллективную драму спасения, связанную с религиозными моделями и традициями, но с учетом новой активной социальной и политической формы путем политического действия, мобилизации и институтов. Сведение Бройи понятия национализма к его политическим формам, хотя и делает более ясными его политические цели и роль, но упускает важнейшие аспекты национального культурного и социального возрождения, которое национализм стремится осуществить.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Схожие трудности осаждают и его объяснительную парадигму. По Джону Бройи, отчуждение, являющееся результатом раскола между современным государством и гражданским обществом, порождает национализм. В действительности, национализм — это попытка, хотя и ошибочная, политического решения этой совершенно реальной проблемы современности. Акцент Бройи на основной роли современного рационального государства служит уместной поправкой для множества социологических исследований, которые были бы готовы «свести» национализм к экономическому, социальному и психологическому уровням исследования, отводя области политики лишь тактику движений. Политический уро-

вень должен рассматриваться самостоятельно, а его пресловутая автономия восстановлена. Это позволяет должным образом рассмотреть политику элит, роль сотрудников и, в особенности, влияние политических институтов при формировании националистических целей и движений, которые столь ярко описывает Бройи в своих эмпирических исследованиях конкретных националистических движений (см. также: Brubaker 1996: chs 1–2).

Однако Бройи не придает значения роли неполитических факторов. Он допускает важность и легитимность рассмотрения «стандартных национальных культур», как, например, у Геллнера, а также влияния идеологий и интеллигенции на *отдельные* национализмы. Если объектом рассмотрения становится «национальная идентичность», то, несомненно, этим культурным и социальным психологическим факторам должно быть уделено значительно большее внимание. Для тех же, кого национализм интересовал как политическое движение, с другой стороны, именно влияние современного государства и его отношения с обществом — единственная забота национализма. Но удовлетворительно ли предложенное разделение труда? Так ли легко мы можем отделить политическое движение национализма от роста чувства национальной идентичности? Разве между ними нет тесной взаимосвязи, которая проявляется не время от времени, но постоянно? В конце концов, воспитание такого чувства национальной идентичности — главная цель националистических движений; но могут ли националистические движения возникнуть без некоего чувства национальной идентичности у элит? Если национализм создает «нации», то не создает ли он также «национальные идентичности» и не предполагает ли это наличия определенного чувства национальной идентичности у его сторонников? (Breuilly 1993: 379–380).¹⁸

Эти вопросы связаны с ролью интеллектуалов и образованной интеллигенции в националистических движениях. Как отмечает Бройи, с одной стороны, каждое политическое движение должно иметь своих интеллектуалов и лиц сво-

бодных профессий, способствующих развитию и сплочению его; с другой стороны, националистические движения различаются по уровню вовлеченности в них интеллектуалов и лиц свободных профессий. Но все же интеллектуалы и лица умственного труда, особенно учителя, важны для национализма: зачастую они ставят категорию нации на первое место и придают ей символическое значение. Именно их воображение и разум придают нации ее очертания и основное эмоциональное содержание. С помощью своих образов и символов они описывают и репрезентируют для других значение и особый характер нации. Без таких образов и репрезентаций политическое движение было бы просто анти- (или про-) государственным движением; такому особому идеалу нации не доставало бы того, кто вел бы ее в нужном направлении (см.: Argyle 1969, 1976; Anderson 1991: ch. 5; Андерсон 2001: гл. 5).

Это, в свою очередь, означает, что «идеология», которую Бройи по праву считает основной когнитивной картой в современном мире абстракций, играет особую роль в националистических движениях. Мало того, что она определяет такие движения, отделяя их от других «идеологических движений», наподобие консерватизма и социализма; она также дает им те особые символы, образы и понятия (например, «народ», «родина», подлинность, судьба и независимость), которые придают национализмам их мобилизующую привлекательность и направленность. Без них национализмы были бы лишены того свойства саморефлексивности, которое Бройи, как и Гидденс, признает основным источником их необычайной мощи. Поэтому идеология и символика национализма должны рассматриваться только постольку, поскольку они «значимы» как политические институты и политические движения. Способность национализма очерчивать и постепенно оформлять коллективную культурную идентичность чрезвычайно важна для его способности к завоеванию государственной власти, ибо он стремится к государственной власти в силу ее особых культурных ценностей.

Нигде, кроме территориальных аспектов национализма, сила символики и образов не бывает столь выраженной. Согласно Бройи, территория имеет главным образом инструментальное значение необходимой арены и формата государственной власти, а следовательно, и националистических устремлений. Но стремление иметь землю, характерное для национализма, не ограничивается ее политическими качествами: земля — это также земля «наших предков», историческая земля, а потому она столь же желанна из-за своей символической ценности, сколь и из-за своего политического значения или экономических ресурсов. Подобно Андерсону, Бройи считает современное государство силой, которая формирует привязанность к территории и идентификацию с ней при помощи переписей, карт и плебисцитов и всех атрибутов централизованной бюрократии и политического проникновения. Но опять-таки, хотя эти средства могут определить национальные границы и объединить и даже сделать однородным охватываемое ими население, для того, чтобы сделать жизнеспособной определенную территорию и сформировать у народа привязанность к ней, им необходимы символы, образы и понятия национализма, идеология и язык. Самый яркий пример этого — сионизм. Но национализмы других диаспор — греческий, армянский, черный — также питались символической силой исторической территории и способны мобилизовать свои народы, только предложив им мечту о возрождении «их» наследственных земель. Чтобы превратить какую-то территорию в родину, необходимы образы и символика национализма (Anderson 1991: ch. 10; Андерсон 2001: гл. 10; ср.: Breuilly 1993: ch. 10).¹⁹

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Это возвращает нас к основной посылке политических модернистов. Их главная идея основывается на открытом допущении того, что национализм и нации могут возникнуть и сформироваться только в эпоху Нового времени и под действием новых факторов, особенно современного суверенно-

го государства. Согласно Джону Бройи, именно отчуждение, являющееся следствием раскола между государством и обществом, подпитывает национализм, а такой разрыв может произойти лишь в условиях государственного суверенитета, централизации и капитализма Нового времени. Эта идея в конечном итоге восходит к Марксу (а до него — к Гегелю, Шиллеру и другим немецким идеалистам), согласно которому современное суверенное государство уничтожило все промежуточные ассоциации и оставило граждан как индивидов один на один с капиталистической экономикой. Бройи не единственный, кто уделяет особое внимание политическим аспектам последующего кризиса отчуждения, ощущаемого в такой ситуации многими. Тем не менее, любопытно, что, как точно замечает Эли Кедури, именно интеллектуалы и лица свободных профессий берут на себя основной удар этого отчуждения, поскольку они наиболее остро ощущают свое исключение и изоляцию от «механической инженерии» суверенного бюрократического государства. Не только в Центральной Европе, но и в европейских колониях именно образованные городские слои, дважды маргинализированные, — сначала Западом, а затем собственными традиционными обществами — не в состоянии были перемещаться по бюрократической лестнице, а их образование, таланты и достоинства отвергались непроницаемым, но всепроникающим колониальным государством (см.: Growder 1968; Kedourie 1971: Introduction).

Но даже если мы считаем переживание отчуждения интеллектуалами и лицами свободных профессий действительным отражением ситуации и свидетельством разрыва между автономным государством и цветущим гражданским обществом, почему эти переживания должны обратиться к национализму? Почему они должны найти в культурно заданной «нации» мнимый ответ на свое недовольство? Действительно ли национализм стремился преодолеть пропасть между частной (гражданское общество) и общественной (современное государство) сферой, и почему интеллектуалы и лица свободных профессий стекались под его знамена?

Существование определенных форм страстного национализма, стремившегося уничтожить разделение между государственной и негосударственной сферами, достаточно очевидно. Но ни в коей мере это не было задачей всех национализмов. Так называемые «гражданские» национализмы довольствовались молчаливым определением нации с позиций культуры, наполняя его в значительной степени гражданским содержанием и представлениями. А в моменты кризиса и опасности националистическое государство часто вторгается в негосударственную сферу даже в тех национальных государствах, где прочность гражданских идеалов не вызывала сомнений, как это имело место в странах Запада во время двух мировых войн. Но существует и повседневный, банальный национализм, знамя которого, по выражению Майкла Биллига, пока «не развернуто», но в котором прочно укоренены националистические представления. В этих случаях национализм как политическое движение может и не быть проявленным, но как идеология и язык он давно сделал свою работу: национальные чувства широко распространены, а негосударственная сфера цветет в колыбели нации (Billig 1995).²⁰

Бройи, конечно, может выталкивать такие примеры за орбиту своей политической концепции национализма, но тот факт, что ситуации опасности провоцируют одни и те же националистические реакции, как мы встречаем их в тех случаях, которые он согласился бы считать действительными примерами «национализма», и что население национальных государств с этими гражданскими национализмами оперирует подобными националистическими принципами и предположениями, затрудняет проведение разделительной линии по политическим основаниям. Все эти примеры говорят о том, что гражданским национализмам, которые примиряют и уравнивают государство и общество, а не подавляют одно в пользу другого, необходима долгая история культурных и социальных связей, зачастую основывающаяся на предположительно общих этнических узах. Даже в королевствах, наподобие Англии и Франции, где нация была созда-

на сильным государством, современное государство и его институты постепенно формировались на основе относительно единых культурных групп, существовавших, если не со времен далекой древности, то на протяжении периода, когда их государства постепенно укрепляли свои позиции. Конечно, государство само было движущей силой этого процесса объединения, вводя собственные налоги, участвуя в войнах, отправляя правосудие и т. п. Тем не менее, оно извлекло пользу из относительного культурного единства сообщества, которое поддерживало его власть и обеспечивало его элиты (A. D. Smith 1986a: ch. 6).

Поэтому даже в отношении Запада, который служит лучшим примером государственно-ориентированного модернизма Бройи, необходима важная оговорка: государство развивалось *pari passu* с нацией, потому что у основного населения, которое поддерживало государственные элиты и населяло основную историческую территорию государства, уже имелись единые мифы, воспоминания и символы сообщества. Даже если в отдаленном прошлом это население происходило из нескольких этнических источников, как это имело место в Англии и Франции, обстоятельства — в том числе и политическая деятельность — сплотили их достаточно, чтобы у них появилось чувство культурной общности, которое, в свою очередь, создало основу государственной власти и государственных институтов. Это особенно очевидно в использовании общего языка управления в эпоху позднего средневековья, но это также очевидно и в литургии и институтах католицизма, а также относительном религиозном единстве основной культурной общности до середины шестнадцатого века, когда сформировалась элита национального сообщества (Beaune 1985; Greenfeld 1992: ch. 2; Hastings 1997: chs 1–3).

За пределами Запада подобное соответствие между государственными институтами и культурой населения не встречалось нигде, за исключением Польши и Венгрии. Здесь этничность и язык стали альтернативной основой для мобилизации населения в противовес государству. Предположим,

что, как утверждает Бройи, модернизация империй, вроде реформ Иосифа II в Габсбургской империи или реформ танзимата в Османской империи, дала толчок и цель таким этническим оппозиционным движениям; однако мы не можем вывести источники и содержание последующей *этнонациональной* мобилизации из этих государственных форм и институтов. Поэтому националисты вынуждены были обратиться к народной культуре и предполагаемому общему прошлому, единственному, что могло объединить различные интересы групп и страт указанного населения и побудить их к действиям. Бройи, как и другие модернисты, признает значение такого повторного освоения прошлого, но рассматривает его в значительной степени с инструменталистских позиций, полагая, что оно отвечает текущим потребностям и интересам элиты. Вопрос, который всегда преследует подобного рода анализ, заключается в следующем: почему такое повторное освоение всегда оказывается широко распространенным и привлекательным? К этому я еще вернусь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многое заслуживает одобрения в модернистском политическом подходе к изучению наций и национализма. Во-первых, он выдвигает на передний план массы, гражданские нации. Несомненно, существует немного, если таковые вообще имеются, параллелей включения большинства индивидов, проживающих на данной территории, как активных граждан государства, обладающих равными правами и обязанностями; а идеология национализма, поскольку она мобилизует население и легитимирует его политическую роль, служит основой этой важной политической эволюции.

С гражданством связана также ограниченная территория. Нация — это пространственно ограниченная категория, нация среди наций, каждая определяется в первую очередь совокупностью четких и признанных в международном масштабе границ. Когда в эпохи, предшествовавшие современности, империи и царства зачастую отделялись друг от друга

возникавшими время от времени *кордонами*, в современную эпоху нации определяются путем вхождения их в суверенные государства, отделенные друг от друга признанными и постоянно охраняемыми *границами*, которые обозначают рамки их юрисдикции и которые символизируются — и поддерживаются — пограничниками, властями и государственными армиями.

Столь же важен акцент политических модернистов на первичной роли политических элит и политических институтов. Безусловно, бюрократы играют чрезвычайно важную роль в правительственных национализмах, а также в сохранении и возрождении наций. Их законные интересы в государстве легитимируются охраной «общенациональных интересов» от частного давления, а также бескорыстным стремлением к идеалам нации в противовес партийным фракциям. Но политические элиты также играют важную роль в оппозиционных национализмах, например, в сепаратизме или ирредентизме. Они придают организованный характер и разрабатывают тактику борьбы, а зачастую одними из первых испытывают на себе отчуждение, наступающее вследствие исключения правящей властью из органов управления. Отсюда центральная роль этого процесса бюрократического исключения в генезисе политического национализма в Азии и Африке (см.: Hodgkin 1956; Crowder 1968; Kedourie 1971).

Наконец, политические модернисты могут вполне оправданно с исторической точки зрения отмечать роль государства как центрального элемента националистических идеологий во всем мире. Многие народы считают приобретение государства жизненно важным инструментом для защиты нации и ее культуры. Изначально независимый статус нации считался важнейшей составляющей устремлений всякой нации и единственным носителем национальных культурных ценностей — в значительной степени из-за впечатляющего успеха англо-французской модели и ее первых подражателей в Германии, Италии и Соединенных Штатах.

Точно так же государство, как необходимый инструмент нации, могло добиться осуществления лишь некоторых це-

лей националистических идеологий. Оно выказало неспособность решить проблемы культурной идентичности, коллективной памяти и отечества, этнического прошлого и даже экономической автаркии и национального единства. Ограничивать сферу национализма культурными доводами в пользу независимой государственности — значит неверно оценивать широту националистической озабоченности и, следовательно, его привлекательность для многих народов во всем мире.

Если сила политического модернистского подхода заключается в акценте на политических элитах, то в нем же состоит и его слабость. Правительственный и элитарный подход «сверху» должен быть дополнен народной точкой зрения «снизу». Если националистические элиты призывают к «народу», то страты в рамках последнего могут подстраивать — и подстраивают — националистическую идеологию под себя. Определенные группы ремесленников, служащих, рабочих и крестьян поддерживают свой передаваемый из поколения в поколение набор символов, воспоминаний, мифов и традиций, совокупность установок, восприятий и чувств, изменяющую посыл националистических элит. Пренебрегать восприятием и ролью не относящихся к элитам страт — значит упускать этот основной импульс многих национализмов и источник их направленности.

Наконец, мы можем отметить, что модернистский акцент на роли территориального государства влечет за собой недооценку не менее важной роли этнических истоков наций. Это большая тема, к которой я еще вернусь. Здесь достаточно сказать, что явная озабоченность этническими истоками сформировала идеологии многих западных национализмов; этнические мотивы служат неотъемлемой составляющей историцизма националистических идеологий, а в истории англо-французского национального государства модель этнической нации была столь же действенной, сколь и успешной. Здесь сила политического модернизма составляет также его слабость. Его исключительная озабоченность политической современностью наций и национализма не по-

звоняет ему принять во внимание влияние этнических мотивов происхождения и воздействие культурной истории на притягательность и успех наций и национализма. В результате исследование национализма становится урезанным и лишенным своей основной сути.

В одном сходятся практически все ученые. Как идеология и движение национализм современен. Он датируется концом восемнадцатого или самым началом девятнадцатого века и возник в Западной и Центральной Европе, а также в Соединенных Штатах. Следовательно, он представляет собой продукт недовольства современностью. Так же, как мировые религии стали значительно более ранним ответом на трудности человечества в аграрных обществах с их стихийными бедствиями и социальными катаклизмами, нация и национализм олицетворяют основной ответ на кризис идентичности многих людей, столкнувшихся с атакой современности на традиции их предков. Национализм — это естественный ответ людей, чей общественный мир с его устойчивыми группировками рухнул; тоскуя о принадлежности к надежному сообществу, они обращаются к трансисторической нации как единственной доступной замене расширенной семьи, соседской и религиозной общины, разрушенных капитализмом и вестернизацией.

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ»

Именно на этом главным образом основывалась аргументация, развивавшаяся теоретиками «политической религии» в 1960-х годах. Они считали национализм в новых государствах Азии и Африки религией модернизации, политической версией традиционной религии. Для существования современных государств, утверждали они, был необходим целый ряд условий: согласование интересов, установление сильной центральной власти, развитие экономической рациональности, потребность в гибких институтах, чтобы справиться с переменами. Но в новых государствах потребности социальной интеграции и экономического развития приобретали

особую важность ввиду их этнической разнородности и нехватки ресурсов. Чтобы добиться социальной интеграции и развития, элитам необходимо было мобилизовать массы и побудить их отсрочить вознаграждение и согласиться на немалые жертвы. Недавно получившим избирательные права гражданам необходимо было внушить добродетели патриотизма, долга, усердного труда, бережливости и самопожертвования. Национализм как страстная и пуританская идеология массового самопожертвования прекрасно отвечал целям элит новых государств, поскольку в условиях национального освобождения от колониального правления он ставил знак равенства между новой единой нацией и недавно получившим независимость государством и побуждал граждан трудиться на благо всей нации. Таким образом, государство и его однопартийный или военный режим стали воплощать единство нации, которая наделялась чертами истинной церкви. Она стала чистым, безгрешным и цельным сообществом, которому граждане должны поклоняться так же, как прежде общины верующих поклонялись богу. Иными словами, национализм поставил нацию на место бога, сообщество граждан на место церкви, а политическое царство на место царства божьего, но во всех остальных отношениях копировал формы и черты традиционных религий.¹

В этой дюркгеймовской модели национализм становится формой рефлексивного коллективного самопоклонения, «политической религией» не только в том смысле, в котором религия, вроде ислама, характеризуется как политическая, то есть как образ жизни, в котором нет различия между политикой и религией, а как политическая замена религии. Национализм здесь действительно представляет собой современную, светскую идеологию, которая играет роль «гражданской религии», выполняя по отношению к индивидам и группам те же функции, что и традиционная религия, хотя и происходит из светских, нетрадиционных источников. Сам Дюркгейм подытожил данный подход, когда, высказываясь по поводу идеологических событий Французской революции, он отметил, что

в это время под влиянием всеобщего энтузиазма исключительно светские по своей природе вещи были обращены общественным мнением в священные: Родина, Свобода, Разум. Обозначилась тенденция к созданию религии со своим догматом, своей символикой, алтарями и празднествами.

(Durkheim 1915: 214; Дюркгейм 1996: 440–441)

По Дюркгейму, конечно, это «религиозное» качество, которое выводится из этимологии термина, универсально и прочно; его всегда в различных формах можно встретить во всех обществах, даже в современных, кажущихся совершенно светскими индустриальных обществах. Традиционное поклонение Богу или богам может быть вытеснено; но более глубокие корни религии, потребность культов различать сакральное и мирское, потребность в выражении зависимости людей от сильного общества никуда не исчезнут.²

Но не такова точка зрения теоретиков «политической религии». Они — сторонники идеологической версии модернизма. По Дэвиду Аптеру, Люсиану Паю, Леонарду Биндеру и Манфреду Халперну, такие возвраты к «политической религии» характерны для болезненного перехода к современности. Чтобы выковать современные нации, элиты в новых государствах прибегают к тому, что Аптер назвал «мобилизационными системами», и изобретают символическую мифологию и гражданскую религию, чтобы убедить массы пойти на необходимые жертвы. Как только достигнут определенный уровень развития, а порог современности преодолен, потребность в политической религии национализма или политической мобилизационной системе, созданной на его основе, пропадает (Pye 1962; Apter 1963b; Halpern 1963; Binder 1964; ср.: Lerner 1958; Smelser 1962; Eisenstadt 1965).

МАРГИНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Такова отправная точка исследования Эли Кедури, посвященного распространению национализма в колониальных

обществах, изложенная в объемном введении ко второй его книге, антологии сочинений националистов под названием «Национализм в Азии и Африке». Она представляет собой продолжение его ранней влиятельной работы под названием «Национализм». В той книге Кедури утверждал, что национализм был доктриной, изобретенной в Европе в начале девятнадцатого века, и что он проистекал из философской традиции Просвещения, особенно из учения Канта о том, что доброй волей может быть только автономная воля. Заслугой Фихте и других немецких романтиков, вроде Шлегеля, Мюллера, Шлейермахера, Арндта и Яна, было такое сочетание индивидуалистического учения Канта с культурным популизмом Гердера, что автономия теперь основывалась на чистых языковых общностях, в которые должны были входить индивиды, чтобы осуществить свою подлинную свободу. Для осуществления своей автономии языковая нация должна определить свои границы и принять свою судьбу; самость индивида могла быть осуществлена лишь в борьбе за самоопределение его нации (Kedourie 1960: chs 4–5).

Затем Кедури в общих чертах привел краткое социальное объяснение того, почему эта романтическая версия национализма (которая, по его признанию, была единственной версией доктрины) возникла именно в Германии. Помимо влияния Канта и примера и легенды Французской революции с ее новым стилем массовой политики, политическая и социальная ситуация в немецкоязычных землях, разделенных на множество княжеств, различавшихся по размерам и важности, не позволяла зарождавшемуся классу немецких интеллектуалов оказывать какое-либо влияние на существующее положение дел. Исклученные и отчужденные от политики, эти интеллектуалы пришли в состояние брожения под влиянием рационализма Просвещения и стали искать в романтических фантазиях решения беспокоивших их проблем. Они горячо поддерживали националистический синтез в духе Фихте, особенно после того, как в 1806 году Пруссия потерпела поражение от Наполеона; но они были всего лишь первой волной европейского национализма из множества

последующих, возглавлявшихся отчужденными молодыми интеллектуалами, для которых традиции их отцов утратили всякое значение. Молодая Италия, Молодая Польша, Молодая Венгрия и тому подобные крестовые походы детей против старого порядка свидетельствовали о европейском *Zeitgeist* революционного мессианства, которое могло вылиться лишь в террористический нигилизм и этническую ненависть, особенно в этнически смешанных областях, вроде Балкан (*ibid.*: ch. 6).

Во введении ко второй своей книге о национализме Кедурри распространил свой анализ на колонии Азии и Африки, ставшие жертвами светских европейских обычаев и идеологий. Колонии, утверждал он, создавались не для экспорта капитала в век финансового капитала, как полагали Гобсон, Гильфердинг и Ленин; их экономическая отдача была незначительной по сравнению с их стратегическими и психологическими выгодами. Они были не только территориями, где для иммигрантов сложилась благоприятная экономическая обстановка, они также играли роль имперских аванпостов по отношению к европейским конкурентам в то время, когда земель самой Европы стало не хватать для территориальной экспансии. Эти стратегические соображения поддерживались империалистической жаждой «славы» в период колониальной политической аннексии девятнадцатого века, которая для Дизраэли и его поколения и была первоначальным политическим содержанием терминов «империализм» и «колониализм» (Kedourie 1971: 4, 8, 10–14).

Итак, у национализма множество непредвиденных последствий. Прежде всего, колониальная администрация склонна была распылять традиционное общество и организовывать колонию с помощью своих бюрократических мероприятий. Это означало, что традиционные ремесленники и сельское производство терпели убытки; они не в состоянии были конкурировать с экспортом ланкаширских предприятий или финансовыми спекуляциями Сити. Поэтому рухнула экономическая основа жизни деревни, составлявшей значительную часть населения. Кроме того, колониальные власти спо-

способствовали развитию грамотности и светского образования по западному образцу. Всеобщая грамотность подорвала традиционный авторитет религии и привычный образ жизни и, наряду с западным изучением этнических традиций и культур колоний, создала основу для появления альтернативных концепций и новых лидеров в азиатских и африканских колониях. Из этого столкновения культур и путаницы в душах возник новый класс «маргиналов», которые исповедовали западные идеалы независимости и опоры на собственные силы, обладали чертами и недовольством людей,

настроенных против своего традиционного общества, ядра и авангарда радикальной и бескомпромиссной оппозиции и тарана, разбивающего устаревшие и обскурантистские институты.

(Kedourie 1971: 27)

Среди многих идей, распространившихся в азиатских и африканских колониях, наиболее привлекательным для маргиналов был национализм, доктрина, которая

утверждает, что человечество естественным образом разделено на нации, что нациям присущи определенные черты, которые можно установить, и что единственный легитимный тип правления — национальное самоуправление.

(*ibid.*: 28)

Как доктрина национализм совершенно чужд политическим традициям Азии и Африки с их великими империями и племенными королевствами соответственно; он представляет собой продукт истории Европы с ее неизменной склонностью «требовать единообразной веры у жителей государства и насаждать ее» (*ibid.*: 31). От Феодосия в 379 году нашей эры через крестовые походы и религиозные войны вплоть до «гражданской религии» Руссо стремление к религиозной и культурной однородности в государстве вновь и вновь появ-

лялось в Европе. Эта тенденция усилилась — и получила свое конкретное современное наполнение — двумя дополнительными, если не совсем недавними, особенностями европейской мысли и практики: превозношением культурного и особенно языкового группового разнообразия немецкими романтиками и глубокой европейской озабоченностью историей и эволюционным развитием как основой личной и коллективной идентичности, которая широко распространилась в эпоху Просвещения и романтизма (*ibid.*: 34–36).³

КУЛЬТ «ТЕМНЫХ БОГОВ»

Какое воздействие оказали эти новые европейские идеи на азиатские и африканские общества? Кедури берет за образец раннее проявление греческого национализма на примере Адамантиоса Кораиса (1748–1833), греческого просветителя и уроженца греческой православной общины Смирны. Кораис освоил западные идеи и языки под руководством голландского священника и несколько лет в 1770-х годах прожил в Голландии; после недолгого возвращения на родину оставшуюся часть жизни он провел во Франции. Здесь под влиянием растущего радикализма Французской революции Кораис пришел к новому объяснению положения его родной Греции с западной точки зрения, посетовав на ее упадок и высказав (в лекции 1803 года) «привычное обращение к великолепному прошлому, убежденность в еще более славном будущем и уверенность в необходимости низвержения настоящего и существующих учреждений». В заключение Кораис подчеркнул, что современные греки — это потомки древних греков и должны быть достойны их; лишь с учетом этого возрождение Греции стало бы возможным (*ibid.*: 42–43).

По Эли Кедури, любовь к древнему прошлому способствует ненависти к настоящему. Цитируя высказывание Йейтса о том, что «в нас больше вражды, чем любви», Кедури подчеркивает европейские просвещенческие истоки враждебного отношения незападных интеллектуалов ко всем существующим традиционным институтам, особенно к религиозной

ортодоксии, на Балканах и в Азии. Та же европейская метаморфоза мнений и допущений овладела Османской империей, которая из «творения дома Османов, созданного победоносным делом ислама» превратилась в «достижение турецкого или вообще туранского гения», причем «турок» и «туранец» представляли собой европейский филологические и исторические изобретения девятнадцатого века. В действительности, название «Турция» было дано земле турков кемалистским режимом в 1920-х годах; у этой идеи не было никакого названия в турецком языке. Согласно выдающемуся турецкому теоретику национализма Зийе Гокалпу, на самом деле,

страна турков — это не Турция и даже не Туркестан. Их страна — это обширная и вечная земля — Туран,

термин, который мог бы охватить шумеров и хеттов, не говоря уже об Аттиле, Чингисхане и Тамерлане, как «проявления многоликого туранского гения». Позднее, однако, турки перестали быть «туранцами»: согласно Текину Альпу, в соответствии с новым увлечением расовой и фашистской доктринами в 1930-х годах они стали красивыми и высокорослыми представителями арийской расы (*ibid.*: 48–52).

В Иране, Пакистане, Индии и Африке Кедури встречается те же процессы европеизации мышления и ту же переоценку ценностей. В прошлом Будда, Конфуций, Мухаммед и Исайя были наставниками и пророками, учения которых

раскрывали людям их путь, неизменный и постоянный уклад жизни, который придавал осмысленность и логичность миру, жизни, уверенности в себе, самодостаточной традиции; они не были символами и доказательствами национального величия.

(*ibid.*: 64–65)

Ныне их роль исключительно инструментальна: служить примером и предвестником «национального» гения; так,

арабский национализм «превратил Мухаммеда из пророка и законодателя в простого предшественника арабизма». Чтобы превратить «кучу песка» — все, что осталось от традиционного общества, разрушенного Европой, — в нечто «цельное и мощное», необходимо пробудить чувство национальной идентичности, обратиться к этническому прошлому и «возродить» традиционную мораль как связующую силу национальной солидарности. Действительно, склонность национализма к ассимиляции традиционной религии свидетельствует о том, что это не просто познавательная доктрина; это также «метод духовной мобилизации, извлечения, активизации и направления скрытых политических энергий в нужное русло» (*ibid.*: 70).⁴

Хорошими примерами такой политической активности служат инструментальное использование Тилаком индуистского возрождения в маратхийских праздниках, вроде поклонение богу-слону Ганеше или дня рождения Шивы, или его политическое переистолкование стоического духовного учения Кришны в «Бхагавадгите». По Бипину Чандра Палу, народный индуизм, будучи отчасти духовным, а отчасти социальным, мог легко и просто составить основу гражданской религии Индии путем политизации того, что первоначально было чисто религиозными идеями. Таким образом, поклонение темной богине Кали с гирляндой человеческих голов, истекающих кровью, на шее, перед которой новые члены террористических обществ произносили свои клятвы, могло начать служить националистическим политическим целям путем простой замены производившегося каждое новолуние жертвоприношения 108 черных козлов на белых, то есть 108 белых людей (*ibid.*: 70—76; ср.: Adenwalla 1961; Karferer 1988: ch. 3).

Если это было следствием первого проявления политической активности в индийском, а на самом деле во всех неевропейских обществах, как случилось, что такой стиль политики и такая доктрина стали доминирующей формой политики за пределами Европы? Кедури утверждает, что, хотя и имели место известные примеры движения сопротивления

европейским вторжениям в середине девятнадцатого века, вроде восстания сипаев, новая модель европейского правления оказалась привлекательной для новых образованных классов, признавших превосходство европейской цивилизации. Они действительно горячо хотели перестроить свои общества по образцу Европы. К сожалению, вскоре они обнаружили, что, несмотря на свое западное образование и западные манеры, их не принимали на равных с европейскими коллегами. Это особенно справедливо в отношении доступа к европейским имперским учреждениям. Здесь Кедури приводит пример европейского раздражения и выхолащивания Билля Ильберта 1883 года, в котором предлагалось предоставить индийским чиновникам такие же права на работу в Индии, как и у их британских коллег, и последующее возмущение индийцев. Также имел место показательный случай Сурендраната Банерджи (1848–1926), который был уволен с британской государственной службы за мелкое нарушение, ездил в Лондон для справедливого разбирательства, но получил отказ в восстановлении на работу и впоследствии начал националистическую лекционную кампанию, будучи уверенным, что «личная несправедливость по отношению ко мне была иллюстрацией слабости нашего народа» (*ibid.*: 84–85).

Схожее пренебрежение, разочарование и непринятие более высокими инстанциями государственной службы переживали получившие западное образование арабы, вроде Эдварда Атья и Джорджа Антониуса, и они опять-таки обнаружили глубокую пропасть между имперскими претензиями на беспристрастность и справедливость и имперскими методами расовой дискриминации. Но такие нетерпимые отказы пробудили более глубокий вопрос об идентичности, о том, «кто я такой?», в возмущенных и израненных душах маргиналов. Их ответом было резкое коллективное самоутверждение, неведомое их предкам, и, вследствие отвращения к Европе и ее кровавым междоусобным войнам, обращение к «темным богам» этнической традиции (*ibid.*: 86–89; 91–92).

МИЛЛЕНАРИСТСКИЙ ОПИУМ

Было ли это отвращением? Возможно, говорит Кедури, обращение к темным богам и их ритуалам в действительности было имитацией и адаптацией европейских идей, не только идеи о том, что у каждой нации должно быть прошлое, желательно героическое и славное, прежде неизвестное, но теперь обнаружившееся под воздействием европейской традиции прогресса, в соответствии с которой нация должна иметь большое и великолепное будущее.

Теперь идею о том, что история, по словам немецкого просветителя Лессинга, — это «путь, которым человеческий движется к своему совершенству» и что «обязательно придет время нового вечного Евангелия, обещанного нам в книгах Нового завета» (Лессинг 1995: 497), можно проследить, как было известно и самому Лессингу, до тринадцатого и четырнадцатого веков в Европе. Понятие «вечное Евангелие» фигурировало в названии работы, выпущенной в Париже в 1254 году Герардино да Борго Сан-Доннино, которого в свою очередь вдохновили сочинения калабрийского аббата Иоахима Флорского (ок. 1130—1202). Иоахим размышлял о неизбежном наступлении тысячелетнего царства Христа, опираясь на апокалиптические тексты откровения Иоанна Богослова, например:

Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.

(*ibid.*: 94—95, цитируется Откр. 20: 6)

Иоахим полагал, что эра закона (Отец) сменилась эрой благодати (Сын) и что теперь она уступит эре любви (Святой Дух), «новым небесам и новой земле» из пророчеств Иоанна Богослова. Несмотря на неоднократное осуждение со стороны церковных властей (а также раввинов и улемов), такие антиномичные, миллениаристские ереси периодически появ-

лялись, неся с собой опустошение и разрушение, как в страшном восстании 1534 года анабаптистов Мюнстера или — за пределами Европы — в восстании тайпинов 1850—1861 годов на юге Китая.

Во всех этих случаях политическая окраска миллениаризма очевидна:

Надежда на тысячелетнее царства Христова — это начало и установление совершенно нового порядка, где правит любовь, а все люди — братья, где все различия и разногласия, весь эгоизм и своекорыстие больше не существуют. Но общество, в котором стерто различие между публичным и частным, в котором звания, чины, классы, объединения растворяются в одной большой семье, общество, в котором сочленения и сложности исчезают, — такое общество становится беспомощным в руках тех, кто пророчит благую весть грядущего спасения.

(*ibid.*: 97)

Отсюда революционные цели и стиль политики миллениаристского национализма:

Все они [миллениаризмы] несут благую весть любви и братства, а потому они должны разрушить все социальные и политические институты; они должны, как выразился Цзен Куофан, «низложить суверенов и разжаловать чиновников».

(*ibid.*: 102)

Со времен Французской революции миллениаризм вновь появился, правда, уже в светском облике, как идеал прогресса и стремления к абсолютной свободе, которые, как отметил Гегель, идут рука об руку с террором. Идея прогресса — это «секуляризованная и респектабельная версия средневекового тысячелетнего царства». Ее постыдный политический стиль, санкюлотство, стал на службу светской политике нео-

существимого, неистовому мелиоризму, в котором, как провозглашал Робеспьер, террор есть проявление добродетели.

Национализм, каким он предстает и распространяется в Европе, — это одна из многих форм этой мечты об очищенном обществе, в котором все становится новым... Что придает динамизм доктрине, что превращает ее в главную движущую силу человеческой деятельности, так это, безусловно, надежда на тысячелетнее царство Христово, что люди каким-то образом смогут положить конец всем притеснениям и несправедливости.

(*ibid.*: 103—105)

Ссылаясь на «Катехизис революционера» (1869) анархиста Бакунина, написанный под влиянием террориста Нечаева, чтобы показать революционный политический стиль стремления к абсолютной свободе, Кедури утверждает, что культ темных богов у образованных неевропейцев представляет собой заимствование и адаптацию отдельных революционных и террористических черт европейской традиции. Прославление Кали, богини разрушения, соответствует бакунинскому сплочению «этого лихого разбойничьего мира в непобедимую, всесокрушающую силу» и робеспьеровскому союзу добродетели и террора. Это приводит Эли Кедури к выводу о том, что:

В двух словах мы можем сказать, что главная движущая сила национализма в Азии и Африке — это тот же самый светский милленаризм, который возник и развился в Европе и в котором общество подчинено воле горстки провидцев, стремящихся уничтожить все преграды между публичным и частным, чтобы достичь того, о чем они мечтают.

(*ibid.*: 106)

Далее Кедури иллюстрирует свой тезис относительно политики неосуществимого, обращаясь к тому, что поэт Рембо

назвал «систематическим *расстройством* чувств», приводя примеры из Индии, Ганы, Кении, Конго и Южной Африки.

Мау Мау, эфиопианизм, культ черных мессий и популярность миллениаристских разновидностей христианства точно так же свидетельствуют о брожении и дезориентации, которые возникают вследствие контактов с Европой и которые подобные практики и верования обещают успокоить и ослабить.

(*ibid.*: 127)

Из этой дезориентации и религиозного рвения, вызываемого ею, националистическое движение может создать грозное оружие, если только оно будет направлено и сконцентрировано на нескольких лозунгах и символах. Благодаря этим символам, национальный лидер часто становится намного сильнее, как обнаружили Кениатта, Нкрума и Неру. Ибо эмоциональная связь между лидерами и ведомыми ими массами, которая удовлетворяет волю лидера к власти, приводит к «печальному заблуждению», а именно к тому, что

нет никакой разницы между ними и теми, кем они правят, что их интересы, их заботы и их цели совершенно тождественны.

(*ibid.*: 131)

Так создается политическая связь «частного, любовного отношения, в котором государство объединяется любовью»; действительно, согласно Мишелю Афлаку, идеологу сирийской партии БААС, национализм — это любовь. Но правительство, напоминает нам Кедури, осуществляет власть, а правители должны сохранять дистанцию по отношению к тем, кем они правят; они не должны «разделять чувства народа», ибо они не плоть от его плоти. Их деспотизм руководствуется любящей беспощадностью, которая стремится вернуть своим соотечественникам их истинное «я», если надо — путем террора и смерти. Отсюда прославление тер-

рора Фанон¹⁰ и придание борьбе пролетариата национальной окраски Султан-Галиевым, для которых классовая борьба становится конфликтом между белой и цветными расами.⁵

В конечном счете, все это вариации главной темы добродетельности бедных, вины Европы и невинности Азии и Африки, спасения через насилие и грядущего царства всеобщей любви. «Теория» действительно стала опиумом для масс. Но Маркс ошибался — опиум не просто усыплял.

Как мог бы сказать ему Старец Горы, «теория» которого была столь сильной, что легенда превратила ее в гашиш, наркотик также может толкать своих приверженцев к безумию разрушения.

(*ibid.*: 147)

КОЛОНИАЛИЗМ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

Мысль о том, что национализм — это продукт «маргиналов» или лишенных корней интеллектуалов, зажатых между традицией и вестернизацией, не нова. Ее можно встретить в ранней статье Тревоора-Роупера, а также в работах Томаса Ходжкина, и она многим обязана данному Гансом Коном описанию органического «восточного» национализма, возглавляемого крошечными кружками интеллектуалов, а не буржуазией. Но у Эли Кедури этот тезис наполняется новым чувством и более глубоким смыслом. Кедури делает три утверждения: во-первых, что несоответствие между имперскими идеалами и колониальными практиками неизбежно вызывает у интеллектуалов недовольство из-за потраченных впустую сил; во-вторых, что последующий кризис идентичности можно облегчить лишь (ложной из-за ее неосуществимости) миллениаристской доктриной коллективного политического прогресса; и, в-третьих, что насилие, которое мы так часто связываем с национализмом, — это продукт «переоценки ценностей» и обращается он к чувствам масс через политизацию этнической религии. Его проницательное исследование и богатое иллюстрирование этих доводов

придает анализу Кедури исключительное значение и новизну и делает его наиболее сильной работой идеологического модернизма (Kohn 1967a: ch. 7; Trevor-Roper 1962; Hodgkin 1956, 1964).

Два соображения составляют основу аргументации Кедури. Первое заключается в том, что его теоретические утверждения ограничены. В отличие от Геллнера, Нейрна или Хечтера, Кедури отвергает мысль о том, что он стремится предложить какую-то теорию; на самом деле он утверждает, что подобное теоретическое осмысление невозможно и нежелательно. Специфика истории и многообразие человеческих реакций делают всякую всеобъемлющую теорию бессмысленной и вводящей в заблуждение. Мы можем надеяться только на понимание конкретной доктрины или движения в их контексте как выражения особого *Zeitgeist*, историки могут интересоваться лишь тем, как возникают и развиваются определенные идеи и практики в конкретной социальной и культурной среде. Среда, в которую Кедури помещает рождение национализма, — это, во-первых, Центральная Европа начала девятнадцатого века, подвергавшаяся революционным социальным и политическим сдвигам, и, во-вторых, Азия и Африка конца девятнадцатого и двадцатого веков, радикально преобразованная европейским колониализмом. Общим для них является растворяющее действие культурной вестернизации и социальной модернизации, которое приводит к разрушению традиционных сообществ и ломке вековой передачи политических традиций и идей (см.: S. Kedourie 1998).

Второе соображение оценочное. Кедури крайне враждебно относится ко всем проявлениям национализма, поскольку он считает доктрину не только интеллектуально непоследовательной и ошибочной, но и нравственно вредной и губительной для любого политического порядка. По Кедури, национализм — это особенно опасная из-за своей саморазрушительности разновидность более широкого западного идеала прогресса; его насилие проистекает из упорных попыток осуществления недостижимых идеалов в несовер-

шенном мире. Хуже всего, что националисты повинны в грехе гордыни. Исходя из посылок своих интеллектуальных предтеч, картезианских рационалистических философов от Декарта до Канта, они дополняют свою самоуверенную заносчивость безжалостной дерзостью, стремясь к моральному совершенству в несовершенном мире. Эти беспощадные и ведущие к самообману боги неизбежно причиняют вред себе и своим народам и рушат все надежды на мир и стабильный международный порядок (см. также: Dunn 1978: ch. 3; Viroli 1995).

Несмотря на эти заявления, Кедури удастся предложить общую систему для понимания национализма, которой в некоторых местах даже удастся проявить определенную симпатию к тем, кто выбирает национализм. Такая всеобъемлющая система заключается в распространении идей под влиянием дискриминационного колониализма. Кедури рассматривает национализм как болезнь, передающуюся через путешествия и чтение источников на Западе; тем не менее, он признает, что интеллектуалы могут быть чересчур легко подвержены данной болезни вследствие незавидного положения, в котором они оказываются. При помощи множества ярких примеров Кедури иллюстрирует их сложное положение: их пылкую приверженность к несомненно более развитой цивилизации с ее идеалами объективного поведения и беспристрастного правосудия; их последующее горькое разочарование, когда они оказываются исключенными и в метрополии, и дома; и склонность усматривать в неприятии их самих бессилие своего народа, которое становится правдоподобным из-за расовой дискриминации в имперской бюрократии; их последующую неуверенность в себе и кризис идентичности; и их поиск политического решения своего отчуждения. Эта тенденция исключения достойных неевропейцев, получивших западное образование, из высших слоев колониальной бюрократии хорошо описана, поскольку она сопровождалась неуверенностью в себе и амбивалентностью интеллектуалов; на самом деле, те же интеллектуалы и профессионалы могут переживать то же разочарование и на За-

паде, например, в Квебеке, где они находятся на передовой квебекского национализма (Pinard and Hamilton 1984; ср.: Wallerstein 1965; Crowder 1968; Gouldner 1979; A. D. Smith 1981a: ch. 6).

Но на самом ли деле эта диффузионистская система полезна при объяснении возникновения национализма в Азии и Африке? Сам по себе диффузионизм всегда был неадекватным в теоретическом отношении; он не в состоянии объяснить *рецепцию* идей, которые передаются из одного центра в другой. Мы можем согласиться с западным происхождением националистических идей, но разве этого достаточно для того, чтобы объяснить появление, не говоря уже о содержании, национализма в данной колонии или государстве за пределами Европы? Можем ли мы вывести возникновение арабского или индийского националистического движения из политического отстаивания своих прав несколькими интеллектуалами, недовольство которых нашло политический выход в идее арабской или индийской нации? Предположив, что интеллектуалы нужны таким движениям, по крайней мере, на начальном этапе, являются ли последние простыми продуктами их амбивалентности и недовольства, а их националистическая мысль всегда простой производной? (см.: Chatterjee 1986)

На общей картине, которую рисует Кедури, традиционные общества рассеиваются и организуются колониальной современностью, делая интеллектуалов единственной социальной группой, способной ответить на нападение. С другой стороны, Кедури признает устойчивость традиционных элементов, когда он исследует то, как эти интеллектуалы пытаются манипулировать атактистическими эмоциями масс и использовать или возрождать их традиционные практики. На самом деле, как нам известно, влияние колониализма было весьма различным. С одной стороны, оно во многом зависело от характера и политики колониальной администрации. Там, где французы, например, были склонны к ассимиляции африканской или индокитайской элиты, превращая остальное население в необразованных граждан второго сорта, британ-

ские колониальные власти предпочитали политику «непрямого правления», действуя совместно с традиционными, но зависимыми местными властями и через них. Мы также должны принять во внимание различную степень присутствия миссионеров и воздействие миссионерского образования при искоренении местных верований и обычаев. Таковы лишь некоторые причины того, почему многие традиционные элементы: образ жизни, обычаи, символы, мифы, — в различной степени сохранились в Азии и Африке даже после десятилетий колониального правления (Crowder 1968; Markovitz 1977; ср.: Horowitz 1985).

Важно, что колониальное правление стало для доколониальных культур и социальных структур суровым испытанием, в результате которого возникли националистические движения. Иными словами, возникновение и развитие национализма, скажем, в Нигерии, Кении и Индии должно локализоваться не просто в распространении западных идей заговорщических ячейками неугомонных местных интеллектуалов, вернувшихся с Запада с пустыми руками, но в интересах, чувствах и стремлениях различных социальных и культурных групп колониальной Индии, Кении и Нигерии. Эти социальные и культурные группы частично сформировались в результате деятельности колониальных чиновников, торговцев и миссионеров, но источником их формирования также служили доколониальные этнические сообщества и государства и традиционные социальные слои, вроде вождей и торговцев, племенных каст и брахманов, которые начинали по-новому жить в колониальных условиях. Нам не удастся понять особый характер индийского, кенийского или нигерийского национализма, если не принять во внимание культуру и традиции этих сообществ и страт. Кедури косвенно допускает это, но считает этот процесс односторонним, манипуляцией мессианских элит инертными массами, тогда как на самом деле культурное богатство и этническое мировоззрение крестьян и торговцев, соплеменников и низших каст также способствовали формированию особых версий национализма, зародившегося в этих колониях.⁶

Неудача в попытке серьезного рассмотрения социальных и культурных условий, в которых национализм возникает в Африке и Азии, проистекает не только из диффузионизма Кедури, но и из его психологизма. В действительности, его переоценка силы идей тесно связана с его верой в универсальную потребность людей в принадлежности к устойчивому сообществу. Из этого следует, что если такие сообщества разрушаются, люди сразу же должны искать альтернативные источники коллективной стабильности. В этот момент нация возникает как некий *deus ex machina*, чтобы заполнить разрыв и успокоить боль их дезориентации. Новая идея рождает новый тип сообщества в тот самый момент, когда старые идеи религии и традиционных общинных форм подорваны.

Но это предполагает, во-первых, что люди должны принадлежать к устойчивым сообществам, и, во-вторых, что нация — это действительно совершенно новый вид сообщества и никак не связана с традиционными сообществами. Теперь многие люди предпочитают жить своей жизнью в устойчивых сообществах, хотя, учитывая многообразие таких групп в современном мире, их коллективные идентичности, по-видимому, будут множественными и взаимопересекающимися. Но из этого не следует делать вывод о том, что все люди всегда предпочитают стабильность изменению, а традицию — способности присоединяться или даже создавать собственные сообщества по своему предпочтению. Это настолько же широкое обобщение, открытое для критики, как и националистическая идея о том, что люди хотят освободиться от угнетения, которую Кедури справедливо опровергает. Опять-таки, крайне важен контекст. В одних обстоятельствах люди могут хотеть избавиться от стабильных, но подавляющих сообществ, а в других — вернуть некоторую общинную стабильность даже за счет сокращения своей свободы выбора. Следуя консервативной традиции лорда Актона и Майкла Оукшота, Кедури усваивает весьма односторонний психологизм, который не берет в расчет социальные и культурные условия, определяющие разнообразие общественных реакций на

быстрые изменения в современном мире, и не позволяет ему увидеть, что в современном мире многие люди экспериментируют с различными формами социальных и культурных сообществ (см.: Melucci 1989).

Во-вторых, даже если «национализм вообще» служит современной идеологией, из этого не следует, что нации представляют собой совершенно новые виды сообщества. В действительности, как мы увидим, такая точка зрения нуждается в серьезном уточнении. Достаточно показать отсутствие веских доводов или доказательств в пользу тезиса Кедури о связи между «потребностью в принадлежности» и возникновением нации. Предположим, что такая универсальная потребность существует. Почему она должна связываться с «нацией»? Почему не с «классом», «городом», «регионом» или вообще «континентом»? Почему не просто с «государством»? Приняв во внимание эти альтернативы, едва ли наш выбор нации можно оправдать напряженной умственной работой нескольких немецких интеллектуалов и их последователей. Иными словами, идеалистическая и психологистская методология Кедури не позволяет ему объяснить, почему именно *нация* победила всех этих соперников и почему *национализм* стал господствующей идеологией и культурой нашего времени.

Эта неудача связана с уникальным сочетанием радикального социально-исторического модернизма с оценочным антимодернизмом у Эли Кедури. Нация, как и национализм, рассматривается как новый тип сообщества, конструкция разочарованных интеллектуалов, не имеющая предшественников или основы в досовременных эпохах. Это грубая западная проекция на наивные культуры и общества. Вынужденные отведать от этого древа познания и покинуть свой доколониальный Эдем, африканцы и азиаты стали жертвой приманки современного опиума недостижимого совершенства, еще более отдалившего их от образа жизни, подходившего им наилучшим образом, и стала препятствием для их возврата к теплоте и близости семьи и традиции.

МИЛЛЕНАРИЗМ И ПРОГРЕСС

Кедури возводит этот современный опиум мессианского светского национализма к особому источнику, средневековым христианским и европейским милленаристским ересям. Аргументация развивается двояко: по аналогии и по происхождению. Кедури сначала пытается проследить исторический путь, которым эта средневековая ересь стала в конце восемнадцатого века основой светского национализма. Этот путь неизбежно туманен, поскольку еретиков подавляли и часто не оставалось никаких источников. Но Кедури удается реконструировать некоторые отрезки этого пути. Рассмотрение последнего этапа дается в отдельных параграфах «Воспитания человеческого рода» (1780) Лессинга, которые в пророческих порывах провозглашают наступление «этого времени совершенства» и возводят истоки этого «вечного Евангелия» совершенства к «некоторым мечтателям XIII—XIV вв.» (Лессинг 1995: 498). Конечно, как с готовностью соглашается Кедури, это было всего лишь более лирическое и пылкое выражение просвещенного мелиоризма Просвещения, в подтверждение чего Кедури приводит ортодоксальный пример из английского теологического сочинения 1773 года, написанного Уильямом Уэртингтоном, который также предсказывал грядущее наступление «райской невинности и совершенства» (Kedourie 1971: 94–97).

Теперь мы легко можем признать определенное влияние на мелиоризм восемнадцатого века ранних проявлений религиозного мессианства. Но гораздо труднее проследить преемственность между средневековым апокалиптическим милленаризмом Иоахима Флорского конца двенадцатого века и Герардино да Борго Сан-Доннино тринадцатого века и излияниями Лессинга и риторикой Мадзини в восемнадцатом и девятнадцатом веках. В разделяющем их длительном промежутке Кедури ссылается лишь на драму анабаптистов, восставших в Мюнстере под руководством Яна Маттиса и Иоганна Лейденского. Можем ли мы обоснованно возводить происхождение немецкого или любого другого национализ-

ма к апокалиптическим видениям францисканцев, «братьев свободного духа» и анабаптистов Мюнстера тринадцатого — шестнадцатого веков? Для подтверждения тезиса Кедури о происхождении, нам необходимо показать, что каждому случаю национализма, по крайней мере в Европе, предшествовало милленаристское движение с мощными хилиастическими ожиданиями. Можно показать, что некоторым национализмам несколькими десятилетиями ранее предшествовало милленаристское движение (на ум приходит движение тайпинов в Китае), но куда больше случаев, когда вообще невозможно обнаружить такую хронологическую преемственность милленаристских и националистических движений. Конечно, притязания Кедури не столь велики; он просто показывает общую тенденцию, опасность еретических идей, вновь появившихся в конце восемнадцатого века. И все же в становлении мелиоризма восемнадцатого века участвовало множество течений; почему же такое значение придается именно этому?⁷

Ответ заключается во втором, аналогическом, способе доказательства. По Кедури, национализм — это разновидность революционной доктрины прогресса, которая в свою очередь представляет собой современный аналог средневекового христианского милленаризма. Поэтому национализм, как и милленаризм, стремится стереть различие между публичным и частным; национализм, как и милленаризм, пытается установить новую мораль абсолютной чистоты и братства; национализм отделяет последователей своего движения от толпы так же, как и милленаризм возвышает свою добродетельную общину избранных; и, как и милленаризм, национализм отрекается от земных благ ради достижения через борьбу своей цели справедливости на земле. Они представляют собой революционные, а не реформистские доктрины, и стремятся решительным образом порвать с порочным и гнетущим прошлым.

Теперь становится понятным, почему национализм часто вызывает мессианские склонности и стремится ниспровергнуть конкретные режимы. Но его революционное мес-

сианство часто бывает ограниченным. Националисты не пытаются уничтожить этот мир и установить Царство Божие на земле. Они относительно оптимистично смотрят на этот мир, но глубоко недовольны своим местом в нем или, скорее, отсутствием такового. Их интересы относительно локальны, они стремятся исправить конкретную аномалию. По-видимому, с их точки зрения, эта аномалия значительна и причиняет им мучительную боль, но она нуждается не в «новых небесах и новой земле», говоря словами Исайи, а лишь в возвращении к «естественному состоянию» земли автономных наций. Типичный последователь миллениаристской ереси стремится избавить землю от всей порчи; типичный приверженец национализма стремится лишь избавить свою страну от испорченных и чуждых правителей (см.: Cohn 1957; Burridge 1969).⁸

При этом не очевидно, что националисты склонны разрушать все барьеры между публичным и частным и устанавливать новую мораль абсолютной чистоты. Существовали пуританские национализмы, вроде французских якобинцев или, возможно, движения черной «нации ислама», которые предписывали своим последователям рвение, самопожертвование, воздержание и самодисциплину. Но даже они не ставили своей целью полное уничтожение частного. Большинство национализмов поощряет пуританские добродетели героической опоры на собственные силы, простоты, братства и дисциплины в попытке создать «нового мужчину» и «новую женщину», но они также превозносят семейные ценности, высоко ценят общину и используют религиозное рвение в своих целях. Большинство национализмов, оказавшись у власти, использовало или восстановило существовавшие иерархии и институты и направило свои усилия на эти земные проекты «строительства нации».⁹

Помимо всего прочего, национализмы стремятся к «автоэмансипации»: самостоятельный индивид, выбирающий свою судьбу, и автономное сообщество, определяющее свою судьбу без внешнего вмешательства. Национализм принимает этот мир, но стремится изменить его в соответствии со

своим собственным представлением об обновлении. Это совершенно противоречит этосу миллениаризма, который стремится спастись из порочного мира, уничтожить его и установить совершенно новый порядок чистоты, любви и справедливости. Националисты могут жаждать чистоты и провозглашать своей целью любовь, причем именно любовь должна скреплять членов нации, а чистота — восстанавливать ее подлинную природу. Но любовь и чистота, к которой стремятся националисты, — земная социальная солидарность или братство, которое служит опорой мира национальных государств, делая их сплоченными и миролюбивыми.¹⁰

Фокусируя внимание на самых крайних заявлениях и методах отдельных националистов, Кедури мог предположить существование тесной взаимосвязи между национализмом и средневековым миллениаризмом и заклеить их антиномичную неортодоксальность и хилиастический фанатизм. Но у большинства националистов этого нет; они — совершенно обычные буржуа, представители низших слоев среднего класса или рабочих, стремящиеся избавиться от непосредственного угнетения и несправедливости. Кедури действительно признает, что именно это вдохновляет подавляющее большинство последователей националистических движений; однако он утверждает, что элита фанатичных интеллектуалов использует совершенно заурядные обиды большинства ради собственных дурных или своевольных целей. Так, вновь предлагается соблазнительная картина элиты отчужденных интеллектуалов, преследующих химерические грезы, оторванных от повседневных нужд и стремлений огромной массы своих соотечественников, которыми они манипулируют благодаря «печальному заблуждению» коллективного чувства. А это, в свою очередь, предполагает глубокую пропасть между активными элитами и инертными массами, непреодолимую ни для одной социальной страты или культурной ценности и института, которая, как мы видели, в действительности нечасто встречалась даже после наступления колониализма. Здесь просто собраны заблуждения государственно-ориентированных версий политического модернизма,

разобранные в предыдущей главе, которые затем усилились вследствие представления о современных последователях национализма как разновидности приверженцев миллениаризма. Но, как я доказал в другом месте, социальное положение последователей миллениаризма и национализма весьма различалось. Миллениаризм обращался к наименее образованным, беднейшим, самым периферийным и самым угнетенным стратам, тогда как наиболее честолюбивые, образованные городские классы составляли основу большинства националистических движений, даже когда они пытались привлечь в движение другие, стоявшие на более низких ступенях социальной лестницы, страты (A. D. Smith 1979: ch. 2).

Примечательно, что Французская революция в исследовании Кедури фигурирует только как легенда и иллюстрация, несмотря на то, что уже в 1789 году, не говоря уже о 1792-м, французский национализм был первым примером вполне зрелого национализма в Европе и что он напрямую вызывал националистические отклики всюду, куда проникали революционные и наполеоновские армии. Это значит, что и идеологически, и социально «прогрессивная» городская буржуазия исключается из картины, чтобы быть замененной авторитарным, органическим и миллениаристским национализмом центрально- и восточноевропейских интеллектуалов, как то уже предлагал Ганс Кон. Но не только во Франции образованные городские слои, включая буржуазию, увлекались национализмом. Мы встречаем их в авангарде движения в местах, настолько далеких друг от друга, как Греция и Тартария, Япония и Индия, Мексика и Золотой берег. Движение ни в коей мере не выступает в поддержку чего-то апокалиптического или антиномичного, даже если оно зачастую ориентируется на мессианского лидера. Напротив, оно прочно связано с реалиями настоящего, даже когда оно пытается изменить их в лучшую сторону. В этом отношении большинство национализмов гораздо больше соответствует тому, что Кедури называет британской «доктриной национальности вигов», о которой он отзывается с одобрением, в отличие от

«континентальной» унитарной доктрины национализма, которую он на дух не переносит (Shafer 1938; Kedourie 1960: ch. 7; Kohn 1967a: ch. 7; Gildea 1994: ch. 3).

Поэтому ни на социологическом, ни на идеологическом уровне национализм нельзя сравнивать с милленаризмом — средневековым или в более современных вариациях — или выводить из него. Они принадлежат различным мирам мысли и деятельности и разделены не только «современностью», но и — что куда более важно — спецификой этнической истории, культуры и территории.

РЕЛИГИЯ ИСТОРИИ

Милленаризм стремится разрушить прошлое и полностью заменить его будущим. Национализм, напротив, стремится построить будущее по образу прошлого. Конечно, не всякого прошлого, а только подлинного прошлого — подлинного прошлого народа своей родины. Именно это прошлое должно быть заново открыто и возрождено для того, чтобы превратиться в проект судьбы сообщества; ибо только вследствие подлинного понимания этнического прошлого национальное возрождение может возыметь успех.

Итак, согласно Эли Кедури, прошлое — это главным образом культурный ресурс, который должен быть политизирован для мобилизации масс и манипулирования их настроениями. Культ «темных богов» также функционирует как инструмент мобилизации и активизации. В этом отношении Кедури отличается от остальных модернистов. Они рассматривают религию и историю в лучшем случае как источник, из которого можно черпать различные культурные элементы для легитимации радикальных социальных изменений или их эмоциональной поддержки. С этой точки зрения в националистическом отношении к прошлому есть нечто необязательное. По Кедури, с другой стороны, националистическая мобилизация и манипулирование массами могут быть успешными лишь при условии, что история и религия воспринимаются всерьез, а их эмоции политизированы и на-

правлены на национальное дело. У элит нет выбора. Они ограничены ранее существовавшими массовыми культурами и особенно религией. В какой-то степени это ослабляет модернизм Кедури. Даже если нация современна и, возможно, «изобретена», она не возникает — и не может возникнуть — из ничего. Кедури может отмечать историческую новизну таких современных «наций», как египетская или греческая, но он вынужден признать, что они основываются на прежних религиозных традициях ислама и православия. Вместо этого он утверждает, что эти чисто религиозные традиции были извращены политизацией, а их ценности подверглись «переоценке», тогда как массы были соблазнены обещаниями тысячелетнего царства Христова, выраженными в языке и в богослужениях, присущих их религиозным традициям.¹¹

Таков ответ Кедури на проблему «народного отклика», с которой сталкиваются все теории «манипуляции элиты». Каким образом элитам удастся убедить «массы» принять их идеи как руководство к действию? Элиты зачастую манипулировали массами при помощи пропаганды и контроля над образованием, что зачастую приводило к весьма успешным в краткосрочной перспективе результатам. Но долгосрочный успех их усилий всегда сомнителен, и поэтому националисты часто полагали, что лучше опираться на традиции и настроения большинства, и, как доказал Нейрн, использовали те мотивы и символы, которые вызывали отклик у народа. Итак, по Кедури, именно символы и ритуалы традиционной религии вызывают отклик у масс. Чтобы мобилизовать народ, элиты должны использовать коллективные эмоции, разбуженные традиционными религиями. Именно поэтому они обращаются к локальным верованиям и практикам, взывают к темным богам и исполняют их ритуалы, превращают чисто религиозные мотивы и фигуры в политические и национальные символы и героев — в чем и заключается процесс придания этнической и национальной окраски прежде универсальным и трансисторическим религиям (Nairn 1977: ch. 2; ср.: Brass 1991: ch. 2).

Я нахожу это одной из наиболее интересных и убедительных составляющих тезиса Кедури. В стольких незападных национализмах религии играли и играют решающую роль в жизни широких масс населения, а в результате националистической «переоценки» и политизации их ценностей они оказали большое влияние на мобилизацию народа и характер последующего национализма. Конечно, Кедури иногда преувеличивает противоположность между чисто религиозными и чисто национальными мотивами и символами: для многих сионистов и панарабистов Моисей и Мухаммед сохранили свое религиозное значение, получив новую политическую окраску, будучи воплощением «национального» гения. Тем не менее, поскольку национализм — это современная и светская доктрина (такова отправная точка Кедури), ее отношение к религиозным фигурам, вроде Моисея и Мухаммеда, и к религиозным праздникам, вроде еврейской пасхи, заметно отличается от традиционного религиозного понимания и выражает по отношению к ним недостаточное почтение (A. D. Smith 1973c).¹²

Но прав ли Кедури, считая национализм совершенно современной и светской доктриной и движением? Судя по его высказываниям, даже он считает, что национализм — это не главное; в конце концов, он представляет собой светского преемника религиозного милленаризма. Для многих других теоретиков религия по-прежнему тесно связывается с национализмом. Марк Юргенсмайер, например, проводит различие между возрождением религиозных национализмов и светским государственным национализмом на Западе. Последний пытается представить нацию как светское и либеральное творение современного государства. И этот проект религиозные националисты горячо отвергают. Они осуждают необузданный материализм, отчуждение и порочность западного общества и его светского национализма и хотят вырвать нацию из рук современного светского государства и вернуть ее к «подлинным» духовным и религиозным корням. Светский национализм ослабил народ и разрушил нацию; он потворствовал жадности, порокам и разложению;

ему необходимо противопоставить более высокую и чистую концепцию нации. Поэтому не национализм как таковой, а скорее западные материалистические и светские концепции нации оказались столь губительными по своим последствиям. Юргенсмайер рассматривает возникновение новой холодной войны, замену старой войны между западным и советским идеологическими блоками войной между либеральным светским Западом и цепью возрожденческих, даже фундаменталистских, религиозных движений, тянущейся от протестантского возрождения в Америке до шиитской революции в Иране и от суннитского возрождения в Египте, Саудовской Аравии и Пакистане до индуистского возрождения в Индии и буддистского ренессанса на Шри-Ланке (Juergensmeier 1993; ср.: Chatterjee 1986).¹³

Кроме того, согласно Брюсу Капфереру, между религией и национализмом существует тесная связь. Он исследует два весьма различных общества и две религиозные ситуации, Шри-Ланку и Австралию, показывая, как и в том, и в другом случае национализм берет на себя роль религии, верования и ритуалы которой обращены к основным онтологическим проблемам и придают смысл и цель существованию индивидов и наций. Эта религия нации, конечно, может соединяться с традиционной религией и тем самым усиливать ее. Именно это имело место у сингальцев Шри-Ланки: традиционный сингальский буддизм был политизирован, и его ритуалы получили новые и искаженные смыслы в контексте межэтнической войны. Речи и действия лидеров современных сингальцев были наполнены намеками и аналогиями с буддистскими доктринами и прошлым сингальского буддизма; древние войны с тамилами толкуются и толковались в свете текущего шриланкийского конфликта (Kapferer 1988: chs 2–4; Roberts 1993; Subaratnam 1997).

В Австралии, напротив, религия нации заменяет традиционные религии (христианство или иные), перенимая многие их ритуалы и символы. Так, Капферер исследует образы и символику австралийского военного мемориала в Канберре, возведенного в память об эгалитарных идеалах и самопожерт-

товании солдат АНЗАК в ходе губительной Галлипольской кампании 1915 года, видя в нем национальную святыню, где светское сакрализуется благодаря использованию христианских моделей для самого строения, витражей и ритуалов Дня АНЗАК. Придавая особое значение темам страдания, смерти, жертвы и возрождения, прагматический, светский австралийский национализм обрамлен религиозными формами и служит интересным примером «светской религии» западных национализмов (Karferer 1988: chs 5–6).¹⁴

В обоих этих случаях, как и в религиозных национализмах, описываемых Юргенсмайером, прошлое играет жизненно важную роль, связывая сакральное со светским. Конечно, это может быть и недавнее прошлое, как в случае Австралии. Но оно всегда связано с подлинностью, преемственностью, идентичностью, достоинством и судьбой — основных темах и мотивах националистической драмы спасения сообщества, поскольку оно развивается во времени. Прошлое так же необходимо для националистической мифологии, как и будущее, и «золотой век» столь же значим, как и славная судьба нации. Поэтому национализм всегда должен связывать свои представления с национальным прошлым, то есть с коллективными воспоминаниями народа. Прошлое — это не какая-то нейтральная область, которую необходимо исследовать и анализировать; это локус *exempla virtutis*, священной, наследственной родины, золотого века и общинной подлинности и идентичности. Прошлое воплощает особые ценности и традиции сообщества, без которых не было бы никакой нации, никакой национальной судьбы. Для национализма они являются священными составляющими национального духа, которые следует оберегать и восстанавливать.¹⁵

В этом смысле национализм становится «религией истории», сакрализирующей подлинное прошлое сообщества на его наследственной родине. Эли Кедури справедливо отмечал, что националисты избирательно использовали историю, рассматривая ее сквозь призму политики. Но нельзя сказать, что настоящее полностью определяет прошлое, что нынешние заботы и современные интеллектуальные моды обуслов-

ливают наш взгляд на прошлое. Разумеется, они ставят ряд вопросов, которые мы задаем прошлому. Другие вопросы могут подниматься традицией и воспитанием. Здесь прошлое, укрепленное защитным слоем институтов, нравов и символов, унаследованных нами от предыдущих поколений, формирует наше понимание настоящего. Идея о том, что националисты и другие интеллектуалы могут разорвать эту связь с прошлым, странным образом согласуется со всеобъемлющим религиозным консерватизмом Кедури и говорит о его переоценке политической роли и независимости этих европеизированных интеллектуалов от общества.

То, что интеллектуалы свободны от социальных ограничений, — это, конечно, предпосылка для психологистской и диффузионистской теории «политической религии», главные движущие силы которой — аномия и отчуждение. Это соответствует акценту Лии Гринфельд на отчуждении и недовольстве важных страт и особенно на *ressentiment* части высших классов, статус и перспективы карьерного роста которой заблокированы, как это имело место в случае с некоторыми слоями французской аристократии. Но Гринфельд не говорит о том, что у отчужденных групп нет социальных и политических ограничений, даже если, как и Кедури, она не объясняет полностью происхождение и характер идеала нации, к которому обращаются разочарованные и отчужденные. Это означает, что она гораздо более прочно привязывает идеологию к статусным интересам группы и тем самым демонстрирует нам вариации и ограничения пользующихся поддержкой идеологий. Напротив, Кедури хочет убедить нас во зле, воплощаемом национализмом. Он показывает, как беспокойные, отчужденные интеллектуалы, действующие в социальном и политическом вакууме, побуждаются необузданной националистической идеологией к насилию и террору и как недостижимая и безбожная добродетель в эпоху революционных перемен неминуемо ведет к всеобщему разрушению. Фокусируя внимание на том, что Майкл Биллиг называет «горячим» национализмом, Кедури не удается понять, что нации и национализм стали составной частью структу-

ры современного общества и что они были приняты и освоены подавляющим большинством народов мира, для которых красочная риторика и лозунги отдельных интеллектуалов — это в лучшем случае декоративное дополнение. Иными словами, националистические интеллектуалы важны лишь в той степени, в которой они артикулируют и помогают оформить основные настроения, восприятия и установки народа, которые они черпают как из ранее существовавших символов, воспоминаний, мифов, ценностей и традиций, на которых выстраивают свои идеологии нации, так и из нужд текущего момента.¹⁶

Идеология — это, несомненно, ключевая составляющая широкой притягательности и успешности национализма. Она служит соединению и концентрации множества обид и устремлений различных социальных групп в рамках конкретного сообщества или государства и объяснению и активизации «народа» там, где позволяют обстоятельства и технологии. Но эти идеологии не являются продуктом интеллектуалов, поскольку большинство интеллектуалов, даже те, что зажаты между соперничающими культурами, плывет по течению, дезориентировано и не может оказывать такого влияния, которое приписывает им Кедури. То же касается и их идей, которые действенны в обществе лишь в той степени, в которой они согласуются с существовавшими ранее народными представлениями и коллективными воспоминаниями. Только тогда они смогут мобилизовать большое число людей для участия в демонстрациях и маршах для вступления в движения и борьбу за освобождение и сплочение своей нации. Только тогда люди отложат свои повседневные заботы и преодолеют свои страхи на время борьбы за лучшую долю. Только самые крайние условия порождают апокалиптические грезы, и привлечь они могут только меньшинства.

Однако национализм — это движение большинства, но не в количественном смысле (в конечном счете, большинство людей не присоединяется к политическим организациям, а если и присоединяется, то ненадолго), а потому что на всех континентах нация стала нормой политической организа-

ции, а национализм стал основной легитимирующей системой веры. Маловероятно, что такое положение вещей имело бы место, если бы оно было всего лишь продуктом безумных интеллектуалов, действующих в социальном вакууме, созданном модернизацией, или что масса людей, твердо придерживавшихся своих религий и культур, могла быть соблазнена такими утопическими фантазиями, чтобы создать мир наций.

1983 год ознаменовался выходом в свет двух книг, содержащих важные для изучения национализма идеи. Первая, под названием «Изобретение традиции», состояла из ряда статей о многообразии политических ритуалов и была выпущена под редакцией Эрика Хобсбаума и Теренса Рейнджера со вступительной главой Хобсбаума. Вторая — книга Бенедикта Андерсона под названием «Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма» — выдвинула ряд общих гипотез относительно развития национализма в различных частях света с разбором нескольких конкретных примеров. В основе обеих книг лежала марксистская традиция, но в них содержалась попытка перейти от традиционного исследования политической экономики к сфере культуры, доработав и дополнив их темами из анализа нарративов и дискурса, разработанного «постмодернистской» деконструкцией. В обоих случаях это привело к пониманию нации и национализма как основного текста Нового времени, который необходимо было разоблачать и деконструировать. В обоих случаях нации и национализм — это конструкции и культурные артефакты; задача исследователя заключается в том, чтобы раскрыть их формы и содержания, показать потребности и интересы тех элит и страт, которые извлекают выгоду из этих нарративов или используют их. Следовательно, в обеих книгах модернистский проект затуманивается «постмодернистскими» темами и языком. Последствия этого для модернистской парадигмы национализма будут рассмотрены позднее.¹

ИЗОБРЕТЕНИЕ НАЦИЙ

Нации как «изобретенные традиции»

В своем введении к «Изобретению традиции» Эрик Хобсбаум выдвинул ряд общих положений относительно изобретенных традиций, национальных традиций и нации. Его идея заключалась в том, что мы лучше всего сможем понять характер и привлекательность нации путем исследования национальных традиций, и что национальные традиции — это своеобразные изобретенные традиции. Если бы мы смогли понять генезис и функцию изобретенных традиций, мы смогли бы объяснить национальные традиции, а следовательно, и нации. Что такое «изобретенная традиция»? Хобсбаум дает следующее определение:

«Изобретенная традиция» означает совокупность практик, как правило, ограниченных открыто или молчаливо признанными правилами ритуального или символического характера, направленных на привитие определенных ценностей и норм поведения путем повторения, которое автоматически подразумевает преемственность с прошлым. В сущности, там, где это возможно, они обычно пытаются установить преемственность с соответствующим историческим прошлым. Яркий пример — осознанное избрание готического стиля для перестраивавшегося в девятнадцатом веке британского парламента и столь же осознанное решение после второй мировой войны перестроить здание парламента изнутри в соответствии с прежним планом.

(Hobsbawm and Ranger 1983: 1–2).

Хобсбаум считает, что такое обращение к историческому прошлому, предполагающее преемственность, носит в значительной степени искусственный характер, и делает вывод, что «изобретенные традиции» являются

ответами на новые обстоятельства, которые принимают форму обращения к прежним обстоятельствам или укрепляют собственное прошлое путем квазиобязательного повторения.

(*ibid.*: 2).

Изобретенные традиции следует четко отличать как от обычаев (*custom*), так и от установленных правил (*convention*) или общепринятых практик (*routine*). Традиции – старые ли, новые ли – инвариантны; прошлое, к которому они обращаются, диктует неизменные модели. Обычай более гибок; он до определенной степени позволяет изменение благодаря святости прецедента и преемственности.

Обычай – это то, чем занимаются судьи; «традиция» (в данном случае изобретенная традиция) – это парик, мантия и другие внешние атрибуты и ритуализированные практики, окружающие их основную деятельность.

(*ibid.*: 2–3).

Что касается установленных правил (*convention*), хотя они тоже становятся инвариантами, их функции – чисто технические, предназначенные для того, чтобы облегчить выполнение определенных практических операций, и они могут быть изменены, когда изменятся практические нужды, как это происходит с правилами игры. Так, солдаты в стальных касках обычны (*conventional*), тогда как красные куртки и шлемы для охоты на лис – это примеры традиции.

Хобсбаум не отрицает важность прежних традиций, приспособляющихся к новым потребностям, вроде католической церкви или университетов девятнадцатого века. При этом он не отрицает того, что традиции «изобретались» в прошлом. Он утверждает, что именно в Новое время вследствие стремительных изменений стало возможным ожидать то, что «изобретение традиции» будет встречаться наиболее часто – будь то такие традиции, которые изобретаются конкретным человеком, вроде скаутских ритуалов Баден-Пауэл-

ла, или группой, например, ритуал Нюрнбергских съездов нацистской партии. Дело в том, что

стремительное преобразование общества ослабляет или разрушает социальные модели, для которых были предназначены «старые» традиции, создавая новые, к которым они неприменимы, или когда такие старые традиции и их институциональные носители и распространители оказываются недостаточно приспособляемыми и гибкими или же уничтожаются.

(*ibid.*: 4–5).

Теперь каждое общество накапливает огромные запасы древних материалов, чтобы конструировать изобретенные традиции нового типа для совершенно новых целей. Иногда новые традиции могут пересаживаться на старые, а иногда они могут разрабатываться путем «извлечения из богатых запасников официальных ритуалов, символики и нравственных наставлений». Хобсбаум приводит пример швейцарского национализма, который расширил, оформил и ритуализировал «существующие привычные традиционные практики», наподобие народного пения, физических состязаний и меткой стрельбы, сочетая религиозную составляющую с патриотической (*ibid.*: 6–7).²

С возникновением национальных государств появились не только совершенно новые символы и знаки, вроде флагов, гимнов и гербов государства, но и

должна была быть изобретена историческая преемственность, например, путем создания древнего прошлого, не связанного с действительной исторической преемственностью, при помощи полувывымысла (Бодикка, Верцингеторикс, Арминий Херуск) или подделки (Оссиан, чешские средневековые рукописи).

(*ibid.*: 7).

Даже действительно древние традиции, вроде английских

рождественских народных гимнов, являются «новыми» в том смысле, что они были воскрешены в новых условиях и для новых задач в девятнадцатом веке. Но движения, которые воскрешают прошлое и изобретают традиции «никогда не способны развивать или даже сохранять живое прошлое»; с другой стороны, «где живо старое, традиции не нужно ни воскрешать, ни изобретать» (*ibid.*: 7–8).

Современные «изобретенные традиции» относятся к трем частично совпадающим типам. Первый тип укрепляет или символизирует социальную сплоченность или единство групп, реальных или искусственных сообществ; второй вид упрочивает или легитимирует институты, статус или властные отношения; тогда как третий вид нацелен на социализацию путем насаждения мнений, систем ценностей и условностей поведения. Хобсбаум утверждает, что первый тип был главным; остальные функции были следствием идентификации с «сообществом» и его институтами (*ibid.*: 9).

Существует важное различие между старыми и изобретенными практиками. Первые конкретны и строго обязательны, тогда как последние не обладают четким и ясным содержанием ценностей и обязанностей, прививаемых членам группы — например, «патриотизм», «преданность», «долг» и «благородство». Но практики, символически выражающие эти идеалы, конкретны и обязательны, например, ритуал поднятия флага в американских школах (*ibid.*: 10–11). Согласно Хобсбауму, важной составляющей является изобретение обладающих эмоциональной и символической нагрузкой знаков принадлежности к группе, вроде флагов и гимнов. Даже если изобретенные традиции занимают намного меньшую область социального пространства, оставшуюся после упадка старых традиций и обычаев, особенно в частной сфере, эти неотрадиционные практики по-прежнему играют заметную роль в общественной жизни граждан, в том числе во всеобщем образовании и государственных институтах и практиках; и в большинстве своем они «являются исторически недавними и почти целиком изобретенными — флаги, обряды, церемонии и музыка» (*ibid.*: 12).

В заключение Хобсбаум утверждает, что исследование «изобретенных традиций»

крайне важно для относительно недавнего исторического нововведения, «нации» и связанных с ней явлений: национализма, национального государства, национальных символов, историй и прочего. Все они основываются на упражнениях в социальной инженерии, которые часто являются обдуманнми и всегда — инновационными, хотя бы по той простой причине, что историческое нововведение предполагает инновацию. Израильский и палестинский национализм и нации должны быть новыми, безотносительно к исторической преемственности евреев или ближневосточных мусульман, поскольку сама концепция территориальных государств, которая теперь стала обычной в их регионе, была придумана сто лет назад и едва ли имела серьезные перспективы до конца первой мировой войны.

(*ibid.*: 13—14)³

Нас не должен вводить в заблуждение парадокс, когда националисты утверждают, что их нации имеют древние корни и самоочевидно естественный характер, хотя на самом деле они являются совсем недавними и новыми конструкциями.

Какой бы ни была историческая или иная преемственность, связанная с современной идеей «Франции» и «французов» — и которую никто не пытается отрицать, эти идеи должны включать сконструированную или «изобретенную» составляющую. И только потому, что многое из того, что субъективно образует современную «нацию», состоит из таких конструкций и связано с соответствующими и, вообще говоря, довольно недавними символами и соответствующим образом оформленными дискурсами (например, «национальной историей»), национальный феномен невозможно адекватно

исследовать, не уделив должного внимания «изобретению традиции».

(*ibid.*: 14).

Чтобы подкрепить это программное заявление фактами, Хобсбаум и другие авторы предлагают нам ряд конкретных исследований, посвященных недавнему изобретению традиции Хайленда в Шотландии, культурному возрождению в Уэльсе, британской церемонии коронации, символике власти в викторианской Индии, изобретению традиций в колониальной Африке и — в последней главе, написанной самим Хобсбаумом, — расцвету массового производства традиций в Европе конца девятнадцатого века. В этой последней главе Хобсбаум показывает широкую область применения разнообразных «изобретенных традиций» — скаутские ритуалы, празднование Первого мая, спортивные соревнования, вроде Олимпийских игр, организации выпускников, военные парады и государственные праздники, юбилеи, маниакальное увлечение установлением памятников, множество огромных общественных зданий и монументов, массовые школьные учебники и так далее. Все это в значительной степени вдохновлялось государством: они были общественно необходимы для государственных элит, намеревавшихся установить контроль над быстрыми социальными изменениями и выходом на политическую арену получивших избирательные права граждан (*ibid.*: 263–268). Во Франции времен Третьей республики и Германии Второй империи «изобретение традиции» достигло своего пика перед Первой мировой войной, выразившись в множестве официальных и локальных церемоний, маниакальном увлечении возведением статуй, памятников и общественных построек и насаждении национальных ценностей и идеалов в учебниках системы всеобщего образования (*ibid.*: 270–279). Некоторые из этих новых традиций оказались недолговечными, другие, вроде массовых церемоний, — более стойкими. Во всяком случае, признает Хобсбаум, только те сознательно изобретенные традиции, что «передавались на волне, на которую публика была

готова настроиться», в конечном итоге достигли успеха (*ibid.*: 263).⁴

Два этапа национализма

В 1990 году Хобсбаум развил эти идеи в своей книге «Нации и национализм после 1780 года». В ней предлагалось историческое исследование развития наций примерно с 1830 года по послевоенный период. Как и Геллнер, Хобсбаум утверждал, что нации — это продукт национализма как в концептуальном, так и в историческом отношении, но затем перешел к доказательству того, что основная особенность и цель национализма, равно как и его собственное притязание, которое следует принимать всерьез, заключается в его стремлении построить «национальное государство». Национализм — это политическая программа; национализм, который не ставит перед собой цели создания национального государства, не заслуживает внимания или ни к чему не ведет.

Нации существуют не только в качестве функции территориального государства особого типа (в самом общем смысле — гражданского государства Французской революции) или стремления к образованию такого; они обусловлены и вполне определенным этапом экономического и технического развития.

(Hobsbawm 1990: 9–10; Хобсбаум 1998: 20).

Согласно Хобсбауму, нации создаются националистами. Не будучи незначительным артефактом, изобретение и социальная инженерия участвуют в процессе создания наций. Кроме того, национальная лояльность — это лишь один из множества других видов преданности, постоянно изменяющихся при изменении обстоятельств.

Хобсбаум проводит различие между двумя типами национализма и двумя видами исследования наций и национализма. Первый тип — это массовый, гражданский и демократи-

ческий политический национализм, построенный по модели гражданской нации, созданной Французской революцией; этот тип расцвел в Европе приблизительно в 1830–1870-х годах, особенно в Германии, Италии и Венгрии, и использовал «принцип порога», заключающийся в том, что только нации, территорий и населения которых было достаточно для поддержания крупной капиталистической рыночной экономики, имели право заявить о самоопределении в качестве суверенных, независимых государств. Этот процесс сопровождался вторым — «этнолингвистическим» — типом национализма, когда меньшие группы заявляли о своем праве на отделение от крупных империй и создание собственных государств на основе этнических и/или лингвистических уз. Такой тип национализма преобладал в Восточной Европе в период с 1870 по 1914 год и вновь появился в 1970-х и 1980-х годах после того, как антиколониальные гражданские политические национализмы в Азии и Африке утратили свою силу.

С этими типами связаны, но не полностью, два вида исследования. Первый фокусирует внимание на официальных или правительственных идеях и институтах и строится по «нисходящей», беря за основу элиту. Другой занимается народными мнениями и настроениями, а потому становится точкой зрения «снизу», где за основу берется сообщество. Хотя Хобсбаум считает, что нации должны «конструироваться по сути сверху», он признает, что их следует также исследовать снизу, с позиции надежд, страхов, стремлений и интересов обычных людей. В этом контексте Хобсбаум вводит понятие «протонациональных» связей для описаний выходящих за рамки конкретной местности региональных, религиозных или этнических сообществ или политических уз отдельных групп, связанных с досовременными государствами. Но он ни в коей мере не считает их прообразом или источником современного национализма,

поскольку они не имели или не имеют *необходимой* связи с единым территориально-политическим образова-

нием — важнейшим критерием того, что мы сегодня понимаем под «нацией».

(*ibid.*: 47; *там же*: 75—76)

Хобсбаум считает, что язык — это отчасти продукт создания государства, а национальные языки — это наполовину искусственные конструкции и представляют собой косвенные последствия современного национализма. Этничность также — в культурном ли, в «расовом» ли смысле — не имеет отношения к современному национализму, за исключением тех случаев, когда видимые различия во внешности становятся средствами, позволяющими выделить «чужих» (*ibid.*: 66; *там же*: 106). Только память о принадлежности к устойчивому политическому сообществу определенного рода имела потенциал для расширения и полного охвата массы жителей страны, как в Англии или Франции, в России или даже в Сербии с ее воспоминаниями о средневековом королевстве, сохранившимися в песнях, героических сказаниях и «в ежедневном богослужении в сербской церкви, канонизировавшей большинство сербских королей» (*ibid.*: 75—76; *там же*: 121).

По Хобсбауму, решающий этап национализма наступил в период с 1870 по 1914 год, когда массовый гражданско-демократический политический тип национализма превратился в этнолингвистический. Этот новый тип отличался от прежнего «национализма эпохи Мадзини» в трех отношениях.

Во-первых, он отбросил «принцип порога» (принцип минимальной достаточности), являвшийся, как мы видели, ключевым для национализма либеральной эры. С этого времени *любая* народность, которая считала себя «нацией», могла добиваться права на самоопределение, означавшего в конечном счете право образовывать на своей территории отдельное независимое государство. Во-вторых, — и именно вследствие увеличения числа этих потенциальных «неисторических» наций — все более важными, решающими (и даже единственными) критериями национальной государственности ста-

новились этнос и язык. Был, однако, еще и третий симптом перемен, который затронул не столько негосударственные национальные движения (становившиеся теперь все более многочисленными и амбициозными), сколько национальные чувства внутри уже существующих наций-государств, а именно резкий политический сдвиг вправо, к «нации и флагу», — для описания которого, собственно, и был придуман в последние десятилетия 19 века термин «национализм».

(*ibid.*: 102; *там же*: 162–163; выделено автором)

Расцвет этнолингвистических национализмов был следствием многих факторов: соединения «расы», языка и национальности в означенный период, рост новых классов и сопротивление старых классов современности и беспрецедентные миграции народов в конце девятнадцатого — начале двадцатого веков, — и все это в контексте демократизации политики и новых широких полномочий централизованных государств (*ibid.*: 109–110; *там же*: 173).

По Хобсбауму, новый лингвистический национализм, фокусируя внимание на национальном языке, представлял собой «своего рода капитал низших классов, которые сдают социальный экзамен», особенно когда он стал средством преподавания в средней школе; а эти классы сдвинулись на правые позиции в политике, считая, что им необходимо находиться в состоянии боевой готовности, ибо им угрожает опасность, особенно «опасность» в лице чужаков, вроде евреев. Такого рода национализм, по сути — политика страха, вел к созданию этнически однородных государств и исключению, а в конечном итоге и истреблению меньшинств (*ibid.*: 111, 121; *там же*: 175, 187).

Упадок национализма

В конце двадцатого века, по Хобсбауму, наблюдается возрождение этого размножающегося делением этнолингвистического типа национализма. Не отрицая впечатляющего расцве-

та и влияния националистической или этнической политики, Хобсбаум утверждает, что он «больше не является главным вектором исторического развития». Скорее эти современные этнолингвистические национализмы являются преемниками или даже наследниками восточноевропейских движений малых национальностей конца девятнадцатого века:

Типичные националистические движения конца двадцатого века по сути своей негативны или, скорее, ведут к распрям. Отсюда акцент на «этничности» и языковых различиях, иногда в сочетании обоих или какого-то одного из элементов с религией.

(*ibid.*: 164)

Действуя от имени модели политической современности, национального государства, они одновременно отвергают современные формы политической организации, национальной и наднациональной.

И вновь они кажутся реакциями слабости и страха, попытками возвести баррикады для отчаянной защиты от сил современного мира, схожими в этом отношении с негодованием пражских немцев, загнанных в угол чешской иммиграцией, нежели с негодованием преуспевающих чехов.

(*ibid.*: 164)

Грандиозные экономические преобразования в мировом масштабе в сочетании с массовым переселением людей дезориентируют и пугают многих.

В урбанизированных обществах мы на каждом шагу встречаем вырванных из родной почвы мужчин и женщин, напоминающих нам о хрупкости наших собственных семейных корней.

(*ibid.*: 167; там же: 274).

Но, утверждает Хобсбаум,

между тем апелляция к этносу или к языку — даже если на их основе образуются новые государства — не дает никаких ориентиров на будущее. Это всего лишь протест против существующего положения, а точнее, против «других», которые каким-то образом угрожают данной этнически определяемой группе.

(*ibid.*: 168; *там же*: 278)⁵

Национализм, несмотря на преимущество его неопределенности, исключает всех, кто не принадлежит к нации, и враждебен к реальному прошлому либо возникает на его руинах. Это ответ на «неэтнические и ненационалистические принципы государственного строительства, явно преобладавшие в двадцатом веке на большей части земного шара» (*ibid.*: 173; *там же*: 286–287).

Основная идея состоит в том, что сегодня национализм лишился своих функций создания государства и формирования экономики. В девятнадцатом веке национализм явно находился в центре исторического развития: он создавал государства и образовывал ограниченные территориально «национальные экономики». Но глобализация и международное разделение труда лишили его этих функций, а революции в массовых коммуникациях и международная миграция сделали невозможным существование территориально однородных национальных государств. Национализм попросту не отвечает современному экономическому и социальному развитию, а основные политические конфликты почти не связаны с национальными государствами (*ibid.*: 175–176; *там же*: 288–289).

Это приводит Хобсбаума к выводу, что национализм — это «замена разрушенных мечтаний», реакция на обманутые надежды и устремления. Несмотря на несомненно выдающееся положение национализма сегодня,

исторически он стал менее важным. Он уже не являет-

ся, так сказать, глобальной перспективой развития или всеобщей политической программой, — чем он, вероятно, действительно был в 19 — начале 20 века. Теперь он, самое большее, лишь дополнительный усложняющий фактор или катализатор для иного рода процессов.

(*ibid.*: 181; *там же*: 302)

Ведя речь о «нациях-государствах», «нациях» или этнических группах, история прежде всего покажет, как они отступают на второй план перед лицом нового супранационального преобразования мира, сопротивляются ему, поглощаются им или адаптируются к нему. Нации и национализм никуда из этой истории не исчезнут — но только играть они в ней будут второстепенные, а часто и совершенно незначительные роли.

(*ibid.*: 182; *там же*: 303)

Прогресс конца двадцатого века в исследованиях историков, посвященных нациям и национализму, «наводит на мысль, что в этом — как и во многих других случаях — пик изучаемого ими феномена уже позади». И, напоминая обращение Кедури к гегелевской сове Минервы, Хобсбаум обнадеживающе заключает:

Сова Минервы, несущая мудрость, вылетает, по слову Гегеля, в сумерки, и то, что теперь она кружит над нациями и национализмом, есть добрый знак.

(*ibid.*: 183; *там же*: 305)

ЭТНИЧЕСКИЙ ИЛИ ГРАЖДАНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ?

Конечно, вывод Кедури был вовсе не оптимистическим. Когда его спросили, нужно ли сопротивляться национализму или пытаться его унять, он ответил, что знание приходит к нам лишь по прошествии событий. Однако Хобсбаум объясняет национализм исходя из марксистских посылок, из «хода истории». Даже если он дополняет эту базовую структуру от-

дельными «постмодернистскими» темами и языком, он по-прежнему озабочен тем, чтобы поместить национализм четко в рамки определенного периода развития, предшествующего позднему капитализму, — периода индустриализации, урбанизации и демократизации, и в рамки определенной социальной и географической среды — Западная, Центральная и позднее Восточная Европа второй половины девятнадцатого века. Такие рамки позволяют Хобсбауму дать множество богатых исторических описаний и остроумных анализов различных видов преимущественно европейского национализма, особенно лингвистических движений, и их социального состава.

Хобсбаум всегда стремится отыскать подтверждение своего тезиса об ультрасовременности наций, демонстрируя их спроектированный и сконструированный характер. Не будучи примордиальными или даже относительно долговечными, нации представляют собой совершенно новые конструкции и артефакты элит, стремящихся сохранить порядок в буре позднего капитализма. Здесь есть некоторые интересные точки сближения с идеологическим модернизмом Кедури. Оба согласны с тем, что национализм возник в девятнадцатом веке, хотя Кедури сильнее настаивает на его происхождении из немецкого романтизма. Оба подчеркивают искусственный характер националистической идеологии, но Хобсбаум идет еще дальше, делая акцент на условном и сконструированном характере наций. Хобсбаум разделяет инструменталистское отношение Кедури к национализму и его веру в то, что он используется элитами для того, чтобы «плени» чувства масс и обеспечить социальную и психологическую стабильность; но, по Кедури, манипулировать массами стремятся скорее неутомимые интеллектуалы, нежели капиталистические властные элиты. Наконец, Хобсбаум выражает не меньшее презрение и ненависть к национализму, чем Кедури, хотя он готов признать историческую значимость ранней формы массового гражданского и политического национализма в девятнадцатом веке.

С другой стороны, имеет место необычное единодушие

между двумя историками, чьи политические взгляды расположены на противоположных сторонах идеологического спектра. Оба словно стараются не замечать влияния Французской революции на нации и национализм, или скорее они рассматривают ее значимость с точки зрения европейской реакции на ее эксцессы и особенно на амбиции Наполеона, нежели с ее собственной как первого европейского примера вполне зрелого национализма. Именно поэтому, согласно Кедури, лишь органическая версия национализма является подлинной доктриной, причем органическую версию ее развивали немецкие, а не французские интеллектуалы. Согласно Хобсбауму, несмотря на более раннюю дату, включенную в название второй его книги, национализм не выступал с собственным проектом создания государства до 1830 года, когда обсуждение объединения Германии и Италии действительно стало политической проблемой и возникли первые национальные государства, созданные национализмом (Греция, Бельгия и, возможно, Испания). Иными словами, Франция, как и Англия, представляла собой гражданскую нацию (а Революция была легендой), но возникла она задолго до эпохи национализма.

Теперь, когда известно, что и Франция, и Англия возникли несколькими веками ранее (как и Голландия, Швеция, Польша, Россия, Швейцария и Испания), а поздние «национальные государства» часто создавались — обычно с долей геополитического везения — националистами и другими элитами, нас не должно сбить с толку игнорирование или умаление роли Французской революции как *националистической* (а не просто буржуазной) революции. Уже на начальных ее этапах французские революционеры распространяли и политизировали даже более ранние идеи *la nation, la patrie* и *le citoyen*, и выбрали новый французский флаг, триколор, взамен старого королевского штандарта. Во время кризиса в войне в 1792 году было создано народное ополчение и новый гимн, «Марсельеза». Точно также Генеральные штаты стали Национальным собранием и Конвентом, новые присяги *la patrie* принимались на Марсовом поле, исполнялись

новые гимны, появлялись и почитались новые, в римском духе, герои и современные мученики, великие *journées* обзавелись новой националистической литургией, по всей Франции было покончено с внутренними таможами и пошлинами, региональные ассамблеи и их диалекты были отменены и распространился *la belle langue*, был принят новый календарь, а граждан убеждали сражаться и умирать за родину. В революционном французском национализме якобинцев лелеялись даже идеи национальной миссии и судьбы — низложение тиранов и освобождение народов Европы (см.: Kohn 1967b; Herbert 1972; Gildea 1994).⁶

Наблюдение такого национализма у наиболее многочисленной и цивилизованной нации Европы, а не только распространение Наполеоном ее идей и завоеваний, побудило интеллектуалов в различных частях Европы начать создание собственных национализмов. Период с 1790 по 1820 год ознаменовался возникновением и распространением националистических идей в Европе и Америках, но Хобсбаум почти ничего не говорит об этом важнейшем периоде, быть может, потому что он не встал на путь создания государства (за исключением Америки), а, по Хобсбауму, именно его способность к созданию и поддержанию крупных государств и рынков оправдывает интерес историков к национализму. Но она, как мы видели в случае Бройи, является необоснованно узким критерием; здесь упускаются все остальные функции и измерения национализма — социальное, культурное и психологическое, — которые делают его столь важным в современном мире.⁷

При этом не так уж просто провести различие между двумя видами национализма, которое Хобсбаум использует для описания развития наций в Европе. Различие между этнолингвистическим и гражданско-политическим видами национализма прочно укоренилось в исследовательской литературе, однако оно является аналитическим и нормативным. Оно не описывает конкретные национализмы, но при этом используется для прослеживания развития национализма вообще. Даже самые «гражданские» и «политические» национализмы

при внимательном рассмотрении часто оказываются также «этническими» и «лингвистическими»; таков, безусловно, и французский национализм во время Революции, не говоря уже о последующем периоде, с ее обращением к «*nos ancêtres les Gaulois*» и единому французскому народу, а также подавлением региональных языков в пользу парижского французского. Напротив, Бройи выделил в немецком национализме 1848 года территориальную и гражданскую составляющие наряду с этнической, что выразилось в речах и дебатах франкфуртского парламента. Иногда эти гражданская и этническая составляющие смешиваются в равной пропорции, как это имело место в Чехословакии, Шотландии и Швейцарии, иногда они вступают в противоречие, как это было в «деле Дрейфуса» во Франции или как это происходит в настоящее время в Индии и Израиле. С помощью этих концепций невозможно выделить общую модель исторического развития (см.: Poliakov 1974: ch. 1; Поляков 1996: гл. 1; Breuilly 1993: ch. 4).⁸

Кроме того, остается непонятным употребление Хобсбаумом термина «этнический». Он отвергает «генетическое» употребление (хотя и возвращается к нему), но не может согласиться и с культурным употреблением. И все потому, что он склонен связывать его с языком или путать его с действительным происхождением и не в состоянии осознать важность мифов, воспоминаний, традиций и символов социокультурных групп, включая общие воспоминания об исторических событиях, правда, выборочные или идеализированные, и мифы и символы (предполагаемого) общего происхождения. Это одна из причин того, почему Хобсбауму приходится отвергнуть все народные воспоминания и верования в родство, происхождение, истоки и золотые века как сфабрикованные или не имеющие отношения к действительности, или и то и другое вместе, и почему они не могут подорвать или сломить его уверенность в ультрасовременном характере наций и национализма, даже если он готов — после распада Советского Союза и Югославии — признать сохранение влияния этнических уз и чувств (см.: Hobsbawm 1996; Хобсбаум 2002).⁹

«ПРОТОНАЦИОНАЛЬНЫЕ» СВЯЗИ

По сути, Хобсбаум предложил нам в современной терминологии старую гегельянскую идею «народов без истории», у которых лишь воспоминания о былой государственности могут распространиться среди масс и стать основой для поздних национализмов и государства. Иначе говоря, Хобсбаум не отводит «массам» никакой роли в качестве субъектов истории. Они пассивны, действуют по указке элит, которая манипулирует ими с политическими целями, а их культуры и общественные объединения даже там, где они обладают определенной автономией, не играют никакой роли в политике. Следовательно, их народные «протонациональные» связи (странный термин, если учесть совершенное отсутствие связи между ними и последующими нациями или национализмами) являются как бы мертворожденными; у них не может быть никакого политического продолжения, они не могут стать основой для более поздней нации. Только там, где, как в России, существовал миф о святой земле и святом народе, отождествлявшимися с царством, такие протонациональные связи могли стать основой для более поздней нации (Rosdolsky 1964; Hobsbawm 1990: ch. 2; Хобсбаум 1998: гл. 2; ср.: Cherniavsky 1975).

Против такой ограниченной точки зрения имеется множество возражений. Для начала, многие народы, помимо русских (и ирландцев, и тирольцев), питали живые представления о святой земле и избранности королевства и народа. Во Франции такая связь сформировалась уже во Франкском королевстве, а распространение получила при Капетингах. Евреи сохранили наиболее живое чувство своей утраченной святой земли и царства Давида на протяжении всех своих скитаний, как и армяне, греки (под властью турок), амхара, поляки, чехи и шотландцы. Почему же их «протонациональные» связи не могли послужить основой для более поздних наций? Недвусмысленное утверждение Хобсбаума о том, что между средневековыми немецкими этнолингвистическими и политическими узами в Священной Римской империи и со-

временным немецким национализмом или между древнееврейскими политическими (давидовскими, хасмонейскими) и культурными узами — или средневековыми — и современным сионизмом не может быть никакой связи, рассыпается перед лицом множества свидетельств. Во-вторых, почему «святая земля» обязательно должна связываться с царством или государством? У швейцарцев довольно быстро возникла уверенность в своей избранности и святости гор и долин своей конфедерации, но земля и народ могли стать основой для более поздней нации и без воспоминаний о ранней государственности. То же касается валлийцев, довольно быстрое объединение которых произошло лишь в тринадцатом веке, и финнов, чья страна на протяжении многих веков была частью шведского королевства. В-третьих, нации сформировались на основе этнических культур, которые немногим были обязаны народным представлениям о святых землях, не говоря уже о королевствах. Тем не менее, у них появились свои национализмы, и они в конечном итоге добились успеха в борьбе за независимость; так обстояло дело со словенцами, словаками и эстонцами, которые были побеждены и, по-видимому, поглощены более сильными соседями в раннем средневековье, но все же стали сегодня самостоятельными национальными государствами (см.: Armstrong 1982; Im Hof 1991; Brock 1976; Williams 1982; Singleton 1985; Raun 1989).

Возможно, более важно предположение о том, что такая пассивность масс должна дополняться манипуляциями элит, что чувства инертной массы только и ждут того, чтобы элиты пробудили их и направили в определенное русло в соответствии с планом социальной инженерии. Это слишком рационалистический взгляд на человеческое поведение. Помимо признания того, что народные слои сохраняют некоторые давние традиции и верования или же только местные, такое представление не в состоянии объяснить страсть и пыл масс, следующих за националистическими движениями, и часто встречающуюся готовность неграмотных и бедняков на большие жертвы и даже почетную смерть, чтобы защитить свои страны и изгнать деспотов. Достаточно вспом-

нить многочисленные жертвы, принесенные бедными массами в странах, оккупированных державами Оси во время Второй мировой войны — каренами и другими горными народами в Бирме, поляками, чехами и сербами, французами, голландцами и норвежцами — во имя национального освобождения.¹⁰

Эта точка зрения также приписывает элитам больший инструментальный рационализм, чем имеет место в действительности. Конечно, есть много примеров попыток манипулирования чувствами масс, а некоторые из них увенчались успехом, как в известных случаях Тилака и Ганди. Но даже тогда культурная дистанция между элитами и массами была меньшей, чем предполагает данная схема; элитами часто овладевали те же националистические страсти и готовность к идеалистическому самопожертвованию, что и у «масс», которые в конечном итоге и стали основой для появления многих из них. Национализм не стирал классовых различий или антагонизмов, но он, конечно, мог помочь их преодолению в минуты внешней опасности и на время объединить классы во имя общих целей (Nairn 1977: ch. 2; A. D. Smith 1981b).

Все это говорит о том, что Хобсбауму не удалось понять, что народные «протонациональные» связи — это, в сущности, и есть те самые этнические узы, которые он отказался признать основой для формирования нации. Но как только допускается это уравнивание, становится возможным осознание того, почему этничность является столь мощной силой в современном мире и почему столькие нации сформировались — или пытаются сформироваться — на основе доминирующих этнических общностей (*ethnies*) или по крайней мере стремятся достичь такого чувства культурного единства и близости, которое дает этничность. Ибо чувство культурной близости — это то, что связывает различные классы и страты этнической общности и может стать — и часто становилось — основой для возникновения современной нации. Исключая эту связь *a priori*, Хобсбаум не в состоянии дать убедительное объяснение вовлеченности «масс» в нации и национализм.

НАЦИЯ КАК КОНСТРУКЦИЯ?

Стало модно описывать нацию как социальную конструкцию, артефакт культурных инженеров, причем идея «изобретенных традиций» прекрасно вписывается в эту перспективу. Рассматривая нацию как современную конструкцию элит, которые организуют недавно получившие политические права массы в новые системы и сообщества, Хобсбаум в известной степени присоединяется к «постмодернистским» исследованиям политических дискурсов и нарративов. Такой подход вызывает ряд вопросов. Что означает утверждение о том, что нация — это социальная конструкция и состоит главным образом из изобретенных традиций? Почему элиты отдают предпочтение этой специфической конструкции? Почему такой тип дискурса (национализма) вызывает отклик у «масс»?

Отклик появится тогда, как признает Хобсбаум, когда идея нации — причем этой конкретной нации — возымеет и сохранит успех. Хобсбаум не дает никакого объяснения тому, почему национализм был столь успешным. Он отверг точку зрения, опирающуюся на представление о существовавших ранее этнических узах («протонациональные» связи). Единственный оставшийся вариант, функциональные возможности, открываемые нацией для капитализма, является телеологическим и неполным — он не в состоянии объяснить этнический национализм малых народов. Простое признание последнего исторически нерелевантным (или худшим) едва ли способствует делу объяснения.

Однако альтернатива предлагается одним из авторов сборника, выпущенного под редакцией Хобсбаума и Рейнджера. Прис Морган в статье о возрождении валлийской культуры и валлийского национализма говорит, *inter alia*, что возобновление ежегодного фестиваля бардов в Уэльсе с 1789 года, несмотря на недавнее происхождение, было связано с древними фестивалями бардов, которые проводились с 1176 года по шестнадцатый век. Хотя в следующем столетии официальные состязания бардов сошли на нет, их традиции по-пре-

жнему были живы среди народа в восемнадцатом веке, выражаясь в состязаниях в «тавернах» или «альманахах». Именно из этих местных состязаний валлийские культурные националисты в Лондоне узнали о традициях рифмы и размера и сознательно включили их в новые фестивали валлийской поэзии и музыки (Morgan 1983).

Итак, этот и подобные примеры демонстрируют сложные отношения между старыми и новыми культурными традициями, которые упускаются или упрощаются в концепции изобретенных традиций Хобсбаума и Рейнджера. Конечно, верно, как подчеркивает Хобсбаум и его коллеги, что современные элиты и интеллектуалы сознательно отбирают и перерабатывают традиции таким образом, что появляющееся сегодня под старой вывеской весьма отличается от своего первоначального образца. В то же самое время отбор и переработка происходят в строгих рамках, и, я бы сказал, так и *должно* быть, чтобы «изобретенная» традиция была «на волне, на которую публика была готова настроиться», по выражению Хобсбаума. Эти рамки определяются культурой — или культурами — данного народа: его языком, законом, символами, воспоминаниями, мифами, традициями и так далее. Валлийские фестивали бардов и британская церемония коронации, может, и были возрождены и подверглись переработке в девятнадцатом веке, но они включали ряд мотивов и традиций прошлых эпох и более ранних церемоний, и отчасти именно поэтому они вызвали отклик у публики. Назвать их «изобретенными» традициями — значит быть не вполне справедливым по отношению к тому, как реконструировались и по-новому толковались эти и другие церемонии. Возможно, отчасти проблема заключается в самом термине «изобретение», который, среди прочих значений, часто подразумевает конструирование и/или создание *ex nihilo*, от чего с таким трудом удалось отказаться Хобсбауму.¹¹

При рассмотрении наций как состоящих главным образом из «изобретенных традиций», предназначенных для того, чтобы организовывать и направлять энергию недавно вышедших на политическую арену масс, слишком большое зна-

чение придается изобретению и слишком большая роль отводится изобретателям. Страсть, которую нация могла пробудить (особенно в ситуации опасности), жертвы, которых она могла требовать как от «бедных и неграмотных», так и от средних классов, невозможно убедительно объяснить пропагандой политиков и интеллектуалов или ритуалами и pompой массовых церемоний, если, конечно, публика не была уже подготовлена к восприятию пропаганды и церемоний. С трудом верится, что большая часть народа с готовностью отдала бы свои жизни за артефакт или долгое время вводилась в заблуждение пропагандой и ритуалами, если эти ритуалы и пропаганда не выражали и не развивали существовавшие прежде народные чувства, воспринимавшие этническую нацию преимущественно как семью и местность. Проблемы, с которыми столкнулось множество новых государств в Азии и Африке, также говорят о том, что отсутствие существовавших прежде на всей территории государства традиций, мифов, символов и воспоминаний служит серьезным препятствием в процессе национального объединения и что изобретаемые национальные традиции сами по себе не могут — и не в состоянии помочь — элитам выковать национальное сообщество из этнически гетерогенного населения. Там, где такие попытки предпринимались, они, как правило, развивались на основе доминирующей в новом государстве этнической общности (вроде кикуйю в Кении или бирманцев в Бирме), то есть на основе ранее существовавшей культуры доминирующего этнического сообщества, вызывавшей отклик у большинства населения.

Выступая против социального конструктивизма и изобретения как надежных объяснительных категорий, я не собираюсь отрицать множественные попытки «конструирования» и «изобретения». Моя мысль состоит лишь в том, что для того чтобы увенчаться успехом, такие попытки должны основываться на важных социальных и культурных связях, существовавших ранее. Пакистан, как слово и как национальное государство, явно был «изобретен»: слово — студентом в Кембридже, национальное государство — партией Джинны.

Но идея пакистанского государства не имела бы никакой коллективной силы или значения, если бы у массы мусульман в северной Индии не было бы уже живого чувства общего этнического происхождения, основанного на общей религии, которая отличала их от других индусов. В определенном смысле, принимая во внимание интенсивность и географическую концентрацию мусульманских настроений на субконтиненте, было вполне вероятно, что в век широкого распространения политического национализма и совместного отстаивания своих притязаний на свет обязательно должно было появиться нечто вроде Пакистана (см.: Kedourie 1971).¹²

Точно так же польское национальное государство, возникшее в 1918 году, не было ни простым «возрождением», ни «изобретением». Польша, которая стала независимым государством в 1918 году, заметно отличалась от государства полькой знати, духовенства и дворянства, которое утратило свою независимость во время его разделов в конце восемнадцатого века. Но оно и не было совершенно новым образованием. Во многих отношениях оно было связано с прежним польским государством и не в последнюю очередь общими кодами, ритуалами, мифами, ценностями и символами, которые объединяли поляков на протяжении долгого девятнадцатого века их несвободы. В какой-то мере поляки отвечали политическому критерию Хобсбаума (и Гегеля). Как и русские, они продолжали считать себя избранным народом со своим собственным государством на католической земле, хотя впоследствии и лишились собственного королевства. В конечном счете, они всерьез восприняли совет Руссо и сохранили свой язык, обычаи и этническое наследие. Поэтому интеллектуалам и элитам необходимо было рассказать польские воспоминания, символы и мифы в польской поэзии и музыке, тем самым пробудив и усилив народные этнорелигиозные чувства миллионов поляков и таким образом реконструировав и по-новому истолковав польское культурное наследие применительно к современным условиям. Поэтому элемент «изобретения» — там, где он присутствует, — огра-

ничивается политической формой воссоздаваемого и сбивает с толку, когда он применяется по отношению к чувству культурной идентичности, которое составляет предмет новой интерпретации (см.: Halecki 1955; Davies 1982; ср.: Knoll 1993).

ВООБРАЖЕНИЕ НАЦИИ

Две фатальности

Совершенно иное решение проблемы элитарного конструирования и массового отклика в ходе формирования наций предлагается Бенедиктом Андерсоном в его плодотворных и весьма важных «Воображаемых сообществах». Опираясь на то же марксистское наследие, андерсоновский подход к национализму стремится придать особое значение именно тем субъективным и культурным аспектам, которые в исследовании Хобсбаума рассматриваются упрощенно или считаются второстепенными.

Отправная точка для Андерсона — неадекватность марксистской теории в отношении того, что марксисты называют «национальным вопросом». Говоря (в 1983 году) о недавних и, с марксистской точки зрения, приводящих в теоретическое замешательство войнах между считающими себя коммунистическими государствами Вьетнамом, Камбоджей и Китаем, Андерсон-уверенно заявляет, что

«конец эпохи национализма», который так долго пророчили, еще очень и очень далеко. Быть *нацией* — это по сути самая универсальная легитимная ценность в политической жизни нашего времени.

(Anderson 1991: 3; Андерсон 2001: 27)

Именно к этой устойчивой «аномалии», каковую он представляет собой с точки зрения марксистов, хочет обратиться Андерсон, и поэтому он предпочитает рассматривать нации и национализм как особого рода культурные артефакты Но-

вого времени, которые возникли в конце восемнадцатого века. Но вместо того чтобы рассматривать «Национализм с большой буквы» как идеологию, он полагает, что

все станет намного проще, если трактовать его так, как если бы он стоял в одном ряду с «родством» и «религией», а не с «либерализмом» или «фашизмом».

(*ibid.*: 5; *там же*: 30)

В этом духе Андерсон предлагает свое известное определение нации: «это воображенное политическое сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное» (*ibid.*: 6; *там же*: 30). Далее Андерсон объясняет, что нация является воображенной, поскольку ее члены никогда не будут знать большинства своих собратьев по нации, встречаться с ними или даже слышать о них, «в то время как в умах каждого из них живет образ их общности» (*ibid.*: 6; *там же*: 31). Он признает, что все сообщества крупнее деревень, объединенных контактом лицом-к-лицу, — воображаемые, поэтому нацию отличает тот *стиль*, в котором она воображается. То есть она воображается сплоченной, даже если ее границы эластичны, и, следовательно, предполагает признание со стороны других наций. Она воображается суверенной, поскольку в век просвещения и революции нации хотят свободы, а это означает наличие суверенного государства. Она воображается как сообщество, поскольку «нация всегда понимается как глубокое, горизонтальное товарищество» (*ibid.*: 7; *там же*: 32).

Это подводит Андерсона к отправной точке его теории. Он хочет объяснить проблему массового самопожертвования во имя нации, тот факт, что

в конечном счете, именно это братство на протяжении двух последних столетий дает многим миллионам людей возможность не столько убивать, сколько добровольно умирать за такие ограниченные продукты воображения.

(*ibid.*: 7; *там же*: 32)

Именно поэтому, говорит Андерсон, мы должны начать наше объяснение с двух величайших фатальностей человеческого существования: смерти и Вавилона. Смерть несет угрозу забвения. В век без религии мы все чаще обращаемся к последующим поколениям, чтобы сохранить живой нашу память; и коллективная память и солидарность нации помогают нам преодолеть угрозу забвения. Нации характеризуются символами поминовения, особенно могилами Неизвестного солдата. Оставаясь безымянными или неизвестными, эти могилы наполнены «призраками *национального* воображения». Это означает, что национализм, как и религия, всерьез относится к смерти и страданиям, что до известной степени отсутствует в прогрессивных и эволюционных течениях мысли, вроде марксизма и либерализма. Он осуществляет «трансформацию фатальности в преемственность», связывая мертвых и еще не родившихся. Нация прекрасно подходит для этой «секулярной трансформации фатальности в преемственность, а случайности — в смысл» (*ibid.*: 11; *там же*: 35), поскольку нации

всегда как бы выплывают из незапамятного прошлого и, что еще более важно, ускользают в бесконечное будущее. Национализм обладает магическим свойством обрабатывать случай в судьбу.

(*ibid.*: 11–12; *там же*: 35)

Именно поэтому мы действительно сможем понять национализм, лишь связав его «с широкими культурными системами, которые ему предшествовали и из которых — а вместе с тем и в противовес которым — он появился» (*ibid.*: 12; *там же*: 35).

Есть еще одна фатальность, без которой нации и национализм невозможно понять — Вавилон или разнородность языков. Это общее состояние «непоправимой языковой разнородности» не следует смешивать с общим элементом отдельных националистических идеологий, который подчеркивает прирожденную фатальность *конкретных* языков. «Ка-

кие-то конкретные языки могут умирать или стираться с лица земли, но не было и нет возможности всеобщей языковой унификации человечества». И все же, как и смертность, эта лингвистическая разнородность имела лишь очень небольшую политическую значимость, «пока капитализм и печать не создали моноязычные массовые читающие публики». Только тогда нация как воображаемое политическое сообщество стала господствовать над людскими умами и социальной организацией (*ibid.*: 43; *там же*: 66).

Исторические предпосылки

Как это произошло? Если смертность и многообразие языков составляют две великие основополагающие фатальности разнообразного человечества для последующих поколений, то «три основополагающих культурных представления, причем все исключительно древние», должны были подвергнуться коренным преобразованиям прежде, чем нации и национализм стали возможными. В сущности, все три «утратили свою аксиоматическую власть над людскими умами» в начале Нового времени, создав тем самым необходимые условия для возникновения наций и национализма. Ими были: письменный язык религиозных общин, священные высшие монархические центры и космологическое время (*ibid.*: 36; *там же*: 58).

Великие религиозные сообщества ислама, христианского мира и Срединного государства Китая воспринимали себя как необъятные и «как центр мира, посредством священного языка связанный с небесным порядком власти» (*ibid.*: 13; *там же*: 36). Идеограммы их священных языков считались эманациями реальности, а не произвольными знаками; церковный латинский, коранический арабский и экзаменационный китайский были языками истины, стремящимися ассимилировать всякого, а их знатоки, игравшие роль связующего звена между ними и разговорной речью, также были связующим звеном между небом и землей. Несмотря на это, власть и «спонтанная когерентность» этих «великих религи-

озно вообразенных сообществ» начали угасать со времен позднего Средневековья, в значительной степени вследствие освоения европейцами неевропейского мира и постепенного падения статуса самого священного языка в шестнадцатом веке (*ibid.*: 16–19; *там же*: 39–42).

Второй универсальной культурной концепцией была монархия и династическое государство, в котором все организовывалось вокруг высшего центра. Такие государства расширялись за счет войн и политики брачных отношений, которая сплетала их в сложную политическую сеть. Но с семнадцатого века, по крайней мере в Европе, «автоматическая легитимность священной монархии» постепенно приходила в упадок, особенно после Французской революции. Ибо, хотя к 1914 году большинство государств оставалось династическими, более ранний принцип династической легитимности был заменен национальным и в конечном счете народным принципом (*ibid.*: 19–22; *там же*: 42–45).

Последним и, быть может, самым главным культурным представлением, претерпевшим изменения, была досовременная идея времени. В досовременные эпохи у людей «не было никакого представления ни об истории как бесконечной цепочке причин и следствий, ни о непреодолимой пропасти между прошлым и настоящим» (*ibid.*: 23; *там же*: 46). Ранее время рассматривалось как «одновременность прошлого и будущего в мимолетном настоящем», что-то вроде «мессианского времени» у Вальтера Беньямина:

Тем, что явилось на место средневековой концепции одновременности-все-время, было (позаимствуем у Беньямина еще один термин) представление о «гомогенном, пустом времени», в котором одновременность, так сказать, поперечна, перпендикулярна времени, отмечена не предзнаменованием события и его исполнением, а совпадением во времени, и измеряется с помощью часов и календаря.

(*ibid.*: 24; *там же*: 46–47)

Далее Андерсон разъясняет эту новую концепцию поперечного времени со значением, придаваемым выражению «тем временем», путем текстуального анализа современных филиппинских, мексиканских и индонезийских романов, во всех из которых изображается устойчивость конечного социологического сообщества, развивающегося в календарном времени. На страницах этих романов нам предлагают отождествить себя с поступками и чувствами их неизвестных героев и героинь, которые помещены в реалистические, хотя и обобщенные, социальные ландшафты и исторические периоды и которые показаны в ряде разворачивающихся параллельно во времени сцен. Сообщество, показываемое в романе, является воображаемым; тем не менее, оно задано и устойчиво, не только потому, что оно составляет языковую общность, которую представляют читатели, но и потому, что нам очень хорошо знаком его исторический и социальный ландшафт тюрем, школ, магазинов, деревень и монастырей. В одном из таких романов званый ужин обсуждается сотнями безымянных людей, не знающих друг друга, в различных районах Манилы в конкретный месяц, пробуждая в воображении идею сообщества филиппинских читателей (*ibid.*: 26–27; *там же*: 46–47). В другом мы видим героя, который сидит в длинном ротанговом шезлонге, читая газету в пустынном Семаранге, взволнованного статьей о смерти нищего бродяги на обочине; и мы можем разделить его чувства и его возмущение социальным неравенством, которое привело к такой нищете. Андерсон поясняет, что выражение «наш молодой человек», используемое по отношению к безымянному герою, помещает действие и людей в конкретное воображаемое сообщество, сообщество индонезийцев; а также, что «воображаемое сообщество удостоверяется двойственностью нашего чтения о чтении нашего молодого человека» (*ibid.*: 31–32; *там же*: 54–55).

Такая избирательная вымысленность — это всего лишь то, что мы испытываем каждый день, когда читаем газеты, которые представляют собой не что иное как книги, распродаваемые в колоссальных масштабах и называемые Андерсо-

ном «бестселлерами-однодневками». Ибо они с помощью воображения связывают между собой несвязанные события, происходящие во всем мире. Существует два способа: простое календарное совпадение и гарантия того, что они одновременно читаются в определенный момент дня множеством людей, которые принадлежат к одному и тому же обществу тех, кто владеет печатным языком. Больше чем что-либо другое, газеты и их рынок убеждают нас в том, что «воображаемый мир зримо укоренен в повседневной жизни»; а в долгосрочной перспективе они способствуют созданию «замечательной уверенности сообщества в анонимности, которая является краеугольным камнем современных наций» (*ibid.*: 36; *там же*: 58).

Печатные сообщества

Именно изобретение Гуттенберга сделало возможной идею светского воображаемого языкового сообщества, но именно товарный капитализм сделал возможным особый вид такого сообщества, нацию. Массы в большинстве своем были — и остаются — одноязычными. Поэтому необходимость расширять рынки массового товара печатной книги после того, как элитарный рынок литературы на латыни был насыщен, дала капитализму совершенно непредвиденный и революционный вернакуляризирующий толчок. Этому способствовали три фактора. Во-первых, священный язык, латынь, в руках гуманистов, стремившихся возродить наследие классической античности, становилась все более цicerоновской, темной и далекой от повседневной жизни и масс. Вторым и куда более важным фактором было то, что протестантизм умело использовал рынок литературы на народных языках, чтобы склонить на свою сторону массы в войне против папства и монархии. Если печатный капитализм способствовал распространению идей протестантизма, последний все чаще требовал от каждого верующего знания Библии и, следовательно, поощрял грамотность и постижение местных разговорных языков. И третий фактор: определенные диалекты, как

правило, те, что находились в политическом центре, случайно выбирались судами и бюрократами как официальные средства управления и политической централизации еще до шестнадцатого века и таким образом постепенно возводились в ранг неизменных народных языков путем массового обращения печатной продукции, оспаривая господство латыни и сообщества, владеющего ее священным письмом (*ibid.*: 39–42; *там же*: 61–65).

Тем не менее, утверждает Андерсон, ни один из этих факторов сам по себе не является необходимым условием для возникновения наций; скорее,

что в позитивном смысле сделало эти новые сообщества вообразимыми, так это наполовину случайное, но вместе с тем взрывное взаимодействие между системой производства и производственных отношений (капитализмом), технологией коммуникаций (печатью) и фатальностью человеческой языковой разнородности.

(*ibid.*: 42–43; *там же*: 65–66)

Андерсон вынужден подчеркнуть элемент фатальности — смертность и языковую разнородность, — но также и взаимодействие между этими фатальностями и новым способом производства и технологией (*ibid.*: 43; *там же*: 66). Капитализм играл решающую роль в «сборке» печатных языков — в определенных грамматических и синтаксических рамках — из огромного множества родственных местных наречий и диалектов. Возникнув однажды, эти печатные языки по-разному способствовали росту национального сознания: путем создания поля коммуникации, располагавшегося ниже латыни, но выше местных разговорных языков; путем придания языку стандартной формы и тем самым выстраивания образа национальной древности; и, наконец, путем создания новых языков власти в новой культурной иерархии диалектов и языков. Так была подготовлена сцена для глобального распространения идеи нации.¹³

В последующих главах Андерсон конкретизирует эту базо-

вую структуру объяснения, выделяя сущностные элементы всех основных культурных и геоисторических типов национализма. Он подчеркивает, что идея нации становилась предметом «пиратства», попадая в очень разные, подчас неожиданные руки (*ibid.*: 67; *там же*: 89). Таким образом, в Латинской Америке и Северной Америке, которые, по его утверждению, являются самыми ранними примерами национализма, креольские печатники сыграли важную роль в выражении идей нации и республиканизма. Но столь же важными в Латинской Америке были «административные паломничества», совершавшиеся провинциальными чиновниками Испанской империи, циркулирование которых в качестве чиновников создавало ощущение политической обособленности каждой провинции, впрочем, как и сообщества одинаково мыслящих чиновников (*ibid.*: ch. 4; *там же*: гл. 4).

С другой стороны, в Европе решающую роль сыграли история и язык. Вслед за великими открытиями именно массовая мобилизация национализма местной интеллигенции, стремившейся дать описание национальных историй и модернизировать печатные языки при помощи учебников грамматики, словарей и проч., разожгла огонь национального сознания и предложила новые модели нации для пиратского заимствования как на самом континенте, так и за его пределами (*ibid.*: ch. 5; *там же*: гл. 5). И опять-таки, угроза подобной народной языковой мобилизации приводила к имперскому ответу в форме «официальных национализмов» со стороны династических правителей и их бюрократии, особенно в Восточной Европе и Азии (*ibid.*: ch. 6; *там же*: гл. 6). Наконец, последняя волна «колониальных национализмов» в Азии и Африке реагирует на более ранние креольские и местные формы национализма в Европе и Америках, а также на официальные национализмы, беря что-то у каждого из них, в условиях глобального империализма (*ibid.*: ch. 7; *там же*: гл. 7). В каждом из этих случаев конкретные действия и участники одной группы национализмов значительно отличались от конкретных действий и участников других групп,

но в то же самое время все они несли на себе следы обстоятельств общего происхождения, которые способствовали росту числа читающей публики, объединяемой печатным и товарным капитализмом. Следовательно, всякая общая теория должна быть дополнена более подробным историческим и социологическим исследованием обстоятельств в конкретных областях и на конкретных этапах развития культуры.

ВООБРАЖАЕМОЕ СООБЩЕСТВО?

Это оригинальная и новаторская точка зрения на национализм. Несмотря на свое марксистское происхождение, величайшее достижение Андерсона заключается в том, что он дал постмодернистское прочтение нации в рамках модернистской системы. Основное внимание привлекают использованные им концепции воображаемого политического сообщества и печатного капитализма, тогда как его идеи об упадке крупных религиозных сообществ и возникновении линейного времени, лежащие в основе его модернизма, получили меньшее признание. Но, как я докажу, ошибочно отделять эти концепции от более обширной модернистской системы, чтобы предложить постмодернистское толкование позиции Андерсона. В то же самое время подтекст его акцента на узах воображения выводит нас за рамки модернизма и предвещает его распад.

Можно было бы сказать, что идея воображаемого политического сообщества — это наиболее проблематичный аспект в исследовании Андерсона. Что нации, как и любые другие крупные сообщества, являются воображаемыми, это, как замечает Андерсон, довольно обычное представление. Новизна в нем появляется благодаря связи с репрезентацией. То, что воображается, может и должно быть репрезентировано, если ему не суждено остаться в исключительно приватной области ментальных процессов индивида. По Андерсону, «воображение» предполагает скорее «вымысел», нежели «фабрикацию»; в этом духе он говорит о «плодах воображения», включая национальные сообщества и способы их репрезен-

тации в пьесах, романах, музыкальных произведениях и газетах.

Здесь есть ряд сложностей. Первая — семантическая. Термины вроде «изобретения» и «воображения» могут означать различные вещи и обычно используются именно в тех смыслах, от которых Андерсон стремится дистанцироваться: очень легко перейти от «воображаемого» в смысле «вымышленного» к «воображаемому» в смысле «иллюзорного» или «сфабрикованного», тенденция, основанием для которой служат его настойчивые заявления о нации как о культурном артефакте, изображаемом/описываемом другими культурными артефактами (романы и т. д.). В итоге можно прийти к мысли, что, будучи однажды деконструированной, нация должна, видимо, фрагментироваться и распадаться на свои отдельные составляющие и что нация — это всего лишь сумма своих культурных репрезентаций. Как таковая, нация не обладает никакой реальностью, независимой от ее образов и репрезентаций. Но подобная перспектива подрывает социологическую реальность нации, узы преданности и принадлежности, которые ощущаются столькими людьми, и делает неясным как институциональное политическое и территориальное строение наций, так и богатые и общедоступные культурные источники и традиции, которые составляют основу многих наций и наделяют их ощущением осязаемой реальности.¹⁴

Во-вторых, в исследовании Андерсона присутствует проблема интеллектуализма. Андерсон признает, что измененное сознание и социальное изменение сами по себе не могут служить причиной коллективных привязанностей. Он осознает особую «любовь», присущую нации (*ibid.*: 141—143; *там же*: 160—162). В то же самое время его акцент на форме индивидуального познания — воображении — как объяснении роста и распространения национализма отвлекает внимание от коллективных привязанностей и чувств. Как акцент на воображении и воображаемом сообществе позволяет нам осознать силу нации и национализма? «Воображение», конечно, помогает понять, как легко концепция нации *может*

распространяться и пересаживаться на другую почву; но почему она *должна* распространяться и почему пересаживаться должна именно *она* (нация)? Что такого было в нации и условиях жизни стольких людей, что заставляло их *ощущать* связь с нацией и отстаивать свои «национальные» права? Ибо нация, как мы увидим, не только познается или воображается, она также глубоко переживается и изображается.¹⁵

Третья проблема — это проблема волюнтаристского индивидуализма. Андерсон признает, что

будучи как *исторической* фатальностью, так и воображенным через язык сообществом, нация преподносит себя как нечто в одно и то же время открытое и закрытое.

(*ibid.*: 146; *там же*: 164)

Но он утверждает:

Ибо он (указ Сан-Мартина, по которому индейцы, говорившие на языке кечуа, стали называться перуанцами. — *Прим. перев.*) показывает, что первоначально нация усматривалась в общности языка, а не крови, и что человека можно было «пригласить» в воображаемое сообщество.

(*ibid.*: 145; *там же*: 164)

Суть дела в том, что национализм мыслит категориями исторических судеб, тогда как расизму видится вечная зараза.

(*ibid.*: 149; *там же*: 168)¹⁶

Совершенно справедливо, что по сравнению с расизмом национализм носит гораздо более открытый, исторический характер. Но, как подтверждают эти цитаты, основа определения нации у Андерсона является индивидуалистической и волюнтаристской не только потому, что он считает, будто нации в значительной степени воображаются гражданскими сообществами, но потому, что он избирает язык — нечто, что

индивиды могут приобрести, — в качестве основного критерия нации. В его определении язык не упоминается, но подразумевается; более того, индивидуалистический и волюнтаристский характер его определения нации не предполагает иных критериев, вроде этничности, религии или цвета кожи. Это значит, что любое воображаемое сообщество, если оно политическое, конечное и суверенное (будь то город-государство, королевство или даже колониальная империя с единым *lingua franca*), может быть названо его членами нацией. Чтобы служить определением нации, данное определение охватывает слишком широкие политические сообщества.¹⁷

На мой взгляд, в основе этих сложностей лежит чрезмерный акцент на идее нации как нарратива воображения, текста, который можно прочесть, понять и деконструировать при помощи литературных категорий и средств. В итоге причинные объяснения характера и распространенности определенного типа сообщества и движения отодвигаются в сторону или предаются забвению. Многое можно извлечь из культурного анализа при передаче характера и восприятия конкретных социологических сообществ через их литературные описания. Но описание нации почти исключительно в этих терминах с необходимостью приводит к утрате других важных элементов, определяющих понятие и отличающих его от других типов воображаемого сообщества. Национальные сообщества создают большие исторические и языковые нарративы, которые чрезвычайно важны для их выживания и дальнейшего существования. Но помимо них существует много других вещей: символов, мифов, ценностей, воспоминаний, привязанностей, обычаев и традиций, законов, институтов, привычек, — составляющих сложное сообщество нации.

ПЕЧАТНЫЙ КАПИТАЛИЗМ И РЕ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Такой взгляд на нацию, как преимущественно на текст и дискурс, неизбежно наделяет основной причинной ролью тех-

нологии печати и печатный капитализм, не оставляя почти ничего другим формам культурной репрезентации и пренебрегая другими важными факторами роста наций и распространения национализма.

Рост числа читающей публики вследствие распространения печатной продукции на родных языках был особенно важен в различных частях Европы в девятнадцатом веке, особенно при выдвижении на передний край интеллигенции, которая заново открыла и реконструировала прошлое будущих наций. Но было бы ошибкой переоценивать роль печатного слова. Андерсон и сам прекрасно осознает его второстепенную роль в Латинской Америке, и мы можем привести множество примеров из Азии и Африки, где грамотность и, следовательно, сила печатного слова ограничивались очень небольшим слоем определенного населения. Даже в Европе грамотность часто ограничивалась небольшими кружками интеллектуалов аристократии; в войнах Рисорджименто итальянцев участвовало больше, чем умело читать и писать (не считая [тосканского] итальянского). Изображения нации, побуждавшие народ к действию, были устными и визуальными, а не литературными, и заключались в символах, песнях, образах, молве и ритуалах. Именно националисты, придя к власти, стали заниматься обучением своего населения и превращением его в граждан нации. Исследование Андерсона охватывает один из этапов генезиса наций в Европе, но язык и грамотность никогда не играли центральной роли за пределами Европы и часто заменялись в общественном сознании религией, о которой Андерсон говорит удивительно мало.¹⁸

В сущности, за пределами Европы сообщество нации воображалось и изображалось при помощи многих средств, которые, с ростом дешевых технологий, становились доступными большинству населения. Конечно, были и традиционные средства: песни, танцы, костюмы, предметы ритуала, произведения искусства; даже в Европе Гердер отмечал их важность в создании культурной подлинности и народной глубины нации. В отличие от печати, которая долгое время

ограничивалась элитами и отдельными средними слоями общества, они были по-настоящему народными средствами, и создаваемое ими становилось частью повседневной жизни многих людей, к которым мы могли бы добавить пейзажи, памятники, здания, способы захоронения — это наиболее устойчивые элементы коллективных культур, которые составляют их историческое окружение. А в последнее время, как признает Андерсон, печать бы дополнена, а затем и обогащена радио, кассетами, кино и телевидением, которые могут быть доступными широкой аудитории, незнакомой поставщикам памфлетов и романов (*ibid.*: 135; *там же*: 153).¹⁹

Иными словами, хотя дискурсивные сети служат ключом к роли элит при описании нации и распространении национализма, другие культурные средства — от музыки и живописи до радио и телевидения — глубоко затронули и мобилизовали большинство населения, учитывая, что они «говорили» с ним при помощи «языка» и культуры, которые они понимали, и передавали послания мифов и символов, воспоминаний и традиций, которые вызывали отклик у них. Распространив роль культурных средств за рамки относительно ограниченной области печати и прессы, мы можем также преодолеть ограниченность объяснения наций и национализма в терминах «печатных сообществ». Ибо совершенно очевидно, как признает сам Андерсон, что карта мира «печатных сообществ» не соответствует ни одной из недавно возникших наций. Слишком много других факторов препятствует такой четкой согласованности. Именно поэтому Андерсон дополняет свое объяснение процесса возникновения наций в Латинской Америке вследствие деятельности креольских печатников исследованием провинциальных административных «паломничеств» креольских функционеров. И именно поэтому, рассматривая возникновение столь неперспективных национальных государств, как Индонезия, из множества территориальных и этнических групп, Андерсон подчеркивает значение системы образования колониального государства, создающей грамотную и двуязычную интеллигенцию (*ibid.*: 116, 121–130; *там же*: 138, 140–149). Во втором изда-

нии своей книги Андерсон отмечает решающую роль колониального государства и его переписчиков, этнографов и картографов при определении границ наций Юго-Восточной Азии в конце девятнадцатого века (*ibid.*: ch. 10; *там же*: гл. 10).

И все же Андерсон возвращается к своему исходному тезису: хотя язык является инклюзивным средством, «печатный язык, а не партикулярный язык как таковой, изобретает национализм» (*ibid.*: 134; *там же*: 152). Если бы это было так, то можно было бы ожидать, что нации будут соответствовать границам печатных языков. Но поскольку такого не наблюдается, мы не можем отводить основную роль печатному языку и печатному капитализму. Он становится лишь одним из множества других благоприятных условий, особенно в Европе.

МАССОВОЕ САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ

Я уже говорил выше, что в основе концепций воображаемого сообщества и печатного капитализма лежала модернистская историческая конструкция Андерсона. Они могут возникнуть лишь в особых исторических условиях и лишь в определенной последовательности, которая начинается со смертности и языковой разнородности, переходит к священным монархиям и сообществам, объединенным священным письмом, и, наконец, к революции линейного «пустого, гомотогенного времени». Конечно, эти процессы продолжительны и частично совпадают друг с другом, но суть, по Андерсону, заключается в том, что одного без другого невозможно, если вы нуждаетесь в достоверном представлении о нациях и национализме, и особенно о привязанностях, которые делают возможным то, что многие люди охотно принимают нации. Но именно здесь мы сталкиваемся с самой главной трудностью. Мы уже видели, насколько сложно становится объяснить массовое самопожертвование при помощи подхода, который придает особое значение воображению и познанию. Каким образом мы переходим от познания и вообра-

жения нации к ее переживанию и любви к ней? Потому ли, что мы думаем, будто нация не ассоциируется с какой-то корыстью? Андерсон справедливо отмечает, как нация уподобляется семье, а семья на протяжении большей части истории человечества воспринималась как область бескорыстной любви, чистоты и солидарности. Тем не менее, семья вызывает столь сильные привязанности не потому, что она чиста и бескорыстна. Напротив, как очень часто показывает история, семьи имеют серьезные интересы, а их члены столь же горячо этим интересам преданны. Так же и с нацией; именно потому, что мы осознаем, что наши интересы — сами наши идентичности и выживание — тесно связаны с нацией, мы ощущаем такую привязанность к нации и готовы на такие жертвы ради нее, когда она находится в опасности. Отсюда особые страсть и неистовство, которые она вызывает у своих членов, чувство, что нация избавляет нас от смертности или, точнее, забвения, которыми столь явно грозит наша смерть. Своей способностью объединять мертвых, живых и еще не родившихся в единую общность судьбы и своим представлением о мнении потомков национализм дает человечеству светскую версию бессмертия через погруженность в нацию (см.: Mosse 1994).²⁰

В таком случае, понятие нации — это не просто абстракция или изобретение, как часто говорят. Она также переживается, и переживается страстно, как некое весьма реальное и конкретное сообщество, в котором мы можем найти определенную гарантию нашей идентичности и даже — через наших потомков — нашего бессмертия. Но преодоление смерти — это то, к чему разными путями стремились мировые религии; поэтому, можем мы задаться вопросом, не становится ли национализм некой современной светской религией? И разве нынешнее возрождение религии и множество религиозных национализмов не ставят сегодня под сомнение обоснованность и полезность модернистской последовательности, обрамляющей постмодернистские открытия Андерсона? (см.: James 1996).

Так же, как короли и их министры долгое время исполь-

зовали национализм в собственных целях, так и священники и пророки продолжили использовать этнические узы и национализм, а также порождаемые ими страсти для поддержки своей религиозной политики. Было бы слишком просто, если бы великие сообщества религиозного писания пришли в упадок и тем самым освободили место для нации. Ислам в государствах, вроде Пакистана, Малайзии и Ирака, пережил мощное возрождение с одновременным укреплением национальных идентичностей и позиций. Нечто подобное произошло с евреями в Израиле, где сильный ортодоксальный иудаизм упрочивает свои позиции с одновременным усилением израильского национализма. В других случаях, вроде Греции, ортодоксальная религия хотя и подчинена государству, но по-прежнему продолжает определять и укреплять чувство национальной идентичности. Как мы видели, предложенный Юргенсмайером обзор религиозных национализмов обнаруживает чрезвычайную устойчивость этого союза между религией и национализмом с их совместным требованием массового самопожертвования и возможностью дать своим сторонникам своеобразную двойную гарантию выживания – в потомстве и в загробном мире (Marty and Appleby 1991; Juergensmeyer 1993).

Это означает, что модернистская система, используемая Андерсоном, требует глубокого пересмотра, особенно ее склонность к завышенной оценке значения западного опыта; и то же предостережение касается утверждения Андерсона по поводу революционного изменения наших концепций времени. В конечном счете, линейное время, измеряемое часами и календарем, было известно уже в древности (и не только у древних евреев), не говоря уже о средневековье. Мы также можем встретить примеры использования циклического и космогонического времени в современных национализмах, вроде бирманского национализма во главе с У Ну. Но на самом деле вопрос заключается в следующем: существует ли какая-то причинная связь между общепризнанными линейно развивающимися нарративами национализма и растущим принятием линейного, хронологического времени

на Западе? Как могла установиться подобная связь? И каково было ее значение? (Sarkisyanz 1964; Johnson 1995).

Или же рост национализма был скорее результатом этой демократизации религии, благодаря которой всем взрослым мужчинам нужно было слушать, если не читать, Библию с ее священными историями Ветхого Завета и ее посланием общественной свободы и справедливости, помещенным в линейном времени? Согласно Лие Гринфельд, возврат к Ветхому Завету с его мифом этнической избранности ознаменовал собой решающий этап в развитии национализма в Англии в начале Нового времени и, следовательно, национализма в целом — довод, подтверждаемый многими народами, особенно в протестантской традиции, в которой развивались мифы этнической избранности и произошел возврат к линейным ветхозаветным этническим историям. Согласно Майклу Уолцеру, возвращение к библейской истории исхода евреев из Египта сформировало гражданско-политические устремления национально-освободительных движений. Вывод состоит в том, что особые идеи и содержание религиозных и этнических традиций подрывают легитимность и умаляют полезность всей модернистской системы. Точнее, современный капитализм сталкивается в религии с еще одним стойким противником. Лишь более пристально рассматривая эти религиозные мифы, символы и традиции, мы можем надеяться на понимание того, *какие* нации появились и где, и почему в качестве образца социальной и политической организации восторжествовала именно *нация* (Greenfeld 1992, ch. 1; ср.: Walzer 1985).²¹

Все это не отрицает успеха андерсоновского двойного синтеза культурного анализа с по сути марксистской социально-экономической системой и его постмодернистского толкования концепции нации с модернистским исследованием ее генезиса и распространения. Несмотря на всю его новизну, синтез Андерсона успешен лишь отчасти. Постмодернистское прочтение в сочетании с культурным анализом всегда может отойти от модернизма. В руках его последователей так и происходило. Хотя концепция печатного капитализма по-

лучила доброжелательный отклик, именно роль воображения и идея нации как дискурса, который можно детально исследовать и деконструировать, оказались наиболее влиятельными. Эти плодотворные концепции были восприняты и развиты в постмодернистской манере многими теоретиками, черпавшими свое вдохновение из пристрастного прочтения работы Андерсона.

В более продолжительной перспективе роль Андерсона в модернистской теории национализма оказывается обоюдоострой. С одной стороны, позиции модернистской парадигмы укрепились благодаря переносу внимания с ее материалистических версий в плоскость психологии и культуры. С другой стороны, она предоставила, конечно, не специально, средства для отрицания ее основных предпосылок, подрывая онтологический статус нации как реального сообщества, укорененного в исторической и социальной жизни культурных общностей. Таким способом была обойдена необходимость полного структурного объяснения исторических групп наций в противоположность конкретным культурным объяснениям наций, существовавших на различных территориях и в различные исторические эпохи. Для многих постмодернистских авторов, испытавших влияние его позиции, методологическое наследие Андерсона стало не только заменой попыток причинного объяснения литературными и текстовальными исследованиями (то, что он и сам не одобряет), но пожертвованием социологическим исследованием истоков, распространения и следствий национализма ради более описательного и нацеленного на деконструкцию исследования особенностей национальных проектов. Поскольку модернизм и модернистская теория нации были теснейшим образом связаны с социологическим и историческим причинным исследованием истоков, распространения и следствий наций и национализма, возникновение постмодернистских прочтений и методов таких концепций, как «воображаемое сообщество» и «изобретенная традиция», стало свидетельством распада классического модернизма и его замены множеством меньших и более узких «постмодернистских» исследований

нации. К этому этапу распада я вернусь в последней главе. Таков один из нескольких вариантов ответа на кризис модернистской теории наций и национализма, который получил свое развитие в 1980-х годах. Характер этого кризиса и попытки заменить модернизм более жизнеспособными парадигмами и исследованиями составляют предмет второй части моей работы.

ЧАСТЬ II

**КРИТИКИ
И АЛЬТЕРНАТИВЫ**

Модернистская парадигма наций и национализма является наиболее продуктивным и полным из великих нарративов в данной области. К тому же одним из последних. Она возникла в противовес более старым националистическим, или перенниалистским, парадигмам. Но, как и в других областях исследования социальных наук, такого рода всеобъемлющие объяснительные парадигмы все чаще уступали свои позиции ограниченным моделям и объяснениям отдельных, как правило, современных аспектов исследования наций и национализма. Отвечая на конкретные культурные и политические проблемы в конкретных областях жизни, ныне ученые отдают предпочтение объяснению отдельных событий, а не созданию общей концепции, которая полностью охватывала бы последовательность процессов и весь спектр явлений, подпадающих под рубрику «нации и национализм».

Нельзя сказать, что нет никаких альтернативных великих нарративов, никаких конкурирующих парадигм, с позиций которых можно было бы осуществить более или менее радикальную критику модернизма. Как мы увидим, имели место серьезные попытки разоблачения недостатков и преувеличений модернистского великого нарратива и создания альтернативных парадигм наций и национализма. Тем не менее, несмотря на достаточную обоснованность многих критических работ такого рода, предложенным альтернативам до сих пор, как правило, не удавалось получить поддержку большинства исследователей данной области. Кроме того, основные послышки модернизма укоренены настолько, что даже те, кто, стремясь «преодолеть» их, подрывают и фрагментируют эти послышки, скорее отказываются от всяких попыток построения великих теорий, нежели предлагают альтернативу. В результате исследователи сталкиваются с незавидным выбором между неадекватными или ненадежными парадигмами и ря-

дом ограниченных аналитических объяснений отдельных проблем в данной области.

Во второй части я пытаюсь объяснить, как возникла эта неудовлетворительная ситуация. В этой главе я попытаюсь показать, почему неприемлема альтернатива «примордиалистской» и «перенниалистской» парадигм; в следующей главе — почему единственная кажущаяся приемлемой альтернатива должна рассматриваться в значительной мере как критика и развитие модернизма изнутри; и в последней главе — почему более ограниченные исследовательские разработки отдельных проблем не приближают нас к всеобщей теории наций и национализма.

ПРИМОРДИАЛИЗМ I: ИТОГОВАЯ ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ

Старейшей парадигмой наций и национализма, против которой всегда боролся модернизм, является националистическая парадигма. Или, скорее, один из вариантов националистической идеологии, а именно — органический. В 1944 году Ганс Кон провел важное различие между «волюнтаристским» типом национализма, который считает нацию свободным объединением разумных людей, состоящим из входящих в него по своей воле индивидов, и «органическим» типом, рассматривающим нацию как организм, обладающий неизменным и неизгладимым характером, которым его члены наделяются при рождении и от которого они никогда не смогут избавиться. Кон полагал, что первый тип характерен для англо-саксонского мира, тогда как второй вид идеологии типичен для националистических движений к востоку от Рейна (Kohn 1967a).¹

Если отбросить весьма сомнительные географические приложения Кона и оставить только его идеологическое разграничение, то можно заметить, что «органическая» теория, первоначально развивавшаяся немецкими романтиками, дала всеобъемлющую оценку наций и национализма, которая, будь она логически выстроенной, обнаружила бы нерелевантность и ненужность модернистской парадигмы.

Органический национализм считает, что мир состоит из естественных наций и всегда был таким, что нации — это основа истории и основные участники исторической драмы, что нации и их характеры — это организмы, которые легко можно обнаружить вследствие их культурной специфики, что члены наций могут — и часто так и происходит — лишиться своего национального самосознания вместе со своей независимостью, что долг националистов заключается в том, чтобы восстановить это самосознание и независимость, «заново пробудив» органическую нацию (см.: Pearson 1993).²

Ныне для модернистов все эти принципы являются сомнительными, если не неприемлемыми. Мир не состоит из «естественных» наций, если его не делает таковым мышление, а нации нельзя сравнивать с развивающимися организмами; напротив, нации и национальность — это логически и исторически случайные явления. До Нового времени нации были почти неизвестны, а у людей было много различных форм принадлежности; религиозные общины, города, империи и королевства были основными коллективными участниками на более высоком уровне, нежели уровень деревни или прихода, а кругозор большинства людей был исключительно локальным. К тому же не так-то просто определить характер и установить культурную специфику многих наций в современном мире, где существует множество накладывающихся друг на друга идентичностей, опутывающих индивидов. В действительности мы часто встречаем националистов, спорящих между собой о «подлинном» характере их нации. При этом националисты не в состоянии объяснить, почему члены конкретных наций начинают «пренебрегать» своей национальностью, или почему многие нации в течение долгих веков находятся в глубокой «спячке», чтобы затем пробудиться в назначенный час. Может, вне идей и целей национализма никаких наций и не существует, а удостовериться в том, что нация существует, мы можем лишь *ex post facto* из деятельности националистов? Возможно, сами националисты легитимировали свои политические стремления и мобилизую-

щие действия, воспользовавшись метафорой «пробуждения» населения, которое ни на секунду не задумывалось о том, что оно образует отдельную, определенную нацию (см. особенно: Gellner 1983: ch. 5; Геллнер 1991: гл. 5).

Теперь нет ничего особенно странного в том, что идеология с таким поверхностным отношением к логическим и историческим основаниям обладает столь устойчивым влиянием в столь многих частях света. В этом, в сущности, заключается одна из составляющих проблемы национализма. В органическом варианте более важно введение им концептов биологии и «примордиальных» уз национальности, пусть и в зачаточной форме. Обе эти идеи являются составной частью двух общеизвестных направлений критики модернизма. Оба могут быть названы «примордиалистскими»; одно из них по своему характеру является биологическим, а другое — культурным. Однако, за исключением этих отсылок к биологии и культуре, ни одно из «примордиалистских» направлений не имеет или не желает иметь ничего общего с органическим национализмом.

Социобиология закладывает основы первого варианта этой *примордиалистской* критики. Вообще говоря, она утверждает, что этнические группы и нации следует рассматривать как своеобразные расширенные родственные группы и что нации и этнические группы, наряду с «расами», в конечном итоге должны быть результатом особых генетических репродуктивных тенденций. Для Пьера ван ден Берге, главного представителя социобиологического подхода к этничности и национализму, современный характер наций — это совершенно формальная проблема приложения основополагающих структур «итоговой приспособленности» к политическим формам. По его выражению, «само понятие нации — это продолжение родственного отбора», а потому нации следует рассматривать как группы по происхождению, точно так же как и этнические группы. Важно, каким образом потребность индивидов в максимальном расширении своего генофонда и умножении потомства поддерживает родственные группы и тем самым генофонд благодаря расширенным род-

ственным группировкам, то есть «семейственности» и «итоговой приспособленности» (van den Berghe 1978, 1979).

Ван ден Берге утверждает, что человеческая социальность основывается на трех принципах: родственном отборе, взаимности и принуждении. Чем больше и сложнее общество, тем более важными становятся взаимность и принуждение. Но этническая, кастовая и «расовая» принадлежность «обладают тенденцией к приписыванию общего происхождения, как правило, наследственного и часто эндогамного». Поэтому они основываются исключительно на родстве и родственном отборе. Ван ден Берге выводит эти группы из небольших «племен»; связанные узами родства, они сделали «племя по сути сверхсемейством». Именно культурные открытия родства по прямой линии и родовой экзогамии позволили

продлить эту основополагающую модель социальной организации на значительно большие общества, достигающие десятков тысяч человек.

(van den Berghe 1978: 403–404).

Согласно Пьеру ван ден Берге, этнические группы были близкородственными сверхсемействами на протяжении большей части человеческой истории, о чем свидетельствует сохранение четких социальных и территориальных границ с другими этническими группами. Разумеется, общее происхождение «народа» (племени) всегда отчасти было фиктивным из-за миграции, завоеваний и браков с представителями других групп. Но мнимый характер широких родственных уз определенных этнических групп не имеет отношения к делу.

В действительности, как и в меньших родственных единицах, родства зачастую было достаточно для того, чтобы появилась основа для таких сильных чувств, которые мы называем национализмом, трайбализмом, расизмом и этноцентризмом. Легкость и быстрота, с которой эти чувства могут быть мобилизованы даже в современных

индустриальных обществах... слепая жестокость конфликтов, к которым эти чувства могут привести, неприемлемость таких чувств для доводов разума — вот лишь некоторые свидетельства их живучести и примордиальности.

Я утверждаю, что этноцентризм развивался на протяжении миллионов или, по крайней мере, сотен тысяч лет как продолжение родственного отбора.

(*ibid.*: 404)

Согласно ван ден Берге, этнические чувства следует понимать как расширенную и утонченную форму родственного отбора. Именно поэтому этноцентризм является нормой и поэтому

те общества, которые институционализировали нормы семейственности и этноцентризма, имели серьезное селективное преимущество перед теми, которые этого не сделали (допустим, что когда-то так и было), потому что родственный отбор был основным планом животной социальности.

(*ibid.*: 405)

Иными словами, генетическая родственность определяет степень животного — и человеческого — взаимодействия и тем самым повышает приспособленность («итоговая приспособленность»). Но откуда мы знаем, с кем, помимо нашей семьи, и в какой степени связаны мы генетическим родством? Если мы запрограммированы на помощь только тем, кто генетически родственен нам, то каким образом мы опознаем «родство»? Каковы первейшие и надежнейшие признаки предполагаемого общего происхождения? Так будет действовать любой культурный признак, который может провести четкое различие между нами и нашими ближайшими соседями: им может быть язык, религия, обычаи, одежда, прически или манеры либо иная культурная диакритика. Они говорят о том, что люди, обладающие этими культурными

особенностями, происходят от одного и того же прародителя, и что *мифы* общего происхождения связаны с действительным биологическим родством.

Здесь ван ден Берге сталкивается с важным возражением против его теории. Этничность частично определяется мифами об общем происхождении. Но миф — это не биологическая реальность. Следовательно, эта теория несостоятельна. Тем не менее, чтобы был результат, в миф нужно верить; и

в него будут верить, только если члены этнической группы достаточно похожи по своей внешности и культуре, если они жили и заключали браки друг с другом в течение времени, достаточного (три-четыре поколения, как минимум) для того, чтобы миф приобрел необходимую биологическую истинность... Этничность или расу нельзя изобрести или вообразить из ничего. Ею можно манипулировать, ее можно использовать, эксплуатировать, придавать ей особое значение, смешивать и подразделять, но она должна соотноситься с ранее существовавшим населением, связанным между собой преимущественной эндогамией и общим историческим опытом. Этничность *и* примордиальна, *и* инструментальна.

(van den Berghe 1995: 360, выделено автором)

Здесь, по-видимому, мы сталкиваемся с сутью проблемы. Ван ден Берге поставил знак равенства между внешним обликом людей и культурой, между проживающими вместе и имеющими общие мифы и исторический опыт людьми и преимущественной эндогамией. Но отдельные хорошо известные мифы об этническом происхождении предлагают совершенно иную, причем довольно двусмысленную интерпретацию. Римский миф об общем происхождении делал акцент на различных истоках (латины, этруски, сабины и т. д.), а Рим довольно рано стал магнитом для различных культурных народов. Это не помешало развиваться яркому *мифу* (или двум, если быть точным) и вместе с не менее яркими общими истори-

ческими событиями (самнитские войны, галльские вторжения, Пирр и, конечно же, Ганнибал...) получить свое первое литературное выражение (см.: Gruen 1993; Garman 1992). Англичане также развивали красочные мифы об истоках, обращаясь к различным корням – бриттам, англосаксам, датчанам, норманнам – и содержание этих мифов заметно менялось со временем (MacDougall 1982; Mason 1985). То же справедливо в отношении французских мифов о происхождении в средневековье и в Новое время с их знаменитой борьбой между франками и галлами (Poliakov 1974: ch. 1; Поляков 1996: гл. 1; Weber 1991: ch. 1). Если все дело в *действительном* биологическом происхождении и родственном отборе, к чему все эти путанные отсылки и превращения? В свете этих примеров можем ли мы вообще говорить о соответствии приписанного и действительного происхождения? Ван ден Берге допускает, что определения групп всегда были отчасти фиктивными, но считает это обстоятельство несущественным. Однако, как отмечает Вернон Рейнольдс (Reynolds 1980: 311):

Если его примордиальная межгрупповая теория, основанная на социобиологии, не в состоянии объяснить, почему современная негенетическая передача родства и групповой принадлежности должна следовать старой генетической логике, она рассыпается.

Мифы об этническом происхождении, как правило, содержат зерно истины, но обычно развивают, гиперболизируют и идеализируют его в односторонней манере (см.: Tudor 1972; A. D. Smith 1984a).

Ван ден Берге, конечно, справедливо напоминает нам, что существуют пределы этнической пластичности и податливости. Он замечает, что,

невозможно построить этническую общность (*ethnie*) на какой-то иной основе, кроме *правдоподобной* концепции общего происхождения, и концепция только тогда прав-

доподобна, когда она — по крайней мере, частично — соответствует реальности.

Этничность всегда связана с культурными и генетическими границами *происхождения популяции*, то есть популяция ограничивается правилами или практикой *эндогамии*.

(van den Berghe 1988: 256, выделено автором)

Но его генетический и физический вывод из примеров живучести этносов не в состоянии объяснить значительную изменчивость, широкий диапазон и частое поглощение и распад случаев этнического объединения, а также то, что многие этнические общности подверглись масштабным культурным, а в некоторых случаях и демографическим изменениям. Даже в случае таких культурных долгожителей, как греки, где, вне всяких сомнений, очевиден огромный разрыв демографической преемственности вследствие наплыва албанцев и славян на греческие земли с шестого по восьмой век нашей эры и значительное, хотя и не полное, изменение культуры после обращения в православие, возникают сомнения относительно преемственности и воздействия древнегреческого биологического и генетического наследия на современных греков (см.: Just 1989).³

Вообще, нам следует задать вопрос о том, каким образом семейная и клановая лояльность «итоговой приспособленности» может распространяться на членов этнических групп, которые — их число часто достигает многих миллионов — никогда не могут узнать или увидеть своих «этнических родственников», кроме как в воображении и переживании? Не бросаясь в другую крайность и не считая этнические общности — и в еще большей степени нации — совершенно абстрактными сообществами воображения, откуда мы можем *знать*, что наши переживания этнического родства имеют генетическую основу или что семейные и клановые узы могут распространяться вследствие широкой семейственности *на той же физической и репродуктивной основе* на сравнительно незнакомых людей просто потому, что им до-

велось говорить на том же языке и иметь одинаковые религию и обычаи и т. д.? В этом, как мне кажется, заключается основная трудность разнообразных генетических объяснений с позиции отдельных репродуктивных достижений. Отвечая на этот вопрос, пришлось бы прибегнуть к психоаналитическим механизмам «проекции» и «идентификации». Но даже если бы можно было дать достаточно точное описание этих механизмов, то произошел бы сдвиг основы этнического родства их царства чисто физического и генетического к области социального и психологического — как раз к тому, против чего выступает ван ден Берге, — и, следовательно, обращение к альтернативному структурному и/или культурному объяснению, без каких-либо генов и фенотипов; и потому глубокое ощущение «примордиальности» этнической и национальной принадлежности становится скорее исключительно культурным, нежели биологическим явлением.⁴

Следующая сложность социобиологических объяснений заключается в их неспособности исторически разграничить феномены различных уровней значимости, содержательности и сложности. Нации становятся не видно из-за этнических групп, а любые различия между ними сводятся к надстроечной, то есть социополитической и небиологической сфере, делая избыточными любые попытки дать самостоятельное объяснение возникновения наций и национализма. С целью простоты объяснения важные различия между историческими эпохами и областями культуры трактуются как второстепенные или вообще опускаются. Если модернисты настаивают на историческом и социологическом разрыве между аграрной и капиталистической индустриальной эпохами, социобиологические исследования пренебрегают значительными различиями, что в полной мере отвечает их стремлению дать редукционистские объяснения широкого спектра социальных и культурных феноменов. Представление о том, что *индивидуальный* родственный отбор в семьях и кланах медленно — в течение сотен тысячелетий — эволюционировал в ходе перерастания семейственности в этноцентризм и этнические группы, выглядит правдоподобной

догадкой только при условии, что во внимание принимаются все остальные факторы — завоевания, миграции и браки с представителями других групп, которые, с точки зрения ван ден Берге, подрывают раздельность и биологическую «чистоту» расширенных клановых группировок или небольших этнических общностей. В итоге, по мере развития и усложнения обществ и разрушения групповой эндогамии вследствие миграции и браков между представителями различных групп, индивидуальный «родственный отбор» все в большей степени становится рудиментарным фактором, и, чтобы понять влияние и страсть этнических уз и национализма, нам следует обратиться к чему-то еще. Такова отправная точка второй, культурной, версии примордиализма.

ПРИМОРДИАЛИЗМ II: КУЛЬТУРНЫЕ ДАННОСТИ

По мнению многих, страсти, пробуждаемые этничностью и национализмом, должны возводиться к «примордиальности» «культурных данностей» человеческого общества. В сущности, чем более неодолимыми и невыразимыми являются этнические и национальные узы, тем сильнее мы нуждаемся в возвращении к культурной «сущности», лежащей в основе множества форм, принимаемых этничностью и национализмом, чтобы понять их влияние на стольких людей, сохраняющиеся и по сей день.

Эдвард Шилз был первым, кто выделил различные виды социальных уз между членами современных обществ. В частности, он провел различие между публичными, гражданскими узами современного государства и исконными узами семейных, религиозных и этнических групп. Вспоминая дюркгеймовскую аргументацию, с позиций которой сохранение старых родственных, моральных и религиозных уз, соответствующих мнениям и совести в «механической солидарности», даже в современных индустриальных обществах с их более индивидуалистическим и в то же самое время кооперативным и взаимодополняющим разделением труда или «органической солидарностью», Шилз утверждал, что при-

мордиальные узы родства и религии остаются жизненно важными даже в современных светских обществах, о чем свидетельствуют их символы и публичные церемонии (Shils 1957).

Рассмотрением этой темы занимался и Клиффорд Гирц, который использовал эту идею применительно к новым, но часто сохранившим старые общества государствам Азии и Африки. Здесь современные государства образовывались на колониальной территориальной и политической основе, но их население связывали между собой не столько гражданские связи рационального общества, сколько примордиальные узы, которые опираются на язык, традиции, расу, религии и другие культурные данности. По Гирцу, именно этими основополагающими культурными реалиями объяснялись сохраняющиеся влияние этничности и чувство основной приверженности и верности культурным идентичностям, ими созданным.

Гирц начинает с выделения

двух важных, всецело взаимозависимых и тем не менее отличающихся друг от друга и в сущности противоположных мотивов: желания быть признанными в качестве ответственных деятелей, чьи желания, действия, надежды и мнения «имеют значение», и желания построить эффективное, динамичное современное государство. Нужно особо отметить одну из целей, а именно — поиск идентичности и потребность в том, чтобы идентичность была публично признана как имеющая значение в социальном утверждении «я» как «бытия кем-то в мире». Другая цель является практической, а именно — потребность в прогрессе, в повышении уровня жизни, в более эффективном политическом порядке, большей социальной справедливости, а также «определенной роли на международной арене», «оказании влияния на другие нации».

(Geertz 1973: 258)

Гирц утверждает, что, хотя два этих мотива тесно связаны,

они часто противопоставляются, а противоречие между ними является особенно острым и неутрачиваемым в новых государствах Африки и Азии, как вследствие возрастания роли суверенного государства, так и вследствие того, что в «значительной степени самосознание народов» по-прежнему остается связанным с грубыми фактами крови, расы, языка, местности, религии или традиции. Люди в этих полиэтнических государствах «обычно воспринимают окружающее непосредственно, конкретно, и им свойственно находить смысл в таком „естественном“ источнике многообразия, как сущностном содержании собственной индивидуальности» (*ibid.*: 258).

Гирц утверждает, что в том, что касается общества, новые государства необычайно восприимчивы к серьезной неприязни, основывающейся на примордиальных привязанностях. Он поясняет:

Примордиальной привязанностью считается та, которая проистекает из «данностей» — или, точнее, поскольку культура неизбежно связана с такого рода материями, искусственными «данностями» — социального бытия: преимущественно непосредственной близости и родства, но также из данностей, связанных с рождением в конкретной религиозной общине, говорящей на определенном языке или даже диалекте языка и следующей определенным социальным практикам. Эти соответствия крови, речи, традиции и т. д., несут в себе, повидимому, невыразимый, а иногда и подавляющий, принудительный характер. Все *ipso facto* связаны друг с другом родством, соседскими отношениями, верой; в результате с самими узами связывается не просто личная привязанность, практическая необходимость, общая польза или внешние обязательства, но в значительной степени некое непостижимое абсолютное значение. Прочность таких примордиальных связей, а также их типы, которые также важны, различаются у различных людей в различных обществах и в различные эпо-

хи. Но практически для любого человека, в любом обществе, почти всегда определенные связи, по-видимому, вытекают больше из ощущения естественной — кто-то сказал бы духовной — близости, чем из социального взаимодействия.

(*ibid.*: 259—260)

Я столь обстоятельно процитировал знаменитое эссе Клиффорда Гирца 1963 года, потому что оно вызвало жаркие дебаты по поводу понятия «примордиализм». Сам Гирц этим термином не пользуется. Скорее он озабочен непосредственно проблемой того, как объяснить то, что теперь принято называть «субнационализмом» в новых государствах, и в подтверждение своих слов ссылается на искреннее отстаивание Амбедкаром чувства примордиальных уз, переживания того, что все они — «друзья, знакомые и родня», «самосознания рода», но в то же самое время «страстного желания не принадлежать ни к одной другой группе» (*ibid.*: 260).⁵

По Гирцу, неприязнь, основывающаяся на примордиальных чувствах, грозит самому существованию новых государств. Он приводит перечень основных источников таких чувств:

Предполагаемые кровные узы или «квази-родство»; и он дает пояснение:

«Квази», поскольку родственные единицы, образующиеся вокруг известных родственных в биологическом отношении групп (расширенные семьи, кланы и так далее), слишком ничтожны, ибо даже самые консервативные из них придают им более чем ограниченное значение, а потому определяющим должно быть представление о непрослеживаемом, но все же реальном родстве, как это имеет место в случае племени.

(*ibid.*: 261—262)

- раса, которая отсылает скорее к фенотипам, нежели к сколько-нибудь определенному чувству общего происхождения;
- язык, хотя и не всегда служит предметом разногласий, может дать начало лингвизму как основе примордиальных конфликтов;
- территория, которая может приводить к серьезным сложностям в географически гетерогенных областях;
- религия, сила, которая способна разрушить общераспространенное гражданское чувство;
- обычай, который вместе с образом жизни часто противопоставляет сложные группы тем, что рассматриваются ими как более варварские.

Гирц различает внутригосударственные примордиальные привязанности от межгосударственных, которые поощряют соответственно сепаратизм и пан- или ирредентистские движения. С помощью этого различения он выстраивает предварительную классификацию этно-государственных отношений, подчеркивая, что их модели примордиального деления и идентификации «неподвижны, бесформенны и бесконечно разнообразны, но четко разграничены и меняются только определенным образом» (*ibid.*: 268). Затем он говорит о том, что рост современного политического сознания, сосредоточенного на государстве, в действительности стимулирует примордиальные чувства среди всего населения:

Таким образом, сам процесс формирования суверенного гражданского государства, среди прочего, стимулирует чувства местничества, общинности, расизма и т. д., ибо он вносит в общество новый ценный приз, за который можно бороться, и пугающую новую силу, с которой ведется эта борьба.

(*ibid.*: 270)

В этом и состоит «интегративная революция», и это, несомненно, обоюдоострый процесс. Это особенно заметно в новых государствах, где современное рациональное государство стремится объединить различные этнические группы на одной государственной территории, но, как отмечает Гирц в дополнении 1972 года, ту же ситуацию можно наблюдать и в Канаде, Бельгии, Ольстере и других «современных» странах, что делает основной тезис еще более убедительным (*ibid.*: 260–261, note).

ИНСТРУМЕНТАЛИСТСКАЯ КРИТИКА

Доводы Гирца, или по крайней мере их упрощенная версия, вызвали множество критических отзывов. В спорах о формировании политических идентичностей в Южной Азии, особенно в Пакистане, Пол Брасс в своем взвешенном критическом отзыве отвел главное место некоторым недостаткам того, что он назвал «примордиалистским» подходом. Брасс допускает, что люди формируют эмоциональные привязанности, которые сохраняются и во взрослой жизни и которые могут стать основой для образования социальных и политических группировок. Но он утверждает, что некоторые примордиальные привязанности изменчивы. Многие люди говорят на двух языках, меняют свой язык или не думают о языке вообще. Религии тоже подвержены изменениям со стороны реформаторов, а также обращениям и синкретизму. Даже место рождения и родство для многих людей могут утратить свое эмоциональное значение. Массовая миграция лишила многих людей чувства привязанности к месту своего рождения; кроме того, место рождения обычно не имеет политического значения, по крайней мере, не имело его до недавнего времени. Точно так же диапазон по-настоящему родственных отношений слишком узок, чтобы иметь политическое значение.

Фиктивные родственные отношения могут довольно сильно расширить ряд некоторых этнических групп, но

их фиктивный характер по определению предполагает их изменчивость.

(Brass 1979: 37)

И хотя вера в общее происхождение широко распространена среди этнических групп, она не в состоянии охватить все обладающие определенной культурой группы, которые требуют особых привилегий вследствие неких общих культурных особенностей и которых объединяет их привязанность к ним (Brass 1979: 35–37).

Кроме того, есть еще два других довода против примордиалистской точки зрения. Первый – это недоказуемое предположение, что признания существования отдельных примордиальных групп «достаточно для того, чтобы предсказать, что из них в будущем разовьются этнические сообщества или нации», предположение, поддерживавшееся ранними европейскими идеологами национализма. Второе, взятое у Гирца, заключается в том, что

этнические привязанности относятся к нерациональной составляющей человеческой личности и как таковые потенциально опасны для гражданского общества.

(*ibid.*: 38)

Но этнические идентичности можно воспринять или усвоить по вполне рациональным причинам, ради выживания или извлечения выгоды. Что касается примордиальных привязанностей, то еще не доказано, что для гражданского порядка они более опасны, чем классовые конфликты, или в меньшей степени поддаются урегулированию (*ibid.*: 38).

Брасс проводит важное различие между теми этническими группами, которые могут «использовать древнее и богатое культурное наследие, сохраняя его основное содержание», – здесь он ссылается на евреев с их сокровенной талмудической традицией, передаваемой раввинами, – и теми «другими группами, чью внутреннюю культуру опознать труднее, но которые тем не менее сформировали основу для сплю-

ченных, а иногда и успешных этнических и националистических движений», — и здесь он ссылается на стремительный рост этнических политических движений в Соединенных Штатах в последние годы (*ibid.*: 38). Брасс также утверждает, что знание сущности сохраняющегося ядра традиции, скажем, ортодоксального иудаизма или традиционного ислама в Индии,

может оказаться совершенно бесполезным при прогнозировании развития или формы этнических движений от лица данных культурных групп.

(*ibid.*: 39)

Тем не менее, позиции примордиалистов и инструменталистов можно примирить: достаточно признать, что культурные группы отличаются по прочности и богатству их культурных традиций и — что еще более важно — по прочности традиционных институтов и социальных структур (*ibid.*: 40).

Сам Брасс занимает позицию умеренного политического «инструменталиста». Как и Томас Эриксен, он дистанцируется от крайних инструменталистов, для которых культура бесконечно податлива, а элиты свободны выбирать любые аспекты культуры, которые могут послужить их политическим целям или мобилизовать массы. Брасс рассматривает разного рода элиты, выбирая из ряда символов признанных этнических культурных традиций те, что служат объединению их сообществ и мобилизуют их для получения социальной и политической выгоды. Он придает особое значение выгодам, получаемым разного рода элитами и контрэлитами при выборе символа, но соглашается с Фрэнсисом Робинсоном, признавая ограничения, накладываемые на них культурными традициями их сообществ. Конкуренция элит и их последовательный отбор культурных ресурсов приводят к политизации культуры и сдвигу самоопределения сообщества от этнической группы к национальности, конкурирующей с другими на политической арене. Следовательно, мы можем сделать вывод, что именно конкуренция между элитами внут-

ри сообщества и между элитами разных сообществ с многократным символическим отбором мобилизует членов сообществ и оформляет их в сплоченные нации (Brass 1991: ch. 2; ср.: Eriksen 1993).⁶

Если Пол Брасс готов признать крупницу истины в точке зрения примордиалистов на этничность, Джек Эллер и Рид Кохлан предпочли бы обойтись без столь смутной и не имеющей отношения к социологии концепции. С их точки зрения, концепция примордиальности включает в себя три различные идеи:

- 1 «данный» *a priori* первичный характер примордиальных привязанностей, предшествующих всякому социальному взаимодействию;
- 2 их невыразимое, непреодолимое, принудительное качество;
- 3 эмоциональная, аффективная природа примордиальных чувств и привязанностей.

Все вместе, эти три идеи выносят примордиальные привязанности и чувства за рамки области социально сконструированных эмоций и уз (Eller and Coughlan 1993: 187–188).

Затем Эллер и Кохлан пытаются показать, ссылаясь на различные эмпирические исследования, изменчивый и социально сконструированный характер этнических уз, которые постоянно обновляются, переосмысливаются и пересматриваются в соответствии с меняющимися условиями и интересами. В частности, они приводят множество примеров «новых примордиалий», которые были «сконструированы», а не «даны изначально». Они допускают, что в некоторых случаях этничности «определенные прежние реалии и ресурсы были приведены в движение тем, что, возможно, было частью „примордиального наследия“». Но в других случаях соответствующих культурных данностей или «объективных показателей» могло и не быть, и их зачастую могут конструировать дельцы от политики. Далее Эллер и Кохлан критикуют последователей Шилза и Гирца, которые, независи-

мо от их возможных намерений, считают примордиальные привязанности неопиcуемыми и, следовательно, не поддающимися анализу. Но их основные возражения направлены против идеи о том, что примордиальные привязанности являются исключительно эмоциональными, а эмоциональные узы так или иначе присущи самим этническим или родственным отношениям, а не возникают при социальном взаимодействии.

Это ведет к мистификации эмоции, десоциализации феномена, а в крайних случаях может вести к постулированию биологического императива при образовании связей. Иными словами, если связи просто *существуют*, и если у них вообще должен быть какой-то источник, то этот источник должен быть генетическим. Таким образом, социобиологические объяснения странным образом становятся последним оплотом всякой попытки исследования, как, впрочем, и ее тупиком.

(*ibid.*: 192, выделено автором)

Однако не свидетельствует ли все это о глубоко неверном понимании значения и полезности понятия «примордиального» при исследовании этничности и наций? Конечно, согласно Стивену Гросби, понятие «примордиальности» должно иметь дело с *познанием* определенных объектов, которые сопровождаются эмоциями, ошибочно подчеркиваемыми Эллером и Кохланом. Гросби утверждает, что нам следует вернуться к социологической традиции, которая проводит различие между фундаментальными моделями человеческого опыта и признает существование множества направлений человеческой деятельности с особыми представлениями, характерными для каждого отдельного направления; примерами могли бы послужить типы социального действия у Вебера, типовые переменные у Парсонса и Шилза, а также примордиальные, личные, сакральные и гражданские узы у Шилза. Вопреки нынешней редукционистской моде, эта традиция признает значимость различных видов познания или

веры, связанных с разного рода объектами, в данном случае, представлениями относительно происхождения и единой территории (Grosby 1994: 166–167).

Согласно Стивену Гросби, люди воспринимают определенные объекты в качестве примордиальных. В этом заключается акт интерпретативного познания. У людей есть общие исторически меняющиеся модели верований и деятельности, и они всегда действуют осмысленно. «Модели — это наследие истории; они — традиция».

Этнические группы и нации существуют, потому что существуют традиции веры и действия по отношению к примордиальным объектам, таким как биологические черты и особенно территориальное размещение.

(*ibid.*: 168)

Причина, по которой людям важно быть связанными с примордиальными объектами, состоит в том, что

семья, местность и свой «народ» питают, передают и оберегают жизнь. Именно поэтому люди всегда приписывали и продолжают приписывать сакральность примордиальным объектам и привязанностям, формируемых по отношению к ним. В этом заключается одна из причин того, почему люди жертвовали своими жизнями раньше и продолжают жертвовать ими сейчас во имя своей семьи и нации.

(*ibid.*: 169)

Люди всегда испытывали благоговейный трепет перед этими объектами и их властью над жизнью людей и считали их неописуемыми и самодовлеющими. Именно поэтому инструменталистская критика столь глубоко заблуждается, а ее социологический анализ столь поверхностен.

Эти фундаментальные споры имеют для нашей проблемы объяснения наций и национализма, как методологическое, так и теоретическое значение. Несмотря на их заявления об

обратном, в обеих полярных позициях присутствует редукционистская тенденция — попытка объяснить этничность и национальность как инструменты расчетливого эгоизма, либо как коллективные следствия веры в примордиальное. Для инструменталистов, впрочем, как и для примордиалистов, всякое различие между этническими группами и нациями второстепенно и нерелевантно. Инструменталисты стремятся рассматривать этничность и национальность как площадки и ресурсы для коллективной мобилизации преследующими наибольшую выгоду (и часто весьма проникательными) элитами; следовательно, их анализ в значительной степени является волюнтаристским, связанным с элитами и отношениями верхушки и низов. Примордиалисты считают этничность и национальность группами, сформированными на основе проведения различий между своими и чужими в соответствии с примордиальными критериями, то есть верой в дарующие жизнь и возвращающие объекты; следовательно, их анализ тяготеет к культурному детерминизму, хотя в конечном итоге он основывается на постепенно изменяющихся моделях народных верований и восприятий.

Теоретически в спорах между инструменталистами и примордиалистами противопоставляются «выгода» и «эмоции», элитарные стратегии манипулирования культурой и влияние основополагающих культурных делений. Конечно, в крайних случаях социальной инженерии и органического национализма нет места множественности культурных и социальных ориентаций или синтезу мотивов. Но между ними существуют различные точки зрения на преемственность, которые так или иначе приходят к пониманию того, что увидел в этничности Дэниел Белл — ее уникальное сочетание «выгоды» с «эмоциями» и ее закономерное превосходство над другими формами коллективной организации как площадками массовой мобилизации (Bell 1975; ср.: Eriksen 1993: chs 5–6).⁷

На самом деле называть Шилза и Гирца «культурными примордиалистами» было бы серьезной ошибкой. Очевидно же, что их взгляды весьма далеки от генетического примордиа-

лизма социобиологов; говоря о «квази-родстве», Гирц предостережительно подчеркивает «непрослеживаемое, но все же социологически реальное родство» этничности, и делает акцент на том, что реальные биологические родственные единицы слишком малы, чтобы иметь политическое значение. Ни Гирц, ни Шилз не считали примордиальные узы исключительно эмоциональной проблемой; они тщательно ограничили сферу примордиальности и показали, что она была только лишь одним из нескольких источников верований, действий, привязанностей и чувств. В сущности, в своем эссе Гирц заметное место отводит роли современного государства в фактической подпитке верований и чувства примордиальности. При этом они не считали примордиальность присущей самим объектам, а полагали, что она присутствует в ощущениях и эмоциях, этими объектами порождаемых. Гирц в известном пассаже, процитированном выше, говорит об «искусственных „данностях“», соответствиях, которые «несут в себе, *по-видимому*, невыразимый... принудительный характер», «некое непостижимое абсолютное значение, *приписываемое* самим узам», «ощущение естественной... близости» (выделено мной). Интерес вызывает этот язык ощущения и веры, ментального и эмоционального мира живых людей. Гирц подчеркивает значение того, что мы могли бы назвать «„участниками“ примордиализма»; он говорит не о том, что этот мир создан объективной примордиальной реальностью, а о том, что многие из нас *верят* в примордиальные объекты и ощущают их силу (см.: Stack 1986: Introduction).

В этом заключается подлинное понимание такого рода «примордиализма». Здесь также становится видна бедность данных, существующих по проблеме этничности и национализма. Также обращается внимание на яркие ощущения, верования и эмоции, которые способны вдохновлять людей и вызывать у них возбуждение, побуждать их к коллективному действию и самопожертвованию. Показывается, что участники наделяют определенные объекты примордиальными качествами и опираются в некоторых своих действиях на такого рода ощущения и верования. Теория этничности и

национализма, которая не может объяснить власть итоговых уз и их способность воодушевлять и побуждать к самопожертвованию, безотносительно к остальным ее достоинствам, весьма несовершенна в объяснении тех элементов, которые так заметно отличают эти явления от других. Часто оказывается, что инструментальные и социальные конструкционистские модели, создававшиеся для объяснения «политики идентичности» и гражданского национализма в богатых, стабильных демократических странах Запада, не подходят для оценки того, что Майкл Биллиг называет «горячими» национализмами Восточной Европы, бывшего Советского Союза, Азии и Африки. Как речные рыбы, они не в состоянии выжить в бушующих океанах необузданного этнического национализма. В Боснии, на Кавказе, в Индии и на Ближнем Востоке примордиализм «крови и почвы» кажется более уместным.⁸

Но и это было бы ошибкой. Ибо, хотя исследователи культурной примордиальности выдвинули на первый план особые измерения проблем этничности и этнического национализма и показали, что они не поддаются исследованиям, проводимым в соответствии с «инструменталистскими» моделями, их собственное «объяснение» оказывается не более чем занятой тавтологией. Оно состоит в новом — на более высоком уровне анализа — описании конкретных особенностей и измерений этничности и национальности при помощи самых общих, если не суггестивных, понятий. Оно заключается в изоляции особого класса верований, привязанностей и чувств, которые отличаются от других, и демонстрации, как этничность и национальность иллюстрируют их особенности. Хотя это проливает свет на их характер, но все же не позволяет *объяснить* возникновение, развитие и упадок отдельных примеров такого рода явлений.

Кроме того, принятая всерьез концепция примордиальности снимает необходимость во всякой исторической социологии этничности или национализма, даже если отдельные ее сторонники глубоко убеждены в исторической важности этих явлений. Она не придает особого значения

возникновению наций или культурам и идеологиям национализма, и при этом она не дает никаких инструментов для объяснения исторического развития различных форм этнических и национальных привязанностей. Но если культурный примордиализм лишен *объяснительной* силы, то тем, кто занимается изучением примордиальности, следует раскрыть некоторые специфические особенности этнических и национальных явлений, и особенно сильнейший народный примордиализм участников, и тем самым подготовить необходимую отправную точку для более убедительных объяснений.

ПЕРЕННИАЛИЗМ I: ЭТНИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Дебаты между примордиалистами и инструменталистами, которые были описаны здесь в самых общих чертах, в большей степени затрагивали вопросы этничности и этнической идентичности, нежели наций и национализма. Тем не менее, они здесь вполне уместны, ибо соперничающие послышки инструменталистов и примордиалистов затмили и оказали влияние на два основных великих нарратива о нациях и национализме: модернизм и перенниализм.⁹

В прошлом можно было быть уверенным в том, что модернисты были одновременно и инструменталистами (и наоборот), тогда как перенниалисты всегда были в определенном смысле примордиалистами (и наоборот). Но этот простой дуализм отступил перед более сложными сочетаниями. Не все модернисты придерживаются здравого инструментализма, и не все перенниалисты оказываются примордиалистами. Мы можем даже встретить инструменталиста, который в той или иной форме является перенниалистом; хотя обратная ситуация — бескомпромиссный примордиалист, который согласился бы с модернистской позицией относительно наций и национализма, — встречается нечасто. Вместо этого мы сталкиваемся с теоретиками, которые придерживаются перенниалистской точки зрения на этничности (с некоторым примордиалистским оттенком), но соглашаются с мо-

дернистским подходом к нациям и национализму. Здесь я рассмотрю отдельные примеры подобных сочетаний.

Что означает здесь термин «перенниализм»? Вообще говоря, он приписывает исторической древности типа социальной и политической организации, известной как «нация», древний или вечный (*perennial*) характер. С этой точки зрения, между этничностью и национальностью большой разницы нет: нации и этнические сообщества являются родственными, даже тождественными феноменами. Перенниалист с готовностью соглашается с современным характером национализма как политического движения и идеологии, но считает нации либо развитыми версиями древних этнических сообществ, либо коллективными культурными идентичностями, которые существовали наряду с этническими сообществами на всем протяжении человеческой истории. С другой стороны, перенниалисты отказываются считать нации или этнические группы «данностями»; они являются исключительно историческими и социальными, а не естественными феноменами. Как перенниалисты, они не могли согласиться с главной идеей аббата Сийеса, для которого нации были *sui generis*, присутствующей в естественном порядке составляющей основы человеческого и социального существования. Согласно перенниалистам, этническое сообщество или нация — это такое же общественное явление, как и любое другое. В то же время они являются неизменным и фундаментальным свойством человеческого общества на всем протяжении *писаной* истории, а потому нации и этнические сообщества кажутся их членам вечными.

Наиболее ярко такая точка зрения представлена в исследовании Джошуа Фишмана, посвященном этничности и языку в Восточной Европе. Фишман не пользуется языком «культурного примордиализма», хотя многие из его высказываний передают его дух. Вместо этого он хочет показать перенниальный и крайне субъективный характер этничности, рассмотрев ее «изнутри». Критикуя поверхностную либеральную, марксистскую и социологическую клевету и неверное понимание этничности, Фишман дает краткий набросок ис-

тории этничности от греков и евреев и вызывает к духу Гердера не только для того, чтобы подчеркнуть тесную связь между языком и этничностью, но и, в сущности, для того, чтобы показать извечную повсеместность и субъективность немобилизованной этничности как «естественной и в значительной степени бессознательной этничности повседневной жизни». Следуя этой логике, он утверждает, что этничность — это вопрос «бытия», «деятельности» и «знания». Что касается этнического «бытия», то

этничность всегда переживалась как связанное с родством явление, преемственность между собой и теми, кто имеет межпоколенческую связь с общими предками. Этничность отчасти переживается как бытие «кость от кости, плоть от плоти и кровь от крови». Само тело человека рассматривается как выражение этничности, а этничность, как правило, переживается как общность крови, кости и плоти.

(Fishman 1980: 84–85)

Вторя исследованию Гарольда Айзакса, посвященному материальной субстанции этнических уз, Фишман настаивает на том, что этничность необходимо считать «осязаемой, живой реальностью, которая связывает каждого человека непреходящими межпоколенческими узами». Этничность действительно имеет биологическую составляющую, но она выходит далеко за пределы биологического и телесного или «жизненного» измерения. Она также связана с «деятельностью». «„Деятельность“ этничности направлена на сохранение, укрепление и усиление коллективных идентичностей и естественного порядка» и включает такие вербальные проявления, как песни, ритуалы, поговорки и молитвы. В отличие от «бытия», этническая «деятельность» может изменять направленность этничности; она может давать иное толкование и менять направленность прошлого при условии, что это изменение является «подлинным». Этническое «знание», общинная мудрость, также должно быть подлинным и иметь

соответствующие средства выражения. Таким образом, этнические сообщества изменяются, но их изменение и модернизация должны протекать «по-своему» и «соответствовать нашему духу», чтобы внутренняя, глубоко укорененная принадлежность — сам смысл этничности — сохранилась в ходе этих изменений. Действительно, то же глубокое ощущение потребности быть частью сообщества стало основой современных этнических национализмов (*ibid.*: 94; Fishman 1972; ср.: Isaacs 1975; Nash 1989).

Хотя в его языке присутствуют примордиальные, даже квазимистические образы, очевидно, что Джошуа Фишман не разделяет ни редукционизма социобиологии, ни теоретического увлечения примордиальными верованиями и чувствами культурных примордиалистов. Скорее для него важно подчеркнуть силу, долговечность и повсеместную распространенность этничности/национальности, обнаружить ее глубокие корни в истории и душе человека и доказать, что этничность следует рассматривать эмпатически, а не оценивать ее при помощи внешнего критерия «объективной реальности».¹⁰

Однако такое рода анализ вызывает множество вопросов. Для кого именно этничность является осязаемой, живой реальностью? Только ли для этнических лидеров или для этноса в целом? Если для первых, то разве такая этничность не может стать предметом различных и противоречащих друг другу интерпретаций? Если для последнего, то каким образом мы можем проверить их верования и чувства, особенно в досовременные эпохи? И, кроме того, кто может подтвердить подлинность культурной «деятельности» и «знаний» сообщества, и есть ли единый критерий подлинности? Предположив, что многие люди ощущают глубокую потребность в принадлежности к сообществу, и, следовательно, необходимость понимания исследователем верований и чувств членов этнического сообщества, как мы *изнутри* объясним формирование и упадок различных этнических сообществ и наций, последствия массовой миграции и принятия новых этнических идентичностей, влияние межэтнических браков на

чувство принадлежности к сообществу, а также возможность смешанного наследования, билингвизм и принадлежность к двум этносам? Кажется, что исследование Фишмана, фиксируя глубокое ощущение принадлежности к этническому сообществу с яркими воспоминаниями и хорошо описанной историей, не в состоянии будет объяснить проблемы сообществ с более двусмысленным и не столь хорошо описанным прошлым, а также ситуации, когда многие люди переходят из одного этнического сообщества в другое или сочетают культурные черты различных сообществ. Иными словами, исследование в духе Фишмана подходит скорее для относительно устойчивых этнических мозаик и иерархий досовременных эпох, чем, скажем, для множественных, взаимопересекающихся идентификаций и более гибких привязанностей в современных западных обществах с массовой иммиграцией.

При этом в исследованиях, проводимых в духе Фишмана, не содержится никаких попыток специального рассмотрения проблемы наций или национализма. Поскольку нации, по-видимому, приравниваются к этническим сообществам, то ни периодизации национальных феноменов, ни самой такой проблемы не существует. При этом перенниализм не пытается развить идеи «этнической преемственности» и «этнической повторяемости». Казалось бы, этничность (и статус нации) передаются из поколения в поколение, пока есть люди, которые считают ее осязаемой, живой реальностью и сохраняют глубокое чувство принадлежности к сообществу. Фишман ничем не может помочь нам в понимании воздействий завоеваний, колонизации или геноцида на конкретные этнические сообщества или этничность вообще; он предлагает своеобразный «непрерывный перенниализм», благодаря которому нации и этнические сообщества через поколения можно проследить до самых истоков, с соответствующим ощущением их древности.

ПЕРЕННИАЛИЗМ II: ПЕРЕННИАЛЬНАЯ ЭТНИЧНОСТЬ,
СОВРЕМЕННЫЕ НАЦИИ

Схожий этнический перенниализм проповедуется в работах Уокера Коннора. В ряде ярких и оригинальных статей, изданных теперь одной книгой, Коннор доказывает, что национальные узы в основе своей являются психологическими и нерациональными. Они не иррациональны, а просто находятся «по ту сторону разума». По существу, нация

— это группа людей, ощущающая наследственное родство. Она является огромной группой, которая может иметь власть над лояльностью человека благодаря родственным узам; с этой точки зрения, она представляет собой расширенную семью.

(Connor 1994: 202)

Далее Коннор показывает, как националистические лидеры овладели этой идеей и стали ее эксплуатировать, тогда как ученые склонны были путать национализм с патриотизмом, а нацию с государством. Он приводит целый ряд националистических лидеров — от Гитлера и Муссолини до Мао Цзэдуна и Хо Ши Мина, которые для мобилизации своих соотечественников апеллировали к крови и родству. Но, чтобы не быть неправильно понятым, Коннор проводит четкое различие между своей точкой зрения и точкой зрения социобиологов:

Чувство особого происхождения, конечно, не нуждается в соответствии действительной истории и *почти во всех* случаях соответствовать ей *не будет*. Почти все нации — это пестрое потомство множества этнических предков. Разгадка нации не в хронологической или фактической истории, а в восприятии и ощущении истории. Необходимое условие существования нации состоит в том, что ее члены разделяют интуитивную уверенность в особом происхождении и развитии группы.

(*ibid.*: 202)

Наличие непреодолимой этнопсихологической составляющей в нациях и национализме означает, что рациональные объяснения этих явлений всегда упускают суть. Экономические объяснения в терминах модернизации и классовой борьбы или относительной депривации, или политические объяснения в терминах государственной власти и институтов, или теории рационального выбора индивида о стратегических манипуляциях интеллигенции по самой своей природе не в состоянии «отразить эмоциональную глубину национальной идентичности», а также любовь, ненависть и самопожертвование, вдохновляемые ею. И цитируя высказывание Шатобриана о том, что «люди не станут жертвовать собой во имя своих интересов; они станут жертвовать собой во имя своей страсти», Коннор поправляет его: «Люди не станут по своей воле умирать во имя чего-то рационального» (*ibid.*: 206).

По Коннору, есть очевидная разница между патриотизмом и значительно более сильным чувством национализма. Патриотизм — это любовь к своему государству или стране и их институтам; национализм — это любовь к своей нации, сильнейшее чувство к группе по происхождению. Это говорит нам о том, что нация является более развитой формой *этнической группы*. Ибо этничность тоже связана с чувством общего происхождения, как отметил Вебер, когда он писал, что

мы называем этническими группами те человеческие группы, которые разделяют субъективную веру в общее происхождение... Этническая общность отличается от родственной группы как раз существованием предполагаемой идентичности.

(Weber 1968: I, 389, цит. по: Connor 1994: 102)

Коннор отмечает, что Вебер неоднократно говорил о том, что, хотя чувство общего происхождения является общим как для идеи нации, так и для этнической группы, «чувство этнической солидарности само по себе не образует „нацию“». Коннор поясняет анализ Вебера и называет его примеры случаями «донациональных народов или... потенциальных на-

ций». В этих случаях часть этнической группы ощущает низкий уровень солидарности, когда сталкивается с чужеродным элементом; этот тип ксенофобии заключается в осознании того, что в этническом отношении «их *не существует* до тех пор, пока они не узнают о том, что они *существуют*» (Connor 1994: 102–103, выделено автором). Поэтому этническую группу легко могут распознать внешние наблюдатели,

но пока ее члены сами не осознают уникальность группы, она представляет собой всего лишь этническую группу, а не нацию. В то время как этническая группа *может* определяться другими, нация *должна* самоопределяться.

(*ibid.*: 103, выделено автором).

До этого момента Коннор излагает перенниалистскую точку зрения на этничность с некоторым оттенком примордиализма. Этничность — это нерациональная психологическая сущность, чувство наследственного родства, которое, как предполагается, является древним, если не изначальным и, следовательно, примордиальным. Коннор не дает никакого объяснения возникновению этнических групп, кроме как с точки зрения *предполагаемого* родства, которое, по-видимому, является расширением родства реального (но ограниченного и, следовательно, политически незначимого). Но он предлагает объяснение возникновения обладающих самосознанием наций. В сущности, оно оказывается довольно радикальной версией модернизма. Он спрашивает: «Когда появляется нация?» И отвечает: когда большинство населения осознает себя как нацию, то есть когда члены этнических групп начинают осознавать себя таковыми. Это означает, что большинство наций имеет недавнее происхождение,

и утверждать, что какая-то нация существовала до конца девятнадцатого столетия, следует с большой осторожностью.

(Connor 1990: 100)

В конечном счете, национальное сознание — это массовое, а не элитарное явление, и формирование нации — это процесс, а не какой-то случай или событие. Хотя мы не можем знать точно, какая часть населения усвоила национальную идентичность и тем самым заслужила присвоения этнической группе звания нации, есть ряд свидетельств, говорящих о том, что даже в западных демократических государствах этот процесс начался недавно и — даже в Европе — еще не завершился. В подтверждение такой точки зрения Коннор ссылается на нехватку национальной идентификации, проявившуюся на рубеже двадцатого века у иммигрантов в Соединенные Штаты, и вывод Юджина Вебера о том, что большинство населения Франции — «крестьянство» — так и не стало «французами» до начала Первой мировой войны, то есть после того, как оно прошло через систему народного образования и военную службу в Третьей республике. Фактически, предоставление права голоса большинству населения служит хорошей проверкой на способность нации к ассимиляции и, следовательно, национальной идентичности; во всяком случае, даже западные демократические государства не могли называться нациями до начала двадцатого века, когда женщинам и рабочим было предоставлено право голоса (*ibid.*: 98–99).¹¹

Почему именно этот пример? В сущности, на протяжении последних двух столетий представление о том, что правом править наделен *народ*, было серьезной и постоянно растущей политической силой, расшатывающей все прежние политические структуры.

С 1789 года догма о том, что «чужеземное правление является незаконным», заразила этническое сознание народа, став непрерывно расширяющейся моделью.

(Connor 1994: 169)

Итогом стала волна национально-освободительных движений, но лишь с середины двадцатого века этой волне национализма удалось захлестнуть весь мир и периферийные рай-

оны благодаря ускорению развития процессов массовой коммуникации и поддерживаемой государством системе образования. Поэтому этнонациональные движения за освобождение заявили о своих политических притязаниях не только у немцев, поляков, итальянцев и венгров, но и у этнических сообществ в периферийных областях, вроде басков, бретонцев, словенцев и корсиканцев. Действительно, то, что Коннор называет «этнонационализмом», охватило весь мир в результате развития массовых коммуникаций, распространивших идею о том, что народный суверенитет должен сочетаться с этничностью, вместе с «демонстрационным эффектом» успешных этнонационализмов. Итак, хотя модернизация является скорее катализатором, нежели причиной, и более важна для темпов развития, чем для сущности этнонационализма, она весьма способствовала его распространению по всему миру (*ibid.*: 169–174).

Побуждающее к размышлениям исследование Коннора вносит необходимые поправки во все те работы, которые пытались отказаться от социально-психологической и предположительно родственной основы этнических сообществ и национализма. В одной особенно острой статье Коннор демонстрирует ошибочность метода и необоснованный оптимизм эволюционной теории модернизации в свете возрождения во всем мире этнического сепаратизма. Но его справедливая критика теории ассимиляции Дойча может привести к переоценке силы этнического сепаратизма в том, что касается государственного суверенитета и гибкой межгосударственной системы. Его исключительно социально-психологическая оценка этничности в действительности часто пренебрегает богатыми культурными составляющими памяти и символики, используемыми впоследствии националистами. Хотя подход Коннора проливает свет на то, каким образом этнические массы мобилизуются в националистические движения, он, вполне возможно, не так уж и полезен при изучении более стандартизованных национальных чувств национальной идентичности в развитых и устойчивых демократических государствах, где высок уро-

вень иммиграции и браков между людьми разных национальностей.¹²

Модернизм Коннора в том, что касается вопроса о возникновении нации, также вызывает определенные сложности. Как нам измерить протяженность и распространенность коллективного сознания? Коннор также осознает ограниченность имеющихся в нашем распоряжении источников, особенно в отношении досовременных эпох и низших классов. Но должны ли мы полагаться на данные анкет и результаты выборов, чтобы оценить уровень развития нации? Можно ли сказать, что нация «существует» только тогда, когда большинство населения голосует на национальных выборах? По-видимому, такой критерий был бы слишком ограниченным. Предполагается, что, во-первых, нация — это непременно массовое явление, во-вторых, сознание равносильно участию и, в-третьих, по крайней мере в демократических государствах, участие равнозначно голосованию.

Все три допущения могут быть оспорены. Хотя верно, что «современная нация» — это массовое явление, это не более чем занятная тавтология, если, конечно, мы не утверждаем *a priori*, что единственным видом «нации» является «современная нация». Если мы не соглашаемся с таким уравнием, то, возможно, нам следовало бы признать, что в досовременные эпохи существовал тип нации, которая была в большей степени элитарным или характерным для средних слоев общества явлением. Что касается второго допущения, люди могут осознавать или приходить к осознанию чего-либо без участия в этом — взять, к примеру, судебную власть или глобальную систему государств. Кроме того, мы можем ощущать принадлежность к сообществу, не имея возможности участвовать в работе его политических институтов. То есть я имею в виду, что очень многое из того, что произошло в Европе в начале Нового времени, если не ранее, также имело место во многих этнических сообществах во всем мире. Что касается третьего допущения относительно права голоса, даже в демократических странах люди могли бы настаивать на том, что они принадлежат к данной нации, что они францу-

зы или японцы, не имея при этом политических прав. Они могли даже добровольно служить в армии, не имея возможности голосовать за или против войны. Кроме того, существуют и другие способы участия в нации — образование, например, играет наиболее важную роль в формировании как граждан, так и коллективного самосознания.

ПСИХОЛОГИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Похожее сочетание перенниальной этничности с политическим модернизмом можно встретить в прекрасном исследовании межэтнических конфликтов в Африке, Азии и странах Карибского бассейна — «Этнических группах в ситуации конфликта» Дональда Горовитца. Он также связывает этническую принадлежность с родственным чувством. Он пишет в духе Вебера:

Этничность основывается на мифе об общем происхождении, который, как правило, несет в себе черты, считающиеся изначальными. Определенная аскрипция, но не очень серьезная, и выводимое из нее родство неотделимы от понятия этничности.

(Horowitz 1985: 52)

Этничность лучше рассматривать как форму расширенного родства. Язык этничности — это язык родства; оба имеют аскриптивный характер; этнические узы надстраиваются над родственными, а этничность сталкивается с глубокой потребностью «в близком общении и сообществе, в по-семейному тесных узах, в эмоциональной поддержке и взаимопомощи, в заступничестве и разрешении разногласий — во всех потребностях, удовлетворяемых родством, но теперь в большем масштабе» (*ibid.*: 81).

Ссылаясь на Фишмана, Горовитц утверждает, что чувство этнической близости и привязанности основывается на родственных узах и наполняется семейственным чувством. Этничность основывается на родстве, даже если оно вклю-

чает не только «родственников», но также соседей и тех, кто имеет те же культурные особенности. Обретение этнической идентичности возможно вследствие миграции, обращения и брака с представителем другой этнической общности, а этнические группы изменяются в той степени, в какой они готовы принимать в свое лоно чужаков. Тем не менее, большинство людей рождается в этнических группах, поэтому, какими бы ни были другие межгрупповые различия, принадлежность по рождению, в конечном счете, является определяющим элементом этничности (*ibid.*: 57–60, 77–81).

Несомненно, групповые различия и дискриминация распространены почти повсеместно. Горовитц ссылается на эксперименты Генри Таджфела по формированию групп и дискриминации на основе совершенно случайных различий, чтобы показать готовность членов группы пожертвовать экономической выгодой ради позитивной социальной идентичности и относительной групповой выгоды. Но, в отличие от других случайных групп, этнические группы «связывают свои различия с принадлежностью, которая является предположительно аскриптивной, а потому изменяемой с большим трудом или неизменной». Фактически, этнические группы всегда сравнивают себя с другими, а поиск группового достоинства и коллективное чувство самоуважения почти универсальны.

Эта постоянная борьба за относительное групповое достоинство в сравнении с другими значимыми факторами также создает основу для сегодняшних этнических конфликтов (*ibid.*: 141–143). Обычно это выражается в этнических стереотипах, в соответствии с которыми этнические группы оцениваются по степени экономической и культурной «развитости» или «отсталости» в сравнении с (бывшим) колониальным Западом. Подобные этнические классификации в сочетании с суждениями о развитости или отсталости областей, в которых проживают этнические группы, создают основу для широкой и влиятельной типологии сепаратистских (и ирредентистских) движений в полиэтнических государ-

ствах (*ibid.*: ch. 6; Горовитц 2000: 227–231), рассмотренных мною ранее (см.: с. 135–136).¹³

Этнически неоднородные национальные государства характерны для значительной части современной Африки, Азии и стран Карибского бассейна. Они являются результатом грандиозных изменений, вызванных появлением современного колониального государства и капиталистической экономики. Здесь Горовитц делает важное замечание. До возникновения колониализма борьба за относительное групповое достоинство была незначительной по своим масштабам, ограниченной и спорадической. Сегодня огромные территории, включенные в современные колониальные государства и современную денежную экономику, свели в постоянном взаимодействии множество прежде обособленных и изолированных этнических групп и сделали борьбу за относительное групповое достоинство вследствие сравнения этносов куда более интенсивной и широкой, поскольку отныне этнические группы борются за власть над современным государством (*ibid.*: 66–77; ср.: Young 1985).

В отличие от Коннора и Фишмана, Дональд Горовитц делает акцент на влиянии колониализма и его последствиях для полиэтнических государств, созданных им в Азии, Африке и Карибском бассейне, и дает яркое и понятное описание того, как этнические партии стремились извлечь выгоду из новых возможностей, открытых колониализмом, и состязаться на новой политической арене современного территориального государства. В то же самое время Горовитц присоединяется к их перенниалистскому и функционалистскому анализу этничности. Как Фишман и Коннор, Горовитц настаивает на *предполагаемой* родственной основе этничности и ее жизненно важных субъективных составляющих, но любопытно, что в своем исследовании происхождения неоднородного государства он почти ничего не говорит о доколониальных этнических сообществах и конфликтах. Его явный интерес к основным социально-психологическим механизмам этнической идентификации приводит Горовитца к недооценке силы этнических культурных традиций и ре-

лигий в качестве ресурсов как для этнического националистического соперничества, так и для территориального национализма нового государства и доминирующего в нем этнического сообщества. В то же самое время Горовитц дает нам значительно более историческое, структурное и рационалистическое описание этнического конфликта в современном многонациональном государстве, а это вызывает вопрос о том, почему нельзя было подвергнуть такого рода историческому и структурному, если не инструментальному, анализу саму этничность. Хотя на общем уровне его исследование фиктивной (или — лучше — предполагаемой) родственной основы этничности и этногенеза нельзя в чем-то улучшить, остается вопрос, как и почему возникают и приходят в упадок *конкретные* этнические сообщества и идентичности и как его исследование относится к историческим судьбам этих групп. Также непонятно, каким образом этнический конфликт в новых государствах связан с распространением националистических идеологий и формированием *наций и национальных* государств.¹⁴

ДРЕВНЯЯ НАЦИЯ?

Исследования Коннора и Горовитца ставят фундаментальную проблему: каким образом мы можем сочетать перенниалистскую точку зрения на этнические узы с модернистским, историческим подходом к нации, если считается, что нация — это либо форма этнического сообщества, либо в каком-то смысле то, что из него выросло. В таком случае, не является ли нация перенниальной?

Такой точки зрения придерживается Джон Армстронг и некоторые историки. По Армстронгу, такая групповая идентичность, как «нация», — это всего лишь современный эквивалент досовременной этнической идентичности, существовавшей на всем протяжении писаной истории. Армстронг утверждает, что на всем протяжении известной нам истории различие между членами этнического сообщества и чужаками присутствовало во всех языках и служило основой устой-

чивости этнических границ группы. Следуя бартовскому анализу социальной организации и групповых границ, Армстронг считает совокупности восприятий и установок, которые мы называем «этничностью», возникающими и исчезающими на всех этапах истории. Некоторые такие совокупности, опирающиеся на различные мифы и символы, существовали веками и стали основой для возникших позднее «национальных» идентичностей. Армстронг проводит различие между этничностью в досовременные эпохи как устойчивой групповой идентичностью, которая «обычно не играла решающей роли в легитимации государственного устройства», и нациями в националистическую эпоху, «когда сознание этнической идентичности стало преобладающей силой при образовании независимых политических структур» (Armstrong 1982: 4).

Однако он считает, что нации существовали в досовременные эпохи; он говорит о «постепенном зарождении наций в досовременную эпоху» (*ibid.*: 7).

А в другом месте он проводит различие между досовременными нациями до начала националистической эры приблизительно с 1800 года и современными нациями после этой даты, причем сформировавшимися на основе четко выраженной идеологии национализма (Armstrong 1992).

Но, принимая во внимание его бартовский подход, с точки зрения которого этничность поддерживается социальными границами, а не примордиальными привязанностями или предполагаемыми родственными узами, как нам следует понимать перенниализм Армстронга? Считает ли он, что современные нации тесно связаны прежними этническими идентичностями, а в некоторых случаях вырастают из них? Или же он полагает, что этнические идентичности и досовременные нации как периодически повторяющиеся на каждом этапе письменной истории феномены, возникающие и исчезающие, мало чем связаны или не связаны вовсе с современными нациями? Иными словами, подчеркивает ли его версия перенниализма *преемственность* между современными нациями и досовременными этническими группами, или же

она подчеркивает *периодическую повторяемость* этнических и национальных идентичностей при незначительной преемственности или полном ее отсутствии?

В работах Армстронга можно встретить доводы в пользу обеих точек зрения. Но я склонен считать, что он в большей степени придерживается той версии перенниализма, в которой речь идет о «периодической повторяемости», нежели о «преемственности», особенно когда он рассматривает национализм как составную часть длительного цикла этнической идентичности. Конечно, в некоторых случаях имеет место преемственность между современными нациями и до-современными этническими идентичностями, наподобие армянской и еврейской диаспор или французов и русских, но в остальных случаях, отмечает Армстронг, этническая идентичность, несмотря на устойчивость мифов и символов, подвержена процессам возникновения, развития и распада, а потому представляет собой периодически повторяющееся явление. Кажется, что это в значительной мере связано с его феноменологическим подходом, к которому я вернусь в следующей главе.¹⁵

В отличие от Армстронга, многие историки были озабочены поиском доказательств в пользу преемственности отдельных современных наций и до-современных этнических сообществ. В большинстве своем они стоят на позициях «преемственного перенниализма». Такой, конечно, была точка зрения старшего поколения историков, которые под воздействием национализма склонны были усматривать нации и национализм повсюду в античности и в средневековье. Но мы можем наблюдать такого рода «ретроспективный национализм в действии» и во многих современных исторических исследованиях. Так, Брэндон считал зилотов в Римской Иудее партизанами-националистами (понятие, которое можно также распространить и на хасмонейское восстание хасидов под предводительством Иуды Маккавея против Антиоха Эпифана из династии Селевкидов, произошедшее двумя веками ранее); их ответ на римскую оккупацию и угнетение имеет сходство с современными религиозными национализ-

мами, ибо они считали землю Израиля священной землей Господа и собственностью Его народа. В более осторожном исследовании Дорон Мендельс тоже говорит о «древнееврейском национализме» со времен Хасмонеев до Бар-Кохба, но использует этот термин, отождествляя идею национальности в древности с этничностью и отделяя его от современных представлений о нациях и национализме. С этой точки зрения он подходит к различию, гораздо более убедительно проведенному Мозесом Финли по отношению к древним грекам. Никакой греческой политической нации, утверждает Финли, не существовало, поскольку преобладающей политической единицей был *полис*. С другой стороны, у эллинов была широкая культурная организация и общая этническая идентичность (Brandon 1967; Mendels 1992; Finley 1986: ch. 7).¹⁶

С другой стороны, согласно Стивену Гросби, мы с определенными оговорками можем использовать термин «нация» применительно к народу древнего Израиля по крайней мере с седьмого века до н. э. Воспоминания о едином царстве Давида и Соломона, надплеменное представление о «всем Израиле», убежденность в том, что этот народ принадлежит определенной территории «от Дана до Беер-Шебы» и что она принадлежит исключительно ему, и, наконец, вера в то, что земля и народ были освящены соглашением с единым Богом, Яхве, — все эти «составляющие национальности» отделяли Израиль от множества окружающих племенных союзов, городов-государств и империй древнего мира. Гросби утверждает, что Израиль не был одинок в таком развитии; мы сталкиваемся с ним в соседних Моаве, Эдоме и, возможно, в Древнем Египте, тогда как Древняя Греция и Месопотамия оставались либо городами-государствами, либо империями, потому что им не удалось выработать веру в одну землю, населенную одним народом под покровительством «единого бога земли». Следовательно, хотя в новое и новейшее время нации стали широко распространенными и многочисленными, впрочем, как и более четко ограниченными, и обладают преимуществом законного гражданства, идея нации

была известна в досовременные эпохи, и в древнем мире она имела свои религиозные аналоги (Grosby 1991; ср.: Wiseman 1973).

Аргументация Гросби согласуется с его акцентом на культурной примордиальности, рассмотренной нами ранее, однако здесь он сочетает этот теоретический интерес с внимательным изучением Ветхого Завета и других древних свидетельств. Но соответствует ли его употребление термина «нация» тому, в каком смысле оно используется большинством исследователей современных наций? Разве не замена религии гражданством в качестве необходимой составляющей идеи «нации» отделяет его концепцию от концепции «современной нации»? В таком случае, можем ли мы и следует ли нам говорить о «досовременном» и «современном» видах нации и о том, как они соотносились друг с другом? Конечно, для модернистов, вроде Бройи или Геллнера, концепция досовременных наций Гросби почти никак не связана с концепцией современной нации, определяемой гражданством и массовой культурой и образованием. Но Гросби мог бы справедливо заметить, что модернистское употребление термина слишком узко, что оно совершенно произвольным образом исключает членов одного и того же широкого класса, которые обладают множеством схожих черт (именем группы, определенной территорией, мифами и воспоминаниями о происхождении народа, культурным (религиозным) единством), но отличаются в некоторых иных отношениях, вроде законного гражданства и всеобщего образования. Могли ли мы в действительности иметь дело с двумя видами «нации» или, возможно, точнее, с континуумом между полярными типами и частными случаями, занимающими промежуточное положение? Такое представление позволило бы избежать совершенно произвольных исключений, которых в данной области великое множество.

Конечно, такая формулировка неизбежно будет абстрактной. Ей не хватает жизненно важной составляющей — исторического контекста. Предположим, что мы допускаем представление о двух видах нации или преемственности между

ними; разве современный тип не отличается решительным образом от предшествовавших ему как раз историческим контекстом, в котором он сформировался и из которого он получил свое совершенно особое значение, неизвестное миру античности и средневековья и, несомненно, для него непостижимое? Чтобы связать между собой столь различные образования, можно было бы просто в очередной раз прибегнуть к ретроспективному национализму. В конечном счете, разве сами значения используемых нами терминов, которые всегда не до конца учитывают нюансы и сложности исторического развития и общественной жизни, не вытекают из меняющихся контекстов, в которых эти понятия используются, и, следовательно, отражают эти изменения? И разве изменения, которые положили начало современному миру, в большинстве своем не связаны с прежними верованиями и знаниями человека?

Однако необходимо решить вопрос о том, сопровождаются ли радикальные изменения в отдельных сферах истории и общества — например, технологии, коммуникации, экономике и демографии — изменениями в других сферах, вроде культуры, сообщества и коллективной идентичности, и если да, то заставляют ли изменения как таковые считать более современные формы культуры, сообщества и идентичности совершенно отличными от прежних форм и несопоставимыми с ними, или же, напротив, некоторые элементы, вроде родства, памяти и символов, хотя и различаются между собой по своему конкретному содержанию, но все же остаются константами человеческого существования и встречаются в любом историческом контексте. Разумеется, пример Древнего Израиля дает нам повод поразмышлять как о сложностях определения национализма, так и об отношениях между такими человеческими сообществами, как этническая группа или нация, а также историческими контекстами, в которых сформировались верования и привязанности к ним.

В работах исследователей о нациях и национализме часто предлагаются три антиномии: «сущность» нации в противоположность ее сконструированному характеру; древность нации в противоположность ее совсем недавнему возникновению; и культурная основа национализма, противопоставляемая его политическим стремлениям и целям. Данные антиномии присутствуют как в теориях ученых, так и в исторических представлениях и политической деятельности самих националистов; достаточно только вспомнить, насколько глубокое влияние оказали националистические формулы (которые сами по себе весьма различаются) на развитие исторического изучения наций и национализма, а через историков — на весь диапазон рассмотренных нами теорий.

Поскольку к этому имеют отношение историки, серьезные споры велись по поводу второй и третьей антиномии, древности нации и характера национализма в средневековье (и в истории вообще), споры, которые возвращаются к противоречивым воззрениям Генриха Трейчке и Эрнеста Ренана относительно истоков и природы наций, немецкой и французской наций соответственно. В начале двадцатого века в европейской историографии глубокая разделительная линия пролегла между «объективистами», которые подчеркивали роль культуры и в особенности языка в определении и образовании наций, и «субъективистами», согласно которым нации создавались волей народа и политической деятельностью. Одним из результатов этих споров стало то, что с точки зрения «объективистов» нации и национальные чувства можно найти уже в десятом веке, тогда как с точки зрения «субъективистов» они были продуктами восемнадцатого столетия (Renan 1882; Tipton 1972; Guenée 1985: 216–220; Guibernau 1996: ch. 1).

«СТАРЫЕ, НЕПРЕРЫВНЫЕ» НАЦИИ

У этих споров есть и более современные отголоски. Хотя большинство историков согласилось бы с тем, что национализм — идеология и движение в целом — был современным явлением, датируемым, самое раннее, концом восемнадцатого века, по-прежнему имеют место серьезные разногласия относительно древности наций и природы национальных чувств. С точки зрения многих историков, национальные чувства и нации можно обнаружить уже в шестнадцатом веке. Действительно, в монументальном исследовании Лии Гринфельд приводится достаточно литературных свидетельств эпохи, чтобы стать веским доводом в пользу того, что первое проявление национальных чувств и нации в Англии имело место в начале шестнадцатого века — в сущности, это чуть более ранняя датировка, нежели та, которую привел Ганс Кон в отношении английского национализма. Из ее детального и всестороннего исследования становится ясно, что «национализм» означает скорее «национальные чувства», нежели «националистическую идеологию», хотя в начале семнадцатого века в ходе возврата к ветхозаветным идеалам избранности и развития протестантской мартирологии английское национальное чувство стало политическим по своему содержанию и превратилось в совершенно националистическую идеологию, выражавшуюся на языке религии. В теоретическом отношении, утверждает Гринфельд, мы можем говорить о национализме только тогда, когда значительная доля населения начинает отождествлять «нацию» с «народом», то есть со всеми жителями государства, и именно в Англии начала шестнадцатого века, утверждает она, произошло такое слияние, и все население стало считаться «нацией» (Kohn 1940; Greenfeld 1992: Introduction and ch. 1).¹

Генриховская Реформация — это, безусловно, важнейший этап в развитии национального чувства и политической идеологии в Англии, но таким историкам-медиевистам, как Джон Гиллингем и Адриан Гастингс, непонятно, отчего

нельзя отдать предпочтение более раннему периоду, например, четырнадцатому веку, когда английский язык стал общеупотребительным в сфере управления и законодательства, или даже концу англосаксонской Англии, когда возникло раннее национальное государство с общей религией, национальным языком, правительством и определенной территорией. И хотя мы не встречаем явных выражений национализма в эту эпоху, имеются яркие примеры проявления английского национального чувства, например, у выдающегося церковного автора, Эльфрика, разъяснявшего в письме аристократу, для чего он перевел «Книгу Юдифи» на английский язык:

Она изложена по-английски в нашей манере, как пример твоему народу, что он должен защищать свою землю от войск захватчиков с оружием в руках.

(цит. по: Hastings 1997: 42)

Гастингс, вместе с некоторыми другими историками-медиевистами и вопреки модернистским интерпретациям Хобсбаума, Геллнера и Андерсона, утверждает, что без всяких сомнений в Англии и не столь безоговорочно в остальных странах Западной Европы мы можем распознать черты наций и сильных национальных чувств (включая близкое по смыслу современному употребление понятий вроде «нации») по крайней мере со времен позднего средневековья. Уже к одиннадцатому веку

Англия рассматривается в библейских понятиях, нацию следовало защищать, как защищался ветхозаветный Израиль. Наблюдается осознание чувства общности народа, королевства и земли, чего-то, что обычно называлось «Англией», хотя иногда и более величественно — «Британией», сплотивавшего местные проявления лояльности.

(Hastings 1997: 42; ср.: Gillingham 1992)

По Гастингсу, решающим фактором в становлении национального чувства на христианском Западе в действительности оказалась латинская версия Библии, переведенная на народный язык и методично разъяснявшаяся народу.

Библия, кроме того, предлагала в самом Израиле разработанную модель того, что значит быть нацией — единство народа, языка, религии, территории и правительства. Возможно, он был почти ужасающе монолитным идеалом, самой продуктивной из когда-либо существовавших опасных фантазий, но именно он был для читателей Библии очевидным образцом того, какой должна быть нация, зеркалом для воображаемого образа своей нации.

(Hastings 1997: 18)

Гастингс допускает, что протестантизм усилил воздействие израильской модели через распространение ее в переводах Библии на народные языки, а также через «Требник»:

Воздействие этих двух книг на укрепление и преобразование английского сознания невозможно переоценить.

(*ibid.* 1997: 58)

В конце шестнадцатого — начале семнадцатого века многие издания Библии, но в еще большей степени — обязательные еженедельные церковные службы, донесли английский протестантизм практически до каждого, укрепив и переориентировав издавна существовавшее английское национальное чувство. Тогда англичане стали считаться «особым народом», долгое время сражавшимся за независимость — сначала от католической Испании, а затем от католической Франции, и, по словам Мильтона,

разве не избранный перед другими тот народ, от кото-

рого, как с Сиона, идут и разносятся по всей Европе первые вести и трубный глас реформации?

(John Milton: *Areopagitica*, vol. II, цит. по: Hastings 1997: 57; Мильтон 2001: 54)

К началу восемнадцатого века более секуляризированная и политизированная версия такого протестантского национализма распространилась среди элит, хотя после унии с Шотландией чувство «английскости» начало сочетаться с идеями протестантской «британской» нации, направленными против Франции, хотя никогда и не заслонялось ими. Тем не менее, окончательно окрепшие светские политические национализмы, первые примеры геллнеровского «национализма вообще», огромная волна национализмов, которые, по выражению Адриана Гастингса, «дают начало „Эпохе Национализма“» и являются «своеобразным национализмом не первой свежести», вынуждены были дожидаться американской и французской революций, которые провозгласили превосходство «нации», считающейся добровольным политическим объединением «граждан», имеющих общие взгляды и интересы и схожих в культурном отношении (Kohn 1967b; Newman 1987; Colley 1992: ch. 1; Hastings 1997: 28).²

Примеры Англии и Франции послужили лакмусовой бумажкой для проверки древности идеи нации и природы национальных чувств, а также исторической непрерывности отдельных наций. Это выразилось в известном различии, проведенном Хью Сетон-Уотсоном между «старыми, непрерывными» нациями и рационально созданными новыми нациями, теми, что были названы Чарльзом Тилли «спроектированными нациями». Для обоих историков различие связано главным образом с возникновением политического национализма, идеологией и движением. «Старыми, непрерывными» нациями были те, что существовали до 1789 года, задолго до того, как националистические идеологии и движения потребовали и предложили средства для создания национальных государств; «новыми нациями» были те, которые националисты намеревались создать в соответствии со

своими идеологическими планами (Seton-Watson 1977: 6–13; ср.: Tilly 1975: Introduction and Conclusion).³

С точки зрения Хью Сетон-Уотсона, различие это по сути своей является европейским. Он приводит перечень наций, развивавшихся постепенно, и описывает процесс их формирования на протяжении нескольких столетий:

Старыми нациями Европы в 1789 году были на западе — англичане, шотландцы, французы, голландцы, кастильцы и португальцы; на севере — датчане и шведы; и на востоке — венгры, поляки и русские.

(Seton-Watson 1977: 7)

Процесс формирования национальной идентичности и национального сознания у старых наций шел медленно и неприметно. Это был стихийный процесс, не зависевший от чьей-либо воли, хотя, конечно, в некоторых случаях великие события заметно ускоряли его течение.

(*ibid.*: 8)

Новые нации, с другой стороны, сформировались в течение значительно более коротких промежутков времени благодаря деятельности известных лидеров, использовавших письменное слово и современные средства коммуникации. Язык и языковая политика были основными факторами в создании национального сознания у новых наций современной Европы. Экономические и географические причины были более важны при образовании заокеанских наций, имевших европейские корни, тогда как государственные границы, установленные правительствами метрополий, сформировали матрицу прежних колониальных наций значительной части Азии и Африки (*ibid.*: 9).

ДОСОВРЕМЕННЫЕ НАЦИИ?

Повествование Сетон-Уотсона впечатляет своей масштабностью и богатством приводимых им исторических фактов, но

и у него есть свои сложности. Сам Сетон-Уотсон признает неизбежность определенной анахроничности при выделении элементов, полученных в результате исследования новых наций, в формировании национального сознания у старых наций. И он признает невозможность нахождения «научного определения» нации, утверждая, что

нация существует тогда, когда значительное число людей в сообществе считают себя образующими нацию или ведут себя так, как если бы они ее составляли.

(*ibid.*: 5, 11)

Эта формулировка, конечно, полагает не требующим пояснений вопрос не только о количестве людей, которое должно считаться «значительным», но также и о характере «общества», к которому они относятся. На деле, как видно из остальной части его объемной книги, Сетон-Уотсон имеет в виду политически или культурно определенное этническое сообщество; там, где таковое отсутствует, как в большей части Азии и Африки, «нация» создается путем навязывания европейских идей имперскими государственными учреждениями.

Такого рода преемственный перенниализм приводит к фундаментальной сложности. Как отмечает Сьюзен Рейнгольдс, возникает соблазн применить по отношению процессу формирования старых наций допущения современного национализма и в частности идею о том, что «нации — это существующие в истории объективные реальности». Здесь делается телеологический акцент на «предопределенности национального государства». Как замечает Рейнгольдс:

Более серьезное искажение возникает вследствие того, что вера в объективную реальность наций неизбежно отвлекает внимание от себя самой: поскольку нация существует, вера в нее считается не политической теорией, а простым признанием факта. История национализма становится не столько частью истории политичес-

кой мысли, сколько частью исторической географии, тогда как отправной точкой политического развития становится нация с ее национальным характером или национальными особенностями. Это предсуществование нации, таким образом, рассматривается как переход вследствие обретения «национального сознания» к установлению своих законных границ в государстве-нации.

(S. Reynolds 1984: 251, 252–253)

Именно с этой позиции Сьюзен Рейнгольдс оспаривает телеологические построения историков, вроде Сетон-Уотсона, для которого

у истоков длительного процесса, в ходе которого возникли суверенные европейские государства и сформировались нации, стоят крушение Римской империи, попытки восстановить имперскую власть, медленный упадок Возрождения и еще более медленное ослабление его мифологии.

(Seton-Watson 1977: 15)

Согласно Рейнгольдс, такая точка зрения не позволяет нам оценить идеи и чувства раннего (или позднего) средневековья такими, какими они были на самом деле, не устанавливая ретроспективной взаимосвязи

между средневековым «народом» и его королевством, с одной стороны, и современной нацией и ее государством – с другой.

(S. Reynolds 1984: 253)

Чтобы избежать путаницы, Сьюзен Рейнгольдс предлагает использовать прилагательное «монархическое» (*regnal*) вместо «национальное», поскольку средневековое королевство

совпадало с «народом» (*gens, natio, populus*), который, как

считалось, обладал естественной, унаследованной общностью традиций, обычаев, закона и происхождения.

(*ibid.*: 250)

Примерно к 900 году прочно укоренилось представление о народах как общностях традиций, происхождения и правления. Вскоре оно стало связываться с наивысшей формой средневекового правления, королевством, и опираться на генеалогии и мифы о происхождении, которые часто возводились к Энею или Ною авторами от Исидора Севильского в седьмом веке, Фредегера, Ордерика Виталиса и Жоффруа Монмутского вплоть до авторов Арбротской декларации 1320 года (S. Reynolds 1983).⁴

Это означает, что по крайней мере на средневековом Западе *монархическое* сознание, сочетавшее идеи родства и традиции с королевским правлением, определяло «народы» при помощи пространственных характеристик; и хотя Рейнгольдс считает, что термин «этническое» почти всегда соединяет «коннотации происхождения и культуры» (и, следовательно, близок «расовому»), ее представления о «народе» (*gens*) как общности, разделяющей веру в общее происхождение, обычаи и законы и связанной с жителями определенной территории, довольно близки к взглядам перенниалистов на повторяемость субъективной этничности — хотя в ее случае отличие от современных наций и национализма очевидно. У Рейнгольдс, как и у Коннора и Гросби, в центре внимания исследования находятся народные представления, верования и ощущения участников, а не аналитическое рассмотрение референтов этих представлений, ощущений и верований (*ibid.*: 255, особ.: note 8; 256–259).⁵

Но вопрос о том, можем ли мы говорить о преемственности между средневековыми (или античными) этническими или монархическими образованиями и современными нациями, по крайней мере, в ряде случаев, остается открытым. Конечно, для органических националистов поиски «наших настоящих предков» были необходимым условием формирования нации. Даже волюнтаристские политические нацио-

налисты стремились к определенному идеологическому сближению с античным и, желательно, известным образцом для подражания, как, например, французские *патриоты*, обращавшиеся к римским добродетелям и величию, а также к своим «галльским предкам» (Rosenblum 1967: ch. 2; Herbert 1972; Poliakov 1974, ch. 1; Поляков 1996: гл. 1; ср.: Viroli 1995).

Но такого рода органическое предположение навлекло на себя острую критику. Лесли Джонсон, который использует андерсоновское представление о нации как о воображаемом политическом сообществе применительно к средневековому миру, приводит известный пример из введения к каталогу выставки «Сотворение Англии», посвященной англосаксам, в котором автор утверждает, что «англосаксы... были настоящими предками сегодняшних англичан». Поиск «настоящих предков» нации — это составляющая националистического наследия и его озабоченности культурной подлинностью. По существу, он склоняется к принятию того, что нуждается в доказательстве, и устанавливает историческую преемственность, которая, учитывая молчание или путанность исторических источников, в лучшем случае проблематична (Johnson 1995).⁶

Конечно, можно подобрать исторические примеры, в которых возможно установить определенную преемственность между существовавшими ранее этническими общностями (*ethnies*) и современными нациями. Это особенно справедливо в отношении народов, чья идентичность была сформирована и поддерживалась библейской традицией. Армяне и евреи являют собой выдающиеся, но ни в коем случае не единственные примеры. В то же самое время, как отмечает Джон Хатчинсон:

Суть в том, что нельзя выводить из предшествующего существования этнической общности то, что она с необходимостью обладает каким-то каузальным статусом при формировании современных национальных обществ. Соглашаться с этим без эмпирического исследования — значит некритически допускать преемствен-

ность между досовременными этническими и современными национальными идентичностями и впадать в заблуждение *post hoc propter hoc*.

(Hutchinson 1994: 26)

Поэтому необходимы более веские доказательства связей — социальных, культурных, политических — между средневековыми монархическими или этническими образованиями и современными нациями. Неизбежно, что часто такие доказательства получить очень трудно, особенно если оговаривается, что и этничность и национальность *должны* быть массовыми явлениями, и что в средневековом мире, если мы допускаем существование этнических общностей или наций, крестьяне должны сознавать свои этнические и монархические узы.

Но именно с этим и не соглашаются медиевисты. Гастингс, например, утверждает, что

нельзя говорить о том, что для существования нации необходимо, чтобы каждый человек, принадлежащий к ней, желал ее существования или полностью осознал, что она существует; едва ли возможно, чтобы многие люди, не принадлежавшие к правительственным кругам или немногочисленному правящему классу, постоянно верили в это.

В равной степени тот факт, что многие крестьяне слабо ощущали свою принадлежность к нации, едва ли свидетельствует в пользу того, то в начале Нового времени наций в Европе не существовало. Но, разумеется, если бы какое-то общество состояло только лишь из крестьян и знати, трудности были бы весьма значительными.

(Hastings 1997: 26)

Пытаясь опровергнуть доводы Коннора, Геллнера и Хобсбаума, Адриан Гастингс указывает на Францию как на пример

нации, сконцентрировавшейся вокруг Парижа задолго до того, как большинство крестьян смогло заговорить по-французски или осознать, что значило быть французом, как писал Юджин Вебер, и потому, подобно Англии, значительно опередившей «свой» национализм (*ibid.*: 26–27). По Гастингсу, в этом заключается важнейший аспект «историографической схизмы» между модернистами, вроде Хобсбаума, Геллнера, Кедури, Бройи и Андерсона, и их критиками, потому что «ключевая проблема, лежащая в основе нашей схизмы, состоит в дате начала» (наций и национализма) (*ibid.*: 9). Равным образом, конечно, социологическая и политическая схизма и жизненно важная проблема «начала» возвращают нас к конкурирующим понятиям нации и национализма. К этому я еще вернусь.

А пока я хочу сфокусировать внимание на третьей антиномии, противоположности между культурной основой и политическими целями национализма, поскольку это прольет свет как на природу, так и на древность наций.

КУЛЬТУРНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

Согласно Сьюзен Рейнгольдс, связь между территорией королевства (*regnum*) и «народом» означала, что принадлежность к королевству в средневековье всегда имела как политическое, так и культурное содержание. Это опровергает распространенное представление о том, что современный национализм — это просто поздняя политизация исключительно культурных или этнических чувств досовременной эпохи, и что отличительной особенностью современных наций является их суверенность как массовых политических сообществ. В средние века существовало множество изолированных, но политически независимых сообществ или «народов», у каждого из которых был свой правитель. Этим также доказывается несостоятельность отделения чисто культурного от исключительно политического типа национальных (или монархических) чувств. Во всяком случае в средневековье, а также, возможно, в античности, если Мен-

дельс прав, никакой разницы между ними не было (Mendels 1992: ch. 1; Grosby 1991; но ср.: E. Hall 1992).

Однако в современном мире такое разделение куда более реально. Джон Бройи, как мы видели, стремится ограничить употребление термина «национализм» исключительно политическим движением. Эрик Хобсбаум тоже утверждал, что в национализме историков интересуют лишь его политические устремления и особенно его способность создавать государства (Breuilly 1993: Introduction; Hobsbawm 1990: Introduction; Хобсбаум 1998: Введение).

Но, как мы видели, такое словоупотребление является необоснованно узким. Оно не включает другие важные измерения «национализма», например, культуру, идентичность и «родину», и почти не уделяет внимания характеру объекта националистических устремлений, «нации». В итоге имеет место серьезная недооценка масштабов и силы национализма, а также его этнических корней.

Это было отмечено Джоном Хатчинсоном в его новаторском и побуждающем к размышлениям исследовании культурного национализма. Хатчинсон не отрицает значимости «политического национализма, который имеет своей целью автономные государственные институты». Но он полагает, что мы не можем игнорировать повторяемость культурных форм национализма; несмотря на их значительно меньшие масштабы и зачастую переходный характер, мы должны по достоинству оценивать «культурный национализм, который стремится к духовному возрождению сообщества» (Hutchinson 1994: 41). В сущности, часто мы имеем дело с двумя разновидностями национализма, с переменным успехом конкурирующими друг с другом по силе и влиянию; когда политический национализм действует нерешительно и теряет свои силы, культурные националисты как бы перенимают эстафету и пытаются возродить разочарованное и подавленное общество.

В чем именно заключается видение культурного национализма и чем оно отличается от видения политического национализма? Идеалом последнего является

гражданская *полития* образованных граждан, объединяемых общими законами и нравами, подобно *полису* классической древности.

Его цели по сути своей модернистские: гарантировать представительное государство сообществу, чтобы оно могло на равных участвовать в развитии космополитической рационалистической цивилизации.

Напротив, культурные националисты считают государство второстепенным, ибо сущность нации — это ее особая цивилизация, которая является продуктом ее уникальной истории, культуры и географического положения.

(Hutchinson 1987: 12–13, выделено автором)

Для культурных националистов нация — это примордиальное выражение индивидуальности и созидательной силы природы. Подобно семьям, нации — это естественные общности; они развиваются, если можно так выразиться, подобно органическим сущностям и живым личностям. Поэтому цель культурного национализма всегда является объединительной, это

движение духовного возрождения, которое стремится воссоединить различные аспекты нации, возвращаясь к созидательному живительному источнику нации.

(*ibid.*: 14)

Отсюда важность историков, которые заново открывают национальное прошлое и рисуют его судьбу, и художников, которые прославляют национальных героев и осмысливают коллективный опыт народа. Поэтому узкие кружки культурных националистов создают клубы и общества, пишут стихи, выпускают журналы, участвуют в церемониях и пытаются способствовать национальному развитию, занимаясь совместным самосовершенствованием. Популяризируемый учителями и журналистами, культурный национализм может породить

разрозненную сеть обществ по изучению родного языка, театральных кружков, издательств, библиотек, летних школ, сельскохозяйственных кооперативов и политических партий.

(*ibid.*: 16–17)

Под влиянием Гердера этот вид культурного национализма укоренился главным образом в Восточной Европе, например, среди чехов и украинцев середины и конца девятнадцатого века. Также с ним можно столкнуться как среди народов, которые существовали только в качестве этнических категорий, не обладая самосознанием, вроде словаков, словенцев и украинцев, у которых не были развиты этническая память, особые установления или местные элиты, так и среди вполне определенных наций с четкими границами, обладающим самосознанием населением и богатой памятью, вроде греков, сербов и болгар (*ibid.*: 16–17; 21–22).⁷

Хатчинсон делает три вывода из своего исследования динамики культурного национализма. Первый – «важность исторической памяти в процессе образования наций». Второй вывод заключается в том, что «обычно существуют конкурирующие определения нации», а их конкуренция проходит проверку путем проб и ошибок при взаимодействии с другими сообществами. И третий – «центральная роль культурных символов при формировании группы», которые значимы только из-за «своей способности передавать связь с определенной исторической идентичностью» (*ibid.*: 29–30).

Это не означает, что культурный национализм – это регрессивная сила. Он может обращаться к воображаемому славному прошлому, но он отвергает как традиционализм, так и модернизм. Вместо этого культурных националистов следует рассматривать

как духовных новаторов, которые стремятся путем возрождения исторического образа нации отвлечь традиционалистов и модернистов от столкновения и объединить их в задаче построения единого особого и само-

стоятельного сообщества, способного конкурировать в современном мире.

(*ibid.*: 34)

Такие движения периодически повторяются. Они всегда появляются во время кризиса, даже в развитых индустриальных обществах, потому что дают ответ на «глубокое противоречие между мирами религии и науки». Здесь Хатчинсон ставит под сомнение идею Ганса Кона о переходном характере культурного национализма в Восточной Европе как ответе на несовпадение этнических и политических границ и ее социально-экономическую отсталость. Кон утверждал, что с выходом среднего класса на политическую арену в Восточной Европе после 1848 года на смену культурному национализму пришел «рациональный» политический национализм. Но это самое общее допущение, получившее отклик в сегодняшних дебатах о «гражданском» и «этническом» национализме, не в состоянии доказать, что

сохранение влияния исторических религий означает, что никакого окончательного решения этого противоречия (между религией и наукой) не существует.

(*ibid.*: 40)

Поэтому лучше рассматривать

культурный и политический национализм как конкурирующие ответы — коммунитаристский и государственно-ориентированный — на эту проблему. Обычно они действуют с переменным успехом, сменяя друг друга. Часто их действие заключается в усилении, а не ослаблении религиозных чувств.

(*ibid.*: 40–41; Hutchinson 1994: ch. 3; ср.: Kohn 1967a: ch. 7)⁸

Будучи социальным историком, Хатчинсон подкрепляет эту теорию глубоким и детальным исследованием трех национально-культурных «возрождений» в новой истории Ирлан-

дии: «возрождения» интеллектуалов восемнадцатого века, которое завершилось основанием Королевской ирландской академии в 1785 году; романтического археологического и литературного движения начала девятнадцатого века под руководством Джорджа Питри, завершившегося движением «Молодая Ирландия» Томаса Дэвиса; и, наконец, значительно более масштабного гаэльского возрождения 1890-х годов, связанного с Гаэльской лигой, а позднее — с журналами, выпускавшимися Мораном, Райаном и Артуром Гриффитом. Хатчинсон стремится выдвинуть на первый план чередование неудачного политического национализма и возрождающихся культурных движений и причины, по которым культурные движения обращались к интеллигенции, мобильности которой мешали ограничения на право заниматься определенной деятельностью при британском правлении. Объяснение в духе блокированной мобильности и фрустрированных классовых интересов вполне могло бы удовлетворить инструменталиста, озабоченного этническими ответами на проникновение государства. Но исследование Хатчинсона стремится показать, как интересы и потребности отдельных классов и страт, зажатых между религиозной традицией и современной наукой, сходились благодаря историческим представлениям, выводившимся зачастую из памяти и символов далекого прошлого Ирландии, и как эти повторные открытия могли побудить недовольную молодежь к политическому действию (*ibid.*: chs 4–5).

В своем более позднем взвешенном исследовании основных подходов и дебатов в данной области, Хатчинсон дистанцируется от модернистских взглядов, хотя и с одобрением отзываясь об их роли при демонстрации «анахронических европоцентристских и национальных допущений большинства исследований о человеческом прошлом» и «опровержении примордиалистской точки зрения» на нации и национализм (Hutchinson 1994: 37). Согласно Хатчинсону, настойчивое утверждение Уокером Коннором возможности только одной коллективной идентичности неприемлемо. Во все времена большинство людей имело сложные идентично-

сти, и вопрос, который мы должны поставить, звучит так: «приобретали ли национальные идентичности при определенных обстоятельствах первостепенную важность в досовременные эпохи?» (*ibid.*: 12). Это означает, что, с позволения модернистов,

политизированная этничность ни совершенно отсутствует до восемнадцатого века, ни становится всепроникающей после него, но может быть одной из множества идентичностей, которую люди могли принимать наряду с другими. Следовательно, имеет место нежелание признавать, что в отношениях между народами (например, в военном или культурном конфликте) могут присутствовать *второстепенные* факторы, которые могут включать и этничность как политическую и культурную силу в истории человечества.

(*ibid.*: 37, выделено автором)

Если это так, то «досовременная структура этнических групп должна оказывать значительное влияние на формирование современных наций». Иными словами, лидеры и элиты ни в коей мере не являются независимыми от прежних этнических традиций и культур в своих проектах строительства нации, как того требуют от них модернистские инструменталисты. Они сдерживаются верованиями и представлениями о прошлом и культурами определенных сообществ.⁹

Кроме того, по Хатчинсону, память и символы играют важную роль в определении характера и истории нации и в сохранении привязанности многих людей к отдельным нациям. Он справедливо озабочен сохранением за культурой особой роли в образовании нации и убедительно доказывает особый характер политики культурного национализма. Хатчинсон более осторожен в принятии перенниалистских понятий, быть может, потому что он озабочен отказом от любых форм примордиализма и эссенциализма; его признание повторяемости этничности на протяжении истории обоснованно. Но его историческое исследование Ирландии и дру-

гих наций и его акцент на исторической памяти и исторической религии свидетельствуют о неослабевающем интересе к значению процесса «возвращения» к этническому прошлому и к возрождению прежних культурных традиций. Это означает неприятие всякой идеи о том, что нации «изобретены».

Тем не менее, можно утверждать, что Хатчинсон не заходит достаточно далеко; движение назад, от настоящего к (этническому) прошлому, должно быть дополнено движением вперед, от прошлого к (национальному) настоящему, даже если такой метод полон сложностей, причем некоторые из них Хатчинсон прекрасно осознает. Но если мы не попытаемся двинуться дальше из прошлого, чисто эмпирически мы рискуем прочесть прошлое лишь глазами настоящего как продукт потребностей и предрассудков нынешних поколений и элит. Что столь же неудовлетворительно, как и допущение обратного: что прошлое формирует настоящее, тем самым не оставляя места прорыву и чему-то новому.¹⁰

МИФОСИМВОЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

Возврат к прошлому и переход от него к настоящему предполагает отношение и метод, основанные на концепции длительной истории. Это и служит отправной точкой монументального, открывающего новые горизонты исследования Джона Армстронга, посвященного средневековым ближневосточным и европейским цивилизациям и этническим идентичностям, — «Нации до национализма». Его основная задача заключается в том, чтобы исследовать «возникновение интенсивной групповой идентификации, которую мы сегодня называем „нацией“», и его основная посылка состоит в том, что «ключом к значению феномена этнической идентификации является неизменность, а не генезис отдельных моделей». По этой причине,

многовековое временное измерение (наподобие большой длительности [*longue durée*], выделяемой француз-

ской исторической школой Анналов) необходимо для выведения независимых этнических опытов из-под действия диффузии и мимесиса. Протяженная временная перспектива особенно важна как средство осмысления современного национализма в качестве составляющей цикла этнического сознания. Поскольку эпоха абсолютизма, непосредственно предшествовавшего европейскому национализму, привела, по крайней мере, элиты, к особенно сильному неприятию этнической дифференциации, национализм часто считают чем-то совершенно беспрецедентным. Более внимательное рассмотрение показывает, что широко распространенная сильная этническая идентификация, хотя и выражающаяся в иных формах, периодически повторяется.

(Armstrong 1982: 4)

Здесь совершенно очевидно, что, как мы видели ранее, понятия «этническое» и «нация» образуют определенную преемственность и что значение имеет не форма, которую они принимают в различные эпохи, а сами устойчивые групповые восприятия и чувства. Хотя досовременные устойчивые групповые идентичности — неважно, называют их «этническими» или «национальными» — отличаются от «наций», возникших после конца восемнадцатого века, «у которых сознание этнической идентичности стало основной силой при формировании независимых политических структур», основное содержание книги Армстронга говорит о том, что он считает этничность и статус нации преемственными, даже если именно этнические идентичности составляют предмет его исследования.¹¹

Отправная точка Армстронга — этническое исключение, граница между «нами» и «ними» и универсальное сопоставление с «чужаком».

Понятия, наподобие «гоев», «варваров» и «немцев», целиком подразумевают определенное ощущение человеческой неполноценности людей, которые не способны

были общаться в группе, состоявшей исключительно из «настоящих людей».

(*ibid.*: 5)

Именно из-за универсальности этнической оппозиции Джон Армстронг считает граничный подход Фредрика Барта многое разъясняющим. Поскольку прежние подходы к этничности отталкивались от уникальных культурных особенностей каждой группы, антропологическая модель Барта ставит в центр внимания взаимодействие и восприятие членов социальной группы, которая определяется теперь не некой культурной «сущностью», а скорее тем, как она сама воспринимает свои собственные границы. По Барту, этничность — это социально определенный тип категории и то, что приписывается людям как другими, так и ими самими же. По словам самого Барта:

Категориальная аскрипция — это этническая аскрипция, когда она классифицирует человека с позиций его основополагающей, наиболее общей идентичности, предположительно определяемой его происхождением и окружением. В той степени, в которой участники используют этнические идентичности, чтобы категоризировать себя самих и других с целью взаимодействия, они образуют этнические группы в этом организационном смысле.

(Barth 1969: 14)

Если этническая преемственность зависит от аскрипции и поддержания социальной границы, то культурные особенности, которые обозначают границу, могут со временем меняться, как могут меняться культурные характеристики ее членов.

С этой точки зрения, в центр внимания попадает этническая граница, определяющая группу, а не культурное содержание, в ней заключенное.

(Barth 1969: 15)¹²

С точки зрения Армстронга, это означает, что мы не можем вполне определенно разделить «этнический» тип группы от остальных типов.

Граничный подход четко предполагает, что этничность — это узел меняющихся взаимодействий, а не нуклеарный компонент социальной организации.

(Armstrong 1982: 6)

Мы также должны отказаться от представления о том, что всякое этническое сообщество занимает определенную территорию, а это в свою очередь означает, что этничность — это составная часть континуума социальных общностей, в особенности классов и религиозных общин. Хотя у каждого из этих типов сообщества есть свои определенные цели и задачи, в продолжительной временной перспективе все они могут превращаться друг в друга. Разграничение между классом и этничностью острее, но и сложнее в определении, чем разграничение между религией и этничностью. Однако сами по себе низшие классы редко образуют этнические общности, им недостает элиты, обладающей необходимыми навыками общения и ведения переговоров, и потому они не в состоянии сохранять особую идентичность в рамках более крупной формы организации (*ibid.*: 6–7).

По Джону Армстронгу, как и по Барту, символы важны для сохранения этнической идентификации, потому что они действуют как «пограничники», отличающие «нас» от «них». Но символы, например, слова, играют роль сигналов как для чужаков извне, так и для членов группы, а потому символическое взаимодействие — это всегда тип коммуникации с символами в качестве содержания и коммуникацией в качестве средства, при помощи которого они становятся действенными. Содержание символов, таких как лингвистические «пограничники», часто устанавливается поколениями задолго до того, как они начинают действовать как опознавательные знаки для членов группы; именно поэтому «этническая символическая коммуникация — это коммуникация

большой длительности (*longue durée*) между мертвыми и живыми» (*ibid.*: 8).

Легитимирующие мифы важны не меньше, чем символы. Символы обычно сохраняются, потому что они включены в мифическую структуру, а в течение длительных периодов времени

легитимирующая сила индивидуальных мифических структур тяготеет к расширению посредством слияния с другими мифами в «движущий миф» (*mithomoteur*), определяющий идентичность по отношению к конкретной организационной форме.

(*ibid.*: 8–9)

Изложение мифов может вызывать у членов группы глубокое осознание их «общей судьбы», обозначающее степень, в которой событие

пробуждает глубокое чувство, подчеркивая сплоченность индивидов перед внешней силой, то есть усиливая особенности восприятия границы.

(*ibid.*: 9)

ОСНОВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЦИИ

Миф, символ и коммуникация, кроме того, являются тремя основными составляющими в любых попытках проанализировать устойчивость этнических идентичностей в досовременные эпохи. Невозможно, утверждает Армстронг, предложить одну единственную последовательную теорию этногенеза и — шире — этнической и национальной идентичности, кроме как на совершенно абстрактном и самом общем уровне. Вместо этого мы можем лишь изолировать периодически повторяющиеся культурные, социальные, политические и экономические факторы и попытаться построить картину моделей влияний, которая была бы связана с ростом и сохранением таких коллективных культурных идентичностей,

развивающихся от широчайших и наиболее длительных к самым ограниченным и непосредственным. Здесь я могу в самом общем виде подытожить основные идеи аргументации Армстронга.

Возможно, самый важный из всех факторов, но также и наиболее общий, а потому нечеткий, связан с различными образами жизни. И самое замечательное здесь — это не материальные признаки, а ментальные установки. Из них наиболее важна — во всех своих проявлениях — ностальгия, определяемая как «устойчивый образ лучшей жизни в далеком прошлом» (*ibid.*: 16). Исторически значимы два вида ностальгии по утраченному «золотому веку»: кочевническая привязанность к бескрайним просторам пустыни, выразившаяся, вопреки городским установкам ислама, в арабском представлении о рае как об утопающем в тени оазисе с водой и финиковыми пальмами или центрально-азиатском идеале богатого пастбища с душистыми хвойными деревьями на склонах гор. Сравним его с европейским — и христианским — крестьянским идеалом тихих и мирных земельных наделов, восходящим к полукочевым еврейским корням и пастушескому происхождению таких индоевропейских народов, как греки и римляне, которые создавали компактные поселения. Этот контраст между кочевым и оседлым образом жизни и ностальгией нашел своего культурного двойника в двух главных принципах социальной организации: генеалогическом, который был характерен для Ближнего Востока, и территориальном, который получил наиболее полное развитие в Европе (*ibid.*: ch. 2).

Эти противоположности тяготеют к повторению с новыми силами — при некоторых изменениях — мировоззрений средневекового христианского мира и ислама, которые давали легитимирующие мифы и символы двум великим цивилизациям.

Действительно, их общее происхождение, а также их географическая близость, сделали исламскую и христианскую цивилизации главными негативными точками

референции друг для друга. В этом отношении две цивилизации схожи в масштабах этнических групп, которые в большинстве случаев определяют себя путем сопоставления с внешними группами.

(*ibid.*: 90)

Затем Армстронг рассматривает наследие различных типов города и империи и влияние их правовых систем, а особенно их универсальные мифы, выводимые в конечном итоге из месопотамских моделей, и их связь с устойчивостью этнических идентичностей. Столь же важным для этих империй, как и их экономическая и военная мощь, был их основополагающий легитимирующий политический миф или «движущий миф». Рост столиц и централизации управления был важен для распространения таких «движущих мифов» и распространения «мифо-символических комплексов» среди более широких слоев населения. Эта часть исследования основывается на убеждении Армстронга в том, что политика, особенно государственный строй, играла важную роль в этническом развитии, хотя она никогда не могла быть достаточным условием, и нужно быть очень осторожными, чтобы не приписать причинную роль более ранним образованиям, которые обладают внешним сходством с теми, что хорошо нам знакомы сегодня (*ibid.*: 129).

Столь же важны, по Армстронгу, религиозные организации. Это особенно хорошо видно в случае архетипических диаспор евреев и армян с их относительно децентрализованной церковной организацией, которая была столь же действенной при оказании влияния на население в символической коммуникации, как и более иерархические организации признанных церквей или исламских судов и улемов. Еретические секты и диаспоры также служат иллюстрацией того, что этнорелигиозные идентичности были столь же важны для сохранения этнических идентичностей, как и язык (*ibid.*: ch. 7).

Действительно, два основных примера диаспор показывают, что сакральный язык отделим от повседневного языка и

что сам язык функционирует как маркер и символ этничности, по крайней мере на «линиях разлома» языковых групп (славянской и романо-германской). Следовательно, язык как определитель этнических границ может рассматриваться в качестве продукта взаимодействия иных факторов.

Другими словами, в конечном итоге политика и религия были независимыми переменными в лингвистическом взаимодействии в рамках каждой европейской языковой семьи. По несколько иным причинам и с разительно отличными последствиями политика и религия также стали образующими переменными в исламе.

(*ibid.*: 282)

В заключение Армстронг вновь говорит о своей убежденности в том, что мифы и символы сыграли центральную роль в культурной истории.

Независимо от изначального источника мифов, символов и моделей коммуникации, которые составляют этническую идентичность, их устойчивость производит глубокое впечатление.

(*ibid.*: 283)

Армстронг рассматривает этническую идентичность как особый эмоциональный феномен и особую ценность, определяемую границей между «нами» и «ними», поскольку великие религии были основными источниками целого спектра ценностей и ценностной дифференциации (*ibid.*: 291). Они также в значительной степени определили мифо-символическое содержание этнических идентичностей в исламе и христианском мире. Следовательно, типологическая схема Армстронга, получившая название «Возникновение национальной идентичности», представляет собой сложную матрицу факторов, влияющих на происхождение национальной идентичности, в которой религия и легитимирующие мифы и «движущие мифы», вдохновляющие их, играют центральную роль.

КУЛЬТУРА И ГРАНИЦА

В столь кратком изложении невозможно отдать должное масштабу и богатству исторических и социологических данных, которые Джон Армстронг приводит в своем исследовании отдельных тем и случаев, когда он сравнивает исторические модели средневековых исламской и христианской цивилизаций. Ни в одной другой работе не содержится попытки соединить такое разнообразие свидетельств — административных, юридических, военных, архитектурных, религиозных, лингвистических, социальных и мифологических — о построении совокупности моделей в ходе постепенного формирования национальной идентичности. Некоторые другие работы уделяют такое внимание важности прослеживания причинных цепей на протяжении большой длительности (*longue durée*) для выделения множественных эффектов и взаимовлияний столь многих факторов в устойчивых этнических идентичностях. При этом Армстронг приводит серьезные доводы в пользу того, чтобы связать возникновение современных национальных идентичностей с этими моделями этнической устойчивости, и особенно с длительным влиянием «мифо-символических комплексов». Косвенно это означает убедительное опровержение крайних модернистских представлений, которые отвергают какие-либо связи современных наций и национализма с более ранними этническими идентичностями.¹³

Это не значит, что Армстронг дал нам завершенный «великий нарратив», альтернативный модернистскому. Да и вряд ли он ставил перед собой такую цель. Поэтому напрасно искать у него «теорию», альтернативную той, что предложил Геллнер, или последовательное изложение его таксономии исторических факторов. Те, кто хотят найти у него целостную теорию, могут критиковать. Для остальных же основная заслуга его работы заключается в том, что она дает нам возможность увидеть широкий диапазон факторов, оказывающих влияние на становление и сохранение культурных идентичностей, и тем самым уберегает нас от соблазна счи-

тать этничность чем-то бесконечно податливым и «изобретаемым».

Однако в некотором смысле Армстронг предложил если не теорию, то определенную точку зрения, с которой можно оценивать и исследовать возникновение и поддержание как этнических, так и национальных идентичностей. Нам остается только сожалеть о том, что он не стремился детально рассмотреть различия между досовременными этническими и современными национальными идентичностями или ту роль, которую сыграли националистические идеологии в возникновении этих различий. Это может вызвать путаницу и поднять вопросы о влиянии «ретроспективного национализма» и опасности — сам Армстронг смог от нее уберечься — создания ложного впечатления о более ранних общностях, которые на самом деле имеют только внешнее или весьма общее сходство с более поздними.

Есть и другие, более серьезные проблемы. Источником их служит своеобразное сочетание Джоном Армстронгом бартовского транзакционализма и феноменологического подхода к социальным установкам на протяжении большой длительности (*longue durée*). Проблема связана со сложностью согласования описания этнических идентичностей как «эмоциональных феноменов», кластеров установок и узлов меняющихся взаимодействий со многими примерами этнических сообществ, которые существуют на протяжении столетий и даже тысячелетий. В своем стремлении описать колебания установок и чувств, выражаемых членами этнической группы, Армстронг отдает предпочтение феноменологическому подходу, который может быть полезен при описании смешанных и меняющихся этнических идентичностей современного Запада, но едва ли подходит для куда более медленных ритмов этнической идентификации и коммуникации в досовременные эпохи.

Очевидно, что другие факторы должны быть учтены в самом определении этнической идентичности, если мы хотим объяснить столь длительную устойчивость. Такое определение появляется у Армстронга ближе к концу исследования:

именно мифы, символы и модели коммуникации «конституируют» этническую идентичность, и именно мифы, в том числе и «движущие мифы», гарантируют устойчивость ценностей и символов на протяжении длительных периодов времени (*ibid.*: 283). Но это ставит еще одну проблему, на сей раз для бартовской конструкции, которую заимствовал Армстронг. В сущности, бартовский подход в большей степени является «транзакционным», чем феноменологическим; внимание фокусируется на том, как транзакции между аскриптивными категориями, не разрушая и не растворяя их, укрепляют социальную границу между ними. Этот элемент довольно слабо развит в исследовании Армстронга, за исключением крестовых походов и религиозных ересей. Но — что более важно — в подходе самого Фредрика Барта речь идет о том, что этнические идентичности нельзя рассматривать исключительно, или даже главным образом, как узел меняющихся взаимодействий и проявлений эмоций; аскриптивная граница создает межпоколенческую, а также межэтническую социальную организацию идентификации и потому не так-то легко подвергается деформации под воздействием индивидов и их установок.¹⁴

В сущности Армстронг добавляет то, от чего с таким трудом удалось избавиться Барту — охватываемое границей «культурное содержание» в виде мифов, символов, моделей коммуникации. То, что они зачастую весьма (но не полностью) схожи в сопредельных этнических группах, не означает, что граница заключает в себе черный ящик или что «культуре» не хватает потенциала. Напротив, мифы, воспоминания, символы, ценности и модели коммуникации, образующие этническую идентичность, составляют отличительные элементы, которые охватываются границей. Это можно понять, когда мы сфокусируем внимание на граничных механизмах и поставим вопрос: что оберегает граница? Почему люди в определенных границах реагируют на особые сигналы и узнают определенные мифы и воспоминания, тогда как те же самые мифы, символы и воспоминания оставляют тех, кто находится за пределами этих границ, холодными и равнодушными?

Даже более — принимая во внимание повсеместное присутствие чужака, отчего существует так много вариаций в широте и глубине пробуждения страстей у членов группы?

Символы дают отдельным группам особого рода общие переживания и ценности, тогда как мифы раскрывают им значение этих переживаний и иллюстрируют и разъясняют их ценности. Если мифы и символы не вызывают отклика у членов группы, то именно потому, что они не выполняют или больше не выполняют эти функции; они перестают отражать, разъяснять и служить примером. Поэтому они больше не могут объединять членов группы, и она, соответственно, ослабевает и распадается. Следовательно, культура — значения и образы символов, мифов, воспоминаний и ценностей — не является определенной совокупностью особенностей или «содержанием», охватываемым границей; культура — это и межпоколенческая сокровищница, и наследие (или совокупность традиций), и деятельно формируемый набор значений и образов, воплощенных в ценностях, мифах и символах, которые служат объединению группы людей с общими переживаниями и воспоминаниями и отделению их от чужаков. Такая концепция дополняет граничный подход и предлагает более полный метод объяснения этнической устойчивости (см.: A. D. Smith 1984b).

«ДВОЙНАЯ ЛЕГИТИМАЦИЯ»

Если Армстронг идет от далекого прошлого к эпохе национализма, то я в своих работах двигался в обратном направлении: от современной эпохи национальных государств и национализма к наиболее ранним проявлениям коллективных культурных чувств.

Моей отправной точкой была сама идеология и движение национализма. Принимая во внимание проблемы определения в данной области, необходимо было соблюсти определенные методологические процедуры. В первую очередь необходимо было провести различие между существующими употреблением термина «национализм» как обозначения

- 1 доктрин и идеологий,
- 2 движений,
- 3 чувств,
- 4 процессов «строительства нации», к которым позднее мы могли бы добавить
- 5 символы и языки (национализма).

Идеологию самого национализма можно свести к ее основным положениям, а основные ее принципы выглядят так:

- 1 мир естественным образом разделен на нации, каждая из которых имеет свой особый характер и судьбу;
- 2 нация — это источник всей политической власти, и лояльность к ней превосходит все остальные виды лояльностей;
- 3 если люди хотят быть свободными и самореализоваться, они должны идентифицировать себя с нацией и осознавать свою принадлежность к ней;
- 4 глобальная свобода и мир — это следствие освобождения и стабильности всех наций;
- 5 нации по-настоящему могут стать свободными и выразить себя наиболее полно только в собственных суверенных государствах.

(A. D. Smith 1973a: 10)¹⁵

Таким образом, мы могли бы назвать эти положения «основной доктриной» национализма. На практике отдельные национализмы добавляют всевозможные производные идеи, характерные для истории и конкретных условий существования каждого этнического сообщества или нации.

Затем важно было отделить «национализм», движение и идеологию, от «национального чувства», чувств, от которых зависит благополучие и стабильность нации, потому что могут существовать элитарные национализмы без наций или весьма расплывчатые национальные чувства и наоборот. В-третьих, мы должны рассмотреть основные идеалы само-

провозглашенных националистов, чтобы подвести основу под рабочие определения. Это позволяет четко определить «национализм» как

идеологическое движение за достижение и сохранение самоуправления и независимости от имени группы, отдельные члены которой считают, что она образует действительную или возможную «нацию».

(A. D. Smith 1983a; 171)

В-четвертых, «идеал независимости» национализма имеет множество идеологических коррелятов, включая национальную интеграцию и общность, территориальную консолидацию, экономическую автаркию, национальную экспансию, культурное возрождение и подчеркивание культурной специфики, и каждый из них в разное время и в различной степени может быть избран в качестве цели конкретных национализмов. Однако три лейтмотива можно обнаружить в любой разновидности национализма: идеалы национальной автономии, национального единства и национальной идентичности.

Наконец, в первом приближении мы должны провести различие между разного рода националистическими движениями, и особенно между волюнтаристическим и органическим вариантами, а также между территориально и этнически ориентированными национализмами. Тем не менее, три идеала автономии, единства и идентичности всегда присутствуют во всех этих подвидах. По моему мнению, их можно проследить даже в «этноцентристских» национализмах древнего мира, даже если идея нации была погружена в другие идеалы, а также в кажущихся «многоцентричными» национализмах современного мира.¹⁶

Эта попытка связать национализм с этноцентризмом приводит к представлению о «нации» как о происходящей из «древнего социального образования этнической общности», где термин «этнический» означает те элементы культуры группы, которые связаны с ее происхождением и историей.

В соответствии с ее этимологией, «нацию» поэтому следует определять как

группу людей, обладающую общими и особыми элементами культуры, единой экономической системой, гражданскими правами для всех членов, чувством солидарности, являющимся результатом общих переживаний, и занимающую общую территорию.

(A. D. Smith 1973a: 18, 26)¹⁷

С учетом указанной выше важной оговорки, я признавал современность и наций, и национализма, как и подобает ученику Эрнеста Геллнера. Однако в предложенном мной первоначальном наброске происхождения этнического национализма подчеркивалась роль политических и религиозных, а не социальных и культурных факторов. Утверждалось, что современная эпоха характеризуется возникновением «научного государства», государства, мощь которого зависит от его способности использовать науку и технику ради общего блага. Возникновение такого типа государства ставит под вопрос легитимность религиозных объяснений и особенно теодицей, предлагаемых в качестве ответа на людские страдания и зло. Так возникает ситуация «двойной легитимации», при которой соперничающие основания власти борются за лояльность человечества. Особое влияние этой двойственности испытали современные двойники досовременного духовенства, интеллектуалы. Как правило, они реагируют на сложные ментальные сдвиги ситуации «двойной легитимации» одним из трех способов. Первый — «неотрадиционалистский»: использование современных методов и средств для отвержения власти светского государства и подтверждения традиционной божественной власти. Вторая реакция является «ассимиляционистской», своего рода мессианским скачком в светское будущее, отвергающим божественную власть во имя власти научного государства. Последняя реакция — «возрожденческая», разнообразные попытки соединить два вида власти на том основании, что «Бог действует через на-

учное государство» и что, когда традиция перестает играть важную роль, человеческий разум и божественное провидение могут нести материальный прогресс и духовное спасение. В этой схеме путь к националистическому решению серьезного кризиса двойной легитимации является двояким. Во-первых, мессианские ассимиляционисты разочарованы, их мобильность блокирована, они отвергаются (западным) научным государством и потому обращаются к своим этническим сообществам и локальным ценностям. Во-вторых, сторонники религиозного возрождения отчаиваются в абстрактном разуме как сущности очищенной религии и ищут в локальной культуре и этнической «истории» особое прошлое своих этнических сообществ, их «подлинную ценность», которой более не обладает традиционная религия, а светское государство своими силами никогда не в состоянии обрести ее. Из этого двоякого возвращения к этническому прошлому проистекает желание дать возможность сообществу самостоятельно, без внешнего вмешательства определить направление своего развития и таким образом стать «нацией» (A. D. Smith 1983a: ch. 10; 1973a: 86–95).

К этой общей схеме «Этническое возрождение» (1981) попыталось добавить более объемную картину происхождения романтического историзма, политическим следствием которого был национализм, и более полную оценку причин, по которым интеллектуалы и в особенности интеллигенция обратились к национализму как к отдушине вследствие неудовлетворенности собственным социальным положением. По существу, постоянное перепроизводство высококвалифицированных профессионалов научным государством и ригидность курса его бюрократии вкупе с противоречием между империалистической риторикой безличной добродетели и повседневной культурной дискриминацией означало, что все большее число высокообразованных мужчин и женщин начало отворачиваться от центров богатства и власти, вследствие чего у историцистских интеллектуалов появлялась возможность мобилизации чувства долга перед своим сообществом (A. D. Smith 1981a: chs 5–6). Если мы прибавим тен-

денцию неоромантического национализма — того, что достиг своего расцвета в западноевропейском «этническом возрождении» 1960-х и 1970-х годов — к внешней стороне как результату бюрократического цикла централизации, отчуждения и фрагментации, сопровождаемого новым циклом централизации и усиления государственного влияния, неизбежность нации и национализма в эпоху бюрократической современности становится неоспоримой (A. D. Smith 1979: ch. 7).

Однако в начале 1980-х годов я начал осознавать, что, хотя анализ отчужденной и лишенной корней местной интеллигенции, радикализируемой чуждыми бюрократическими государствами, способствовал объяснению одной из составляющих феномена национализма, он явно был не в состоянии оценить более широкую социальную картину или объяснить конфигурации наций, а также степень распространенности и глубины национализмов. Довольно интеллектуалистский анализ движения элит к национализму — от абстрактного «разума» к этнической «истории» — едва ли объяснял страсть, с которой они и их последователи обращались к родной «истории» и культуре. Кроме того, акцент на интеллектуалах и элитах отодвинул в тень широкую, часто межклассовую, природу движения и национальных пристрастий средних и низших страт. Такой «нисходящий» модернизм не отдавал должного ограничениям деятельности элит и пределам интеллектуального «конструирования», устанавливаемым народными представлениями и культурой. Наконец, используя один и тот же термин «национализм» по отношению к прошлому и настоящему, я упускал реальные идеологические различия между прежними религиозными мотивами и современными политическими идеологиями, делая невидимыми возможные связи между старыми и современными социальными формациями. «Этноцентристский национализм» не выделял тип, характерный для досовременных эпох, и предполагал идеологическое сходство различных эпох, которое невозможно было подкрепить историческими данными. Проблема и ее решение заключались в чем-то другом.¹⁸

ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ И ЭТНО-СИМВОЛИЗМ

В сущности, нужна была историческая социология наций и национализма. С точки зрения идеологий, отдельные концепции и движения национализма можно довольно точно датировать концом восемнадцатого века, хотя в Англии и Голландии религиозные национализмы существовали и ранее. Но с точки зрения национальных структур, чувств и символики, картина выглядит куда более сложной. Все эти три составляющие можно проследить — источников, подтверждающих это, достаточно — по крайней мере с позднего средневековья у большинства европейских наций — от Англии и Франции до Польши и России. Они свидетельствуют об *определенной национальной преемственности*. Но — что более важно — можно обнаружить примеры социальных образований в досовременные эпохи, даже в древности, которые на протяжении нескольких десятилетий и даже столетий подходили под определение понятия «нации», особенно среди древних евреев и армян, но также в определенной степени и древних египтян и, возможно, средневековых японцев и корейцев. Иными словами, понятие «нации» было перенным, поскольку *повторяющиеся примеры* этого образования можно было обнаружить в различные периоды истории и на различных континентах. Итак, в этом случае можно было говорить о *национальной повторяемости* (см. Greenfeld 1992: chs 1–3; A. D. Smith 1994; ср.: Lang 1980; Lehmann 1982).

Хотя этих примеров едва ли было достаточно для того, чтобы подорвать основы модернистской парадигмы, они, казалось, ставили под сомнение категоричное утверждение Геллнера о невозможности наций в досовременные эпохи. Но была еще одна проблема. На всем протяжении истории и на различных континентах имелись серьезные подтверждения не просто «объективных» культурных (лингвистических, религиозных и т. д.) различий и категорий, но и «субъективных» этнических идентичностей и этнических сообществ, многие из которых с двух сторон были зажаты противоречиями. Вновь можно было бы сослаться на *этническую*

преемственность и этническую повторяемость. Греков, армян, евреев, персов, китайцев и японцев можно было бы привести в качестве примеров этнической преемственности, поскольку, несмотря на значительные культурные изменения на протяжении столетий, определенные ключевые идентифицирующие составляющие — название, язык, обычаи, религиозная общность и территориальное объединение — явно сохранялись и воспроизводились тысячелетиями. В других случаях, вроде народов Эфиопии, плодородного полумесяца, северной Индии и Балкан, этничность в большей степени была повторяющимся феноменом. То есть эти регионы рассматривались как непрерывный ряд часто четко определенных и хорошо описанных этнических сообществ, где группы формировались, расцветали и исчезали, как правило, в результате завоевания, ассимиляции или распада (см.: Wiseman 1973; Ullendorff 1973; A. D. Smith 1981b, 1986a: chs 2–5).

В свете этих размышлений центр моего анализа начал сдвигаться от национализмов к нациям, а от наций к этническим сообществам. Исследование *ethnies* (французский термин, используемый для обозначения «этнических общностей») стало играть важную роль для понимания того, почему и где возникали отдельные нации и почему национализмы, хотя они и обладают внешним сходством, имеют свои характерные особенности и содержание. В центре этого исследования находилась роль мифов, воспоминаний, ценностей, традиций и символов. Уже в «Этническом возрождении» я выделял

миф общего и уникального происхождения во времени и пространстве, наиболее важный для чувства этнической общности, поскольку он отмечал момент основания истории группы, а следовательно, ее индивидуальность.
(A. D. Smith 1981a: 66)

Символы, а также гербы, гимны, праздники, места проживания, обычаи, языковые коды, святые места и т. п., были

мощными дифференциальными элементами и напоминаниями об уникальной культуре и судьбе этнического сообщества. Таковыми были и общие воспоминания об основных событиях и эпохах в истории сообщества: воспоминания об освобождении, переселении, золотом веке (или веках), победах и поражениях, героях, святых и мудрецах. Поэтому в «Этнических истоках наций» (1986) этнические общности (*ethnies*) определялись как

носящие определенное имя группы людей с общими мифами о происхождении, историями и культурами, связанные с определенной территорией, и чувством солидарности.

(A. D. Smith 1986a: 32)

Также исследовались их основные составляющие — общее имя, миф о происхождении, исторические воспоминания, общие культурные факторы, связь с родиной и (частично) коллективные чувства (*ibid.*: 22—32).¹⁹

В античности и в средневековье этничность играла намного большую роль, чем готовы признать модернисты, которые справедливо отрицают тождество между ранними коллективными культурными идентичностями и современными нациями и национализмами. Существовали этнические меньшинства, диаспоры, пограничные этнические общности, этнические амфиктионии и даже этнические государства, государства, в которых преобладали определенные этнические сообщества, вроде древнего Египта и раннесредневековой Японии. В частности, роль этнических ядер империй, наподобие ассирийской, должна была отличаться от роли периферийных этнических общностей, впрочем, как и их шансы на выживание. Проблема этнического выживания казалась особенно важной для поздних национализмов: возможность обращения к богатой и хорошо документированной «этно-истории» должна была играть роль основного культурного ресурса националистов, а мифы о происхождении, этнической избранности и святых землях, а также воспоминания о героях и золотых веках, играли решающую роль при состав-

лении запутанной этно-истории. Все это указывает на значимость социальной памяти; как показывает пример связи между современными и древними греками,

этнические общности образуются не путем физического наследования, а ощущением преемственности, общей памятью и коллективной судьбой, то есть культурной близостью, воплощенной в мифах, воспоминаниях, символах и ценностях, сохраняемых в памяти данной культурной единицы.

(A. D. Smith 1991: 29; ср.: A. D. Smith 1992a)

В этом также обнаруживается расхождение между моим «историческим этно-символическим» типом исследования и любой версией примордиализма. Именно чувство культурной близости, воплощенное в *мифе* о происхождении, общих исторических воспоминаниях и этнической символике, а не физические родственные узы, определяет структуру этнических сообществ; и то же справедливо по отношению к любой нации, возникшей на основе культурного родства.²⁰

Вслед за Армстронгом, но без его специфического феноменологического анализа, я стал рассматривать совокупности мифов, символов, воспоминаний, ценностей и традиций, возникающих из общего опыта нескольких поколений проживающих совместно людей, как определяющие культурные элементы, из которых возникли этнические группы. С другой стороны, их кристаллизация в качестве обладающих самосознанием *сообществ*, в противоположность иначе определяемым этническим *категориям*, была результатом воздействия внешних факторов, наподобие народных культур, возникавших вследствие совместного труда и проживания; групповой мобилизации в периодически случавшихся межгосударственных войнах, порождавших воспоминания и мифы о поражениях и победах; и — в особенности — воздействия систематизированных религий со священными писаниями, священными языками и духовенством. Время от времени нападения на родину извне или обычаи сообщества

могли вызвать обострение этнических чувств и определенное этническое сопротивление, как это было у греков во время персидских вторжений или у евреев при политике эллинизации селевкидской монархии Антиоха IV Эпифана. Но в целом этничность в досовременные эпохи, как правило, не становилась основой альтернативного государственного устройства, за исключением тех случаев, когда она сочеталась с религией (A. D. Smith 1986a: 32–41).²¹

Как отмечает Джон Армстронг, в современном мире ситуация должна была заметно видоизмениться. Здесь модернисты делают важное замечание. Именно революционный характер экономических, административных и культурных преобразований в Европе семнадцатого и восемнадцатого веков сделал культуру и этническую идентичность основой государственного устройства. Но истоки такого преобразования в отдельных случаях можно проследить даже до возникновения печатной литературы на народных языках, восходящего к библии Лютера и Гуттенберга. В недавнем исследовании идентичности шотландской элиты сделан вывод о том, что решающее значение имели последствия битвы при Баннокбурне и войн с Англией, когда в исторических и литературных сочинениях конца четырнадцатого и пятнадцатого столетий началось восхождение особой этно-истории. То же можно сказать и в отношении начальных этапов формирования швейцарской национальной идентичности. Ее основные положения в клятве на Рютле и подвигах Телля были впервые зафиксированы в «Белой книге Сарнена» (ок. 1470) и последующих сочинениях. В этих и других случаях мы можем проследить начальные этапы элитарного национализма и объединения и постепенного превращения этнических сообществ в ранние нации (Webster 1997; Im Hof 1991).²²

ИСТОКИ И ТИПЫ НАЦИИ

Как же произошло это преобразование? По сути, есть два направления образования наций, и они зависят от вида эт-

нического сообщества, которое послужило для них отправной точкой.

Из двух видов досовременных этнических общностей,

первый — это горизонтальный и экстенсивный, второй — вертикальный и интенсивный. В первом мы сталкиваемся с сообществами, которые редко поднимаются по социальной лестнице, а вместо этого неравномерно и нечетко расширяются в пространстве. Как правило, «горизонтальные» этнические общности являются аристократическими, хотя обычно в них входят также духовенство и книжники наряду с более состоятельными городскими торговцами. Точно так же, как правило, «вертикальные» этнические общности — это городские, священнические, а также торговые и ремесленные, и руководящие всеми ими правящие страты, часто происходящие из богатых и влиятельных слоев в городах; либо же они представляют собой широкие коалиции соплеменников во главе с вождями, объединяющиеся для участия в сражениях, а позднее сливающиеся воедино или сосуществующие с доминирующим, хотя и примитивным, государством и его монархом. В любом случае, узы, их объединяющие, имеют более интенсивный и исключительный характер, нежели в горизонтальных аристократических этнических общностях; отсюда часто отмечаемые у них религиозные, даже миссионерские, черты.

(A. D. Smith 1986a: 77–78)

Первый путь к обретению статуса нации, путь *бюрократического объединения*, связан с преобразованием свободной, аристократической этнической общности в территориальную нацию. Представители верхушки горизонтальных этнических общностей не были заинтересованы в создании собственных средних классов, не говоря уже о подчинявшихся им низших классах со своей собственной этнической культурой. Но, возможно, из-за провала восстановления (Священ-

ной) Римской империи в Западной Европе последующая конкуренция между различными монархами и дворами Франции, Англии и Испании вынудила их мобилизовать свои городские средние слои с той лишь только целью, чтобы заполучить их богатство для оплаты войны и демонстрации своего богатства, что столь явно было показано Генрихом VIII и Франциском I в «Лагере Золотой парчи». На первых порах непреднамеренно, они вовлекали свои средние слои во все более четкую, территориальную и политизированную «национальную» культуру, то есть ту, что из культуры двора, аристократии и духовенства становилась культурой «народа», первоначально отождествлявшегося с городскими средними слоями, а спустя несколько веков — с массой рабочих и, позднее, женщин. Результатом стал более «гражданский» тип национальной идентичности, подпитываемый в значительной степени территориальным национализмом, несмотря на ассимиляцию этнических и культурных элементов, которые можно обнаружить даже в самых страстных гражданских национализмах, наподобие республиканского национализма во Франции (A. D. Smith 1995a: ch. 4; ср.: Corrigan and Sayer 1985).

Во всех этих случаях именно бюрократическое государство выковало нацию, постепенно проникая в отдаленные от этнического ядра и находящиеся на более низких ступенях социальной иерархии области. Второй путь к обретению статуса нации мы можем назвать путем *народной мобилизации*. Здесь народная этническая общность трансформировалась в значительной мере под влиянием местной интеллигенции в этническую нацию. В Центральной и Восточной Европе, а позднее на Ближнем и Дальнем Востоке и отдельных районах Африки, местные интеллектуалы и лица свободных профессий заново открыли и выборочно усвоили этно-историю из ранее существовавших мифов, символов и традиций, обнаруживаемых в исторических памятниках и живых воспоминаниях «народа», преимущественно низших сельских страт. Такое современное возвращение к «этническому прошлому» (или прошлым) — это следствие националистических

поисков «подлинности». Только то, что может считаться «подлинным» и «нашим», способно сформировать основу национальной идентичности, что в свою очередь требует культивирования местной истории и народных языков и культур, а также *мобилизации просторечного языка* «народа» через его же собственную историю и культуру. В результате возникает тип нации, основанной на «этнических» концепциях и подпитываемой генеалогическим национализмом; хотя даже здесь нация, как в Германии или Греции, одновременно определяется в территориальных и политических терминах и признается, хотя и не так часто, существование меньшинств (A. D. Smith 1989; ср.: Kitromilides 1989; Brubaker 1992).

В действительности, существует и третий путь образования наций, которые состоят главным образом из иммигрантов из других этнических общностей, особенно заокеанских. В Соединенных Штатах, Канаде и Австралии колонисты-иммигранты задавали тон провиденциалистскому переселенческому национализму, и признание широких волн различавшихся между собой в культурном отношении иммигрантов способствовало возникновению концепции «смешанной» нации, которая принимает и даже приветствует этническое и культурное разнообразие в рамках всеохватной политической, юридической и лингвистической национальной идентичности (A. D. Smith 1995a: ch. 4; ср.: Hutchinson 1994: ch. 6).

Разумеется, ни один из этих путей не гарантирует автоматического обретения статуса нации. Прежде всего, он зависит от степени, в которой великие современные революции рыночного капитализма, бюрократического государства и светского всеобщего образования охватили данные территории и сообщества непосредственно, как на Западе, или посредством империализма и колониализма (A. D. Smith 1986a: 130–134). При этом не следует забывать о роли исторической случайности в процессе формирования конкретных наций. Вообще, человеческое участие — индивидуальное и коллективное — было жизненно важным в процессе объедине-

ния этнических общностей и превращения их в нации. Короли, министры, генералы, торговцы, священники, миссионеры, адвокаты, художники, интеллектуалы, учителя, журналисты и многие другие внесли вклад в образование отдельных наций, где-то более осознанно и взвешенно, где-то ненамеренно. В этих группах современные националистические лидеры и их последователи часто играли непропорциональную роль; как «политические археологи», они предложили проекты «будущей нации», заново открыв «подлинную» народную этно-историю и предоставив убедительные нарративы об исторической преемственности с героическим — и, желательно, славным — этническим прошлым. Своими поисками героических легенд и поэтических пейзажей националисты стремятся предложить членам своей будущей нации когнитивные «карты» и публичные «моральные правила» (A. D. Smith 1986a: ch. 8; A. D. Smith 1995b; ср.: Just 1989).

Если национализм современен и создает нации в образе своего *Weltanschauung*, тогда нации тоже являются творениями современности. Но это только половина истории. Отдельные нации — это также продукт прежних, часто досовременных этнических уз и этно-историй. Но, конечно, не все нации. Есть «нации-в-становлении» (Танзания, Эритрея, Ливия), которые являются относительно недавними и, кажется, не имеют корней в глубоком этническом прошлом. Могут спросить, насколько прочны и устойчивы эти колониальные образования; разумеется, последний опыт других африканских «национальных государств» не дает оснований для оптимизма. Но суть заключается в том, что первые и наиболее важные примеры понятия «нации» имели такую же досовременную основу, как и множество других, и они дали основные модели, гражданские и этнические, для позднейших примеров, даже если этапы обретения статуса нации сокращались или даже меняли свой порядок.

В таком случае нация как идея и идеальное образование имеет глубокие исторические корни; и, следовательно, в той или иной степени существуют ее наиболее важные и успеш-

ные примеры. В наши дни нация стала нормой социальной и политической организации, а национализм — наиболее распространенной идеологией. Попытки построения наднациональных союзов до настоящего времени не сумели привлечь страстей и преданности со стороны наций, даже европейская «идентичность»

выглядит жалкой и неустойчивой в сравнении с усилением культур и наследий, образующих ее богатую мозаику.

Если «национализм — это любовь», цитируя Мишеля Афлака, страсть, которая требует максимальной отдачи, то абстракция «Европа» конкурирует в неравных условиях с осязаемостью и «укорененностью» любой нации.

(A. D. Smith 1995a: 131)

Что касается пророчеств о глобальной культуре, то они не в состоянии учесть укорененность культур во времени и пространстве и зависимость идентичности от памяти. По-настоящему неимперская «глобальная культура», вневременная, внепространственная, формально и эмоционально нейтральная должна не иметь памяти и, следовательно, идентичности или же превратиться в постмодернистский пастиш существующих национальных культур и, таким образом, распасться на составляющие. До сих пор мы не можем найти серьезного конкурента нации в том, что касается эмоциональной привязанности и преданности большинства людей (A. D. Smith 1990; 1995a: ch. 1).

ОБОСНОВАННЫЙ ЭТНОСИМВОЛИЗМ

В определенной мере такая оценка представляет собой эмпирическую тавтологию, ибо мои определения нации и этнической общности (*ethnie*) тесно связаны между собой. В таком случае, нетрудно привести примеры наций, возникших на основе ранее существовавших этнических общностей. По крайней мере, некоторых наций. Конечно, такое преобра-

зование не неизбежно, иначе национализм и националисты были бы не нужны. Но это не так. Следовательно, мы имеем дело с чем-то большим, нежели с занимательной эмпирической тавтологией. Именно те черты наций, которых нет у этнических общностей, — четко определенная территория или «родина», народная культура, экономическое единство и законные права и обязанности для каждого, — делают нации совершенно непохожими на этнические общности, несмотря на то что и тем, и другим присущи такие черты, как определенное название, мифы об общих истоках и общие исторические воспоминания. Эти отличия нужно учесть при рассмотрении того, в чем, как ясно показывает Гастингс, нации превосходят этнические сообщества и могут в принципе включать не одно культурное сообщество (Hastings 1997: 25–31).

Более серьезное возражение заключается в том, что обращение к варианту перенниализма I, рассмотренного в предыдущей главе, а именно, что этно-символизм повинен в «ретроспективном национализме», в проецировании на более ранние социальные образования черт, характерных для наций и национализмов. Но здесь большая длительность (*longue durée*) смешивается с перенниализмом. Армстронг может употреблять терминологию «нации» по отношению к досовременным этническим общностям, но он четко отделяет современные нации от этих более ранних этнических идентичностей. Хатчинсон прибегает к термину «нация» для современного этапа, и, как и я, он четко отделяет современный национализм от досовременных этнических чувств. Различия в историческом контексте слишком велики, чтобы позволить такое ретроспективное обобщение. «Родовая аналогия» в национализме, которую, например, справедливо выделяет Коннор, не сильно беспокоит этно-символистов; родство служит слишком узкой социальной базой для больших этнических общностей, не говоря уже о нациях. Скорее, дело в отслеживании более ранних культурных основ и этнических уз часто прерывающегося процесса образования национальных идентичностей в исторических доку-

ментах, что является вопросом скорее эмпирического исследования, нежели *априорного* теоретизирования.

Недавняя критика моей точки зрения, осуществленная Джоном Бройи, заключается в том, что в ней предполагается слишком тесная связь между досовременными этническими идентичностями и современными нациями и игнорируется необходимая роль институтов как исторических носителей национальных или этнических идентичностей. Досовременные этнические идентичности, утверждает он, по сути своей локальны и аполитичны.

Проблема идентичности, складывающейся вне институтов, особенно таких, которые способны объединять людей, рассредоточенных на огромных социальных и географических пространствах, — в том, что она неизбежно фрагментарна, прерывиста и слабо ощутима.

(Breuilly 1996: 151; Бройи 2002: 206–207)

В отличие от таких основанных на родстве этнических идентичностей, только те, что поддерживаются институтами, наподобие династий или церквей, могли иметь собственные кодифицированные и воспроизводимые «мифо-символические» комплексы. Однако династии в действительности представляли угрозу для современных национальных идентичностей, а церкви были универсалистскими. Только когда их универсалистская миссия терпела провал, они приспосабливались к этническим идентичностям и давали объединяющие лозунги более поздним движениям национальной автономии. В целом, утверждает Бройи, больше поражает *отсутствие преемственности* между этническими чувствами и «современной национальной идентичностью». Это столь же верно в отношении изобретения мифов, вроде эпоса об Оссиане, равно как и в отношении кодификации письменных языков и их институционального использования в законодательстве, государственном управлении и экономике. Пока язык является простым хранилищем национальной культуры, мифа и памяти, он имеет значение только для неболь-

ших, считающих себя избранными культурных элит; только когда он используется для юридических, экономических, политических и образовательных целей, он имеет реальное политическое значение. Бройи делает вывод:

Досовременная этническая идентичность не имеет достаточного количества институциональных ипостасей, выходящих за локальные рамки. Практически все основные институты, которые создают, сохраняют или передают национальную идентичность и увязывают ее с какими либо интересами, относятся к современной эпохе: это парламенты, массовая литература, суды, школы, рынки труда и так далее... Национальная идентичность в существе своем современна, и именно с такой предпосылки должен начинаться всякий осмысленный подход к данной теме.

(*ibid.*: 154; там же: 210–211)

То, что институты важны как носители и хранители коллективных культурных идентичностей, бесспорно; как никакое другое, монументальное сочинение Армстронга показывает их решающую роль в досовременные эпохи. Но я мог бы доказать, что понимание подобных «институтов» Бройи является узко модернистским. Совершенно справедливо, что многие народы в досовременные эпохи не были включены в «институты» в той степени, в какой это имеет место в современном государстве и его органах. Но в некоторых досовременных обществах значительное число людей было в них включено, скажем, в древнем Египте и Шумере: например, в школы, в юридические учреждения, в храмы и монастыри, а иногда даже в учреждения политического представительства, не говоря уже о разросшихся аристократических семействах, вроде Алкмеонидов или Метелли. Но, быть может, еще более важной была их включенность в языковые коды и народную литературу, в ритуалы и праздники, в торговые ярмарки и рынки, а также в этнические территории или «родины», не говоря уже о барщине и воинской повинности.

Конечно, не все эти «институты» усиливали простое чувство этнической идентичности, но со многими дело обстояло именно так. Бройи сам допускает, что

этническая идентичность имела какой-то вес в прошлые времена и что она может накладывать некоторые ограничения на претензии, выдвигаемые современным национализмом.

(*ibid.*: 150; *там же*: 206)

Я бы добавил, что существует намного больше примеров ярких этнических идентичностей в досовременные эпохи, чем признается им, и некоторые из них имеют «политическую значимость», вроде этнических государств эллинистической древности (см.: Tcherikover 1970; Wiseman 1973; Mendels 1992).

Вопрос, который ставит, как и Эрик Хобсбаум, Джон Бройи, заключается в том, могут ли даже широко распространенные этнические идентичности иметь какую-то связь с современным национализмом. Подчеркивая лишь его современные особенности, Бройи неминуемо расширяет разрыв между современной нацией и досовременной этничностью. Но исторические данные часто противоречивы; они могут указывать на очевидные связи с современными националистами и не только потому, что современные националисты искренне верят и нуждаются в удобном для себя этническом прошлом. Основная мысль заключается в том, что, как я уже отмечал в связи с точкой зрения Хобсбаума, «изобретения» современных националистов должны вызывать отклик у значительного числа «соотечественников», иначе проект терпит провал. Если они не воспринимаются как «подлинные», в смысле значимости и отклика у «народа», к которому они обращены, они не смогут мобилизовать его для политического действия. В таком случае лучше «заново открыть» и усвоить этническое прошлое, которое что-то значит для данных людей, и таким образом заново реконструировать существующую этническую идентичность даже

там, где она кажется туманной или слабо документированной.

Несомненно, Бройи поднял важную проблему, когда он потребовал от этно-символистов показать исторические связи с прошлыми этническими идентичностями и сообществами, которые они постулируют как основу для образования более поздних наций. Безусловно, здесь необходимо проделать большую работу. Но она требует более широкой концепции каналов, посредством которых такие идентичности передавались и трансформировались, и звеньев, которые связывают их с современными нациями. Только тогда мы сможем оценить глубину уз, связующих членов наций, и страстей, способных такие узы пробудить. Принимая во внимание эту задачу, мы не должны отвергать факты, которые дает нам глубокая озабоченность националистов «героическими легендами» древности и «поэтическими просторами» родины. Они указывают в том направлении, где раскрываются религиозные основы национализма, а зачастую и сакральный статус, с ним связываемый (см.: Hooson 1994; A. D. Smith 1997a, 1997b).

В своем курсе лекций 1986 года под названием «Полиэтничность и национальное единство в мировой истории» выдающийся специалист по всеобщей истории Уильям Г. Мак-Нейл утверждал, что нации и национализм — это явления, характерные для определенного периода истории, эпохи западной современности, и что, поскольку эпохам, предшествовавшим современности, нации и национализм не были известны, в будущем мы станем свидетелями кончины наций и увядания национализма. Лишь на кратком, но хорошо документированном этапе современной европейской истории — примерно с 1789 по 1945 год — господствовал идеал национального единства, а национальное государство превратилось в политическую норму. До и после этого этапа нормой было не национальное единство, а полиэтническая иерархия.

ПОЛИЭТНИЧНОСТЬ, ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ

По МакНейлу, моноэтнично лишь варварство. В тот момент, когда мы достигаем стадии цивилизации, нормой становится полиэтничность. Причины довольно просты. Цивилизация в значительной степени связана с метрополией, поэтому центры богатства и власти требуют разнообразного квалифицированного труда и привлекают множество завистливых непрофессионалов. Полиэтнический характер городской цивилизации определяется военными, демографическими и экономическими причинами. После domestikации лошадей в начале первого тысячелетия до нашей эры мы сталкиваемся с общей моделью завоевания цивилизованных обществ кочевыми племенами. Частые эпидемии в скученных городских поселениях также способствовали полиэтничности, поскольку ослабленные центры постоянно должны

были пополняться сельскими жителями для удовлетворения своих потребностей в рабочей силе. Наконец, международная торговля заложила основу обширных чужеземных торговых общин, обладавших зачастую своими собственными доступными религиями. Общий итог заключался в том, что вследствие разделения труда досовременные цивилизации неизбежно становились смешанными в культурном отношении, а вскоре возникала трудовая специализация между этносами; только народы и государственные образования, далекие от центров цивилизации, вроде Японии и, возможно, Англии, Дании и Швеции, могли сохранить свою этническую однородность (McNeill 1986: ch. 1).

Идеал независимости для однородных в этническом отношении народов или наций возник лишь в восемнадцатом веке. Это было следствием сочетания четырех факторов. Первым — и наименее важным — было влияние классического гуманизма и, следовательно, модели гражданской солидарности, обнаруживаемой в классических городах-государствах, вроде Афин, Спарты и республиканского Рима, которая пленила воображение гуманистических интеллектуалов. Более важным был рост числа читающей публики, владеющей стандартизованными формами народных языков, которая стала основой элиты будущих наций. К этому мы должны прибавить быстрый рост населения в Западной Европе, который позволил истощенным городам пополниться за счет этнически однородных мигрантов из сельской местности, а также процесс накопления революционного недовольства среди избыточной рабочей силы. Последним и, быть может, наиболее важным фактором было значение, придававшееся муштре пехоты в Новое время, которая с этого периода стала все теснее связываться с государственной властью и, благодаря поощрению всеобщей воинской повинности, также наполнила новым содержанием гражданскую солидарность и братство. МакНейл утверждает, что все эти факторы «слились воедино в Западной Европе в конце восемнадцатого века и дали рождение современному национализму», сначала во Франции, а затем и по всей Ев-

ропе. Хотя этнический плюрализм оставался общественной нормой даже в Западной Европе, ни одно государство впредь не могло себе позволить обходиться без «национальной идентичности», ибо унитарное национальное государство и «миф о национальном братстве и этническом единстве» оправдывали самопожертвование в национальных войнах, поддерживали общественный мир в стране и усиливали государство и роль правительства в повседневной жизни (*ibid.*: 51, 56).

Все это рухнуло после окончания Второй мировой войны. Две мировые войны показали огромные издержки, связанные с национальными государствами и национализмом. Отвращение к нацистскому варварству и гигантское число жертв войны привели к осознанию того, что ни одно национальное государство не в состоянии справиться с подобной тотальной войной в одиночку. Они вынуждены были координировать свои усилия, и в ходе этого набрать тысячи этнически неоднородных солдат и рабочих, силой или добровольно. Так был создан прецедент для притока гастарбайтеров из других культур и стран; имея более высокий уровень рождаемости и доступ к массовым коммуникациям, эти этнические анклавные группы смогли навсегда укорениться на Западе. Кроме того, возникновение огромных транснациональных компаний и интернационализация военных командных структур резко сократили автаркию даже самых богатых и мощных национальных государств. Все это подрывает власть и единство «национальных государств» и предвещает смешение наций. По МакНейлу, опять-таки, «полиэтническая иерархия находится на подъеме, причем повсюду». Нации и национализм — это преходящие явления, возврат к варварскому идеалу этнической чистоты, который рушится на наших глазах из-за острой необходимости в достаточном запасе квалифицированной иностранной рабочей силы. В этом и состоит основное отличие от широко известной истории классических городов-государств (*ibid.*: 82).

В сущности, для МакНейла, как и для многих других, этот недолгий аберрантный период национального единства име-

ет только идеологическое значение; социальная реальность всегда была реальностью полиэтнической иерархии, даже в национальных государствах Западной Европы. Остается только удивляться тому, как возник националистический мираж и почему так много людей поддержало его.

Но здесь я хочу сосредоточить внимание на прогнозе МакНейла относительно возврата к полиэтнической иерархии ценой национального единства, то есть через распад национального государства и национализма. МакНейл, видимо, полагает, что национальное государство и его национализм являются антитезой полиэтнической иерархии, хотя на деле, как он сам же и показывает, они существуют одинаково долго, если не образуют симбиоз. Но это заставляет отказаться от представления о «луковичной структуре» этничности, ее способности создавать «концентрические круги» идентичности и лояльности, большего круга, включающего в себя меньший. Это не то же самое, что и пресловутые «множественные идентичности». Последние часто вызывают конкуренцию между различными видами лояльности у людей; класс, местность, религия, гендер, этничность — все они образуют идентичности и лояльности, которые могут противостоять друг другу. Поскольку этничность может действовать на нескольких уровнях, более высокие уровни идентичности и сообщества включают в себя более низкие, так что человек одновременно может быть членом клана, этнической группы, национального государства и даже наднациональной федерации: членом шотландского клана, шотландцем, англичанином и европейцем.¹

Если, согласно МакНейлу, это имело место в «век национализма», то разве это не может сохраниться в континентальном и глобальном контекстах и в следующем столетии? Такой сценарий столь же возможен, как и неизбежный распад национального государства на образующие его этнические составляющие. Иными словами, слишком легко признать отношения с нулевой суммой между этничностью и национализмом, этнической общностью (*ethnie*) и нацией. Такие отношения должны проверяться на практике в каждом кон-

кретном случае, а условия, в которых развиваются подобные отношения, описываться подробнейшим образом.

ПОСТНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Макнейловская трехчастная периодизация истории — досовременная полиэтническая иерархия, современное национальное единство и постсовременная полиэтничность — дает нам исторические рамки основных тем для обсуждения и исследования наций и национализма последнего десятилетия. Среди этих тем:

- 1 воздействие нынешнего естественного движения населения на перспективы национального государства и особенно на распад национальной идентичности и возникновение мультикультурализма;
- 2 воздействие феминистского анализа и проблем гендера на характер национальных проектов, идентичностей и сообществ, а также роль гендерной символики и совместного отстаивания женщинами своих прав;
- 3 преимущественно нормативные и политические дебаты о последствиях для гражданства и свободы гражданского и этнического типов национализма и их отношениях с либеральной демократией;
- 4 влияние тенденций глобализации и «постмодернистских» наднациональных проектов на национальный суверенитет и национальную идентичность.²

За исключением гендерных проблем, каждая из этих тем вписывается в предложенную МакНейлом всемирно-историческую систему. Даже изменение роли женщин и влияние гендерных границ может рассматриваться с этой точки зрения как окончательное распространение «постнационального» гражданства на самые многочисленные и самые бесправные, поскольку они до сих пор остаются невидимыми, «меньшинства» вследствие острой потребности в квалифицированной рабочей силе в цивилизованных полиэтнических обществах.

Иммиграция и гибридизация, процессы глобализации и над-национализм, а также переход к более широкой, гражданской форме либерального национализма — все эти проблемы и дискуссии могут считаться образующими элементами на пути к описанному МакНейлом восстановлению полиэтнических иерархий.

Здесь я могу лишь вкратце затронуть наиболее существенные из этих проблем. Я попытаюсь показать, что, хотя эти дискуссии, дебаты и исследования, ими вызванные, как будто отходят не только от модернизма, но и от всех масштабных нарративов и крайне абстрактных теоретических построений, в действительности они образуют одну из составных частей (последний этап) обширной системы, иллюстрацией которой является исследование МакНейла. То есть имеются исследования, которые пытаются выйти за рамки модернистской парадигмы наций и национализма и показать необходимость ее замены из-за распада референтов, то есть наций и национализма. Тем не менее, выходя за рамки модернизма, они не собираются ставить под вопрос посылку о современном характере наций и национализма. «Посмодернистский поворот» не стремится опрокинуть модернистскую парадигму, как это делает перенниализм, и при этом они не стремятся пересмотреть модернистский анализ «изнутри», показав в этно-символистской манере, что современные нации обязаны своим существованием досовременным этническим узам. Скорее имеет место попытка распространения проблемной области модернизма на то, что принято считать «постмодернистским» этапом социального развития. Но при этом искусно подрываются и проблематизируются некоторые основные положения модернизма, особенно его вера в социологическую реальность наций и могущество националистических идеологий.

Лейтмотив новейшего этапа теоретических построений в области этничности и национализма, который мы весьма приблизительно можем назвать «постмодернистским», заключается в том, что культурная и политическая фрагментация в той или иной мере сочетаются с экономической гло-

бализацией. Попытаемся в общих чертах описать, как этот лейтмотив связан к каждой из перечисленных ранее тем.

ФРАГМЕНТАЦИЯ И ГИБРИДНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ

Конечно, проведенное Андерсоном исследование литературных тропов и символов, поддерживающих нарративы «нации», предвосхитило использование деконструктивистских техник при исследовании этнических и национальных феноменов. Многие его примеры стали отправной точкой для более радикального применения данных техник. Например, согласно Хоми Бхабха, проблематичной становится сама идея «национальной идентичности». Эта идея впервые возникла при тотализации проекта Просвещения, стремившегося поглотить все, в том числе и Другого. Поэтому националистические нарративы о национальном своеобразии (которые на самом деле всегда конструировались и определялись Другим, значимым чужаком) всегда говорили о необходимости поглощения Другого и имели своей целью культурную однородность. Но эти притязания носят воображаемый характер. Культурное различие непреодолимо, а отсюда — гибридность и двойственность национальной идентичности в любом государстве (Bhabha 1990).

Согласно Бхабха, национальные идентичности состоят из нарративов «народа», причем они оперируют «удвоенным» и «расколотым» означающим — расколотым на прошлое и настоящее, себя и другого, и, прежде всего, на воспитательные и перформативные нарративы. Такой накладываемый дуализм фрагментирует нацию. Общеизвестные версии национальной идентичности, насаждаемые националистами, всегда оспариваются и распадаются на свои культурные составляющие в альтернативных нарративах, основывающихся на действиях и поступках членов определенного сообщества. В духе Зиммеля Хоми Бхабха обращает наше внимание на роль чужака и постороннего при определении национальной идентичности принимающей группы. Только «принимающим» здесь является империалистическое наци-

ональное сообщество, которое, как магнит, притягивает к себе бывших жителей колоний. Огромный приток жителей бывших колоний, иммигрантов, гастарбайтеров и беженцев ослабил основы традиционных нарративов и образов однородной национальной идентичности, обнаружив ее фрагментарный и гибридный характер. Сегодня все коллективные культурные идентичности стали смешанными. Пребывая в «состоянии неопределенности», национальные идентичности стали сомнительными и гибридизированными, будучи обращенными в разные стороны. Состоящие из культурных элементов бывшей колониальной периферии, которые не могут и желают быть поглощенными и ассимилированными, национальные идентичности фрагментировались и утратили прежнюю связь с народом (*ibid.*: ch. 16).

Схожий акцент на важности культурного фрагмента и несводимости его переживания и восприятия можно встретить в работе Парты Чаттерджи. Вообще, его интересуют отношения между гегемонистскими националистическими дискурсами Запада, которые, согласно Бенедикту Андерсону, дают «образцовые» формы для заимствования их националистическими элитами в Азии и Африке и местными националистами, создаваемыми этими незападными элитами. В своей более ранней работе Чаттерджи показал, что, как правило, националистические дискурсы Азии и Африки строились по западным образцам и одновременно противопоставляли «материальный» внешний мир, подвластный Западу и колониальному государству, внутренней — «духовной» — сфере, которая была хранилищем национальной культуры, создававшейся местными элитами начиная с середины девятнадцатого века (Chatterjee 1986). В «Нации и ее фрагментах» (1993) Чаттерджи в ходе обстоятельного исследования национализма в Бенгалии показывает, как в таких институциях, как язык, драма и роман, искусство, религия, школьное образование и семья, новая творческая «внутренняя область национальной культуры» создавалась националистическими индийскими элитами, которые одновременно были современными и незападными, использовавшими как

западные, так и местные (санскритские) модели. В то же самое время этот доминирующий индийский националистический дискурс испытал влияние многих маргинализированных групп, находившихся за пределами основного политического курса, «фрагментов нации», которые в данном случае состояли из бенгальцев, женщин, крестьян и париев, даже когда их альтернативные образы нации игнорировались или замалчивались, а их стремления «нормализовывались» путем поглощения их индийским национализмом. Интересно здесь то, что такое националистическое культурное формирование предшествует политическому вызову Западу и последующему националистическому конфликту, что было отмечено также Джоном Пилом в его исследовании, посвященном «культурной работе» во время этногенеза йоруба в тот же период. Столкновение с Другим, конечно, важно, но форма и содержание индийского, ближневосточного или африканского национализма, которыми и был запущен этот процесс, имели другие, незападные источники в традиционных культурах сообщества (хотя и в весьма измененном виде) (Chatterjee 1993: chs 1, 5; Чаттерджи 2002; Peel 1989).

Такие интерпретации по-прежнему оставляют нетронутыми культурные различия, которые фрагментируют нацию. Но здесь излишне радикальное постмодернистское теоретизирование децентрирует и разбирает этничность на составные части. Согласно Стюарту Холлу, Этьену Балибару и другим, этничность следует рассматривать как гибкую и податливую социальную конструкцию, значение которой придается конкретным положением тех, кто имеет с ней дело, и властными отношениями между индивидами и группами. Она не просто является одной из множества конкурирующих идентичностей, она получает свое значение в процессе артикуляции наряду с другими видами идентичности, особенно классовой и гендерной. Изменчивая, открытая и «ситуативная» этничность не имеет никакой сущности или сердцевины, никаких основополагающих черт или общего знаменателя. Согласно Этьену Балибару, существует лишь «дискурс фиктивной этничности». Таким образом,

ни одна нация не обладает этнической основой от природы, но, поскольку общественные формации состоят из наций, люди, входящие в них, делящиеся на них или находящиеся под их властью, этнизируются — то есть репрезентируются в прошлом или в будущем, *как если бы* они образовывали естественное сообщество, само по себе обладающее идентичностью происхождения, культуры, интересов, которые превосходят индивидов и социальные условия.

(Balibar and Wallerstein 1991: 96, выделено авторами)

Этничность сама по себе имеет два источника, язык сообщества и расу, причем и то, и другое порождает представление о predetermined автономных сообществах.

В том же духе Стюарт Холл рассматривает чувство этничности в качестве выражения гегемонистской национальной идентичности на примере идеи «английскости». Но Холл также считает новую «политику идентичности» на Западе построением новой «позитивной концепции этничности границ, периферии». Такого рода осознанная этничность приводит к

новой культурной политике, связанной скорее с подавлением *различия* и зависящей, по крайней мере, частично, от культурного конструирования новых этнических идентичностей.

(S. Hall 1992: 257)

И вновь гегемония господствующего дискурса национальной (и расовой) идентичности оспаривается альтернативными дискурсами периферийной этничности, заново сконструированными из общего опыта и основывающимися на прославлении разнообразия. В этом состоит исходное условие — и оправдание — политики мультикультурализма, к которому я еще вернусь.

Позволяя нам осознать сложность и многоаспектную природу современных этнических идентичностей на Западе и

демонстрируя различия между прежними унаследованными национальными традициями и куда более разнообразными – и спорными – представлениями о национальном сообществе у множества культурных групп, из которых состоит большинство современных национальных государств, такого рода постмодернистский анализ многое сделал для разъяснения последнего на настоящий момент этапа развития нации, особенно на Западе. Есть определенные сомнения относительно того, что современные западные нации постепенно «стираются» и что их членам следует заново осмыслить старые представления о национальном сообществе и идентичности в свете весьма значительного движения населения. Также верно, что различные группы как в западных, так и в незападных обществах, вроде Индии, должны иметь совершенно различные представления о «нации» и по-разному ее интерпретировать. В то же самое время мы не должны недооценивать ни по-прежнему сохраняющееся у большинства населения стран Запада чувство национальной идентичности, ни желание многих членов иммигрантских общин стать частью обретшей новый облик нации, сохранив собственные этнические и религиозные культуры, возможно, в значительной степени в форме «символической этничности». При этом не следует переоценивать ту степень, в которой большинство западных наций было однородным или же считало, что было таковым ранее. Для этого необходимо введение ложной дихотомии «до и после». Никогда в прошлом не существовало такой национальной сплоченности, даже когда ее поисками занимались националисты, но и сегодня фрагментация и осознанная этничность не столь уж очевидны. У большинства людей, даже на Западе, сохраняется четкое осознание границ, определяющих их национальную идентичность и национальную лояльность, даже когда они могут не соглашаться с ними или их носителями. Они могут сменить свою национальную лояльность, хотя, как правило, с большим трудом, и, возможно, откорректировать свою этническую идентичность, как правило, посредством своих детей, например, в случае смешанных браков. Но это расши-

рение индивидуальной свободы на Западе не позволяет людям «брать и смешивать» или как угодно использовать этнические идентичности; возможность выбора по-прежнему ограничивается этнической историей и политической географией. Как выразился Майкл Биллиг:

Можно есть китайскую еду завтра, а послезавтра турецкую; можно даже одеваться в китайской или турецкой манере. Но рынок не в состоянии предложить вам *быть* китайцем или турком.

(Billig 1995: 139, выделено автором)

Для большинства людей даже в демократических обществах «осознанная этничность» это не выбор, хотя бы потому, что вряд ли какое-то этническое сообщество согласится на столь радикальный пересмотр границ; пример тому — неудачная попытка мавританских мусульман в 1970–1980-х годах заявить о своем арабском, а не индийском происхождении (Gans 1979; Eriksen 1993: 72; Billig 1995: ch. 6).³

ГЕНДЕР И НАЦИЯ

Вторая важная тема, частично связанная с темой фрагментации, — это взаимодействие гендера и нации. Ранние феминистские исследования не интересовались проблемами этничности и национализма, но с середины 1980-х годов начался рост литературы в этой области. Гендерные теоретики сетуют, на мой взгляд, справедливо, на неспособность теорий национализма оценить роль женщин в национальных проектах и воздействие гендерных различий на наше понимание наций и национализма.

Конечно, модернисты могли бы заявить, что их теории универсальны и нет никакой необходимости в специальном рассмотрении роли женщин и гендера в национализме. Но если сама природа наций и национализма (или национальных проектов) носит гендерный характер, то требуется отдельная или, по крайней мере, особая теория, которая

учитывала бы эту ключевую особенность *explanandum*, — особенно от тех, кто считает, что национализм связан с этничностью, а этничность с родством, или от этно-символистов, для которых этно-история и «мифо-символические» комплексы играют важнейшую роль в развитии наций.

К настоящему времени вопрос об отношениях между проблемами гендера и национализма был рассмотрен на самых разных уровнях, исходя из самых различных посылок и с применением различных методологий. Они прекрасно изложены Сильвией Уолби в ее мастерском обзоре основных работ в данной области.⁴

Роль женщин в национализме

Первый уровень — эмпирический: различная роль женщин в нациях и националистических проектах и различное воздействие подобных проектов на женщин и их перспективы. Здесь Уолби цитирует продуктивное исследование Кумари Джаявардены, в котором было показано, что женские движения были активны во многих незападных национализмах и составляли неотъемлемую часть национальных движений сопротивления; они, согласно Джаявардене,

разыгрывались на фоне националистической борьбы за обретение политической независимости, утверждение национальной идентичности и модернизацию общества.

(Jayawardena 1986: 3; цит. по: Уолби 2002: 313)

Джаявардена тем не менее отметила особые требования и роль феминистских движений наряду с националистическими движениями или в их рамках; они могли даже противоречить их (движений) целям или интерпретациям, как отмечает Халих Афшар в своем исследовании, посвященном женской борьбе в Иране (Afshar 1989).

Наоборот, националистические движения рассматривают вопрос о женской эмансипации совершенно иначе. Уолби

отмечает, что в старых нациях Запада формирование наций было растянутым во времени, а эмансипация женщин произошла очень поздно в процессе «реструктуризации», тогда как в новых государствах Африки и Азии полные гражданские права были предоставлены женщинам с обретением независимости.

Предоставление всем полных гражданских прав, несомненно, являлось для ранее зависимых колоний одним из способов претендовать на статус нации.

(Walby 1992: 91; Уолби 2002: 321)

Но, как отмечает Дениз Кандийоти в академическом исследовании турецкого движения за эмансипацию женщин, националисты предоставляли женщинам полные гражданские права, исходя собственных представлений о них. В случае Турции истоки их эмансипации как равных, с точки зрения влиятельного турецкого социального теоретика Зийи Гокалпа, лежали в древних турецких эгалитарных обычаях. Кандийоти делает проницательный вывод:

Таким образом, складывается впечатление, что есть один извечный предмет озабоченности, объединяющий, в конечном итоге, националистический и исламистский дискурсы о женщинах в Турции: необходимость установления того, что поведение и положение женщин, как бы оно ни определялось, соответствует «подлинной» идентичности общности и не представляет для нее никакой угрозы.

(Kandiyoti 1989: 143; ср.: Kandiyoti 1991)

Женская символика нации

Дениз Кандийоти затрагивает здесь второй уровень анализа, идеологическое и символическое использование женщин. Символика и идеология — два основных измерения, в соответствии с которыми Флоя Антиас и Нира Ювал-Дэвис в сво-

ей новаторской книге определяют место женщин в этнических и национальных процессах. Они полагают, что женщины играют центральную роль в создании и воспроизводстве этнических и национальных проектов, и выделяют пять основных измерений их деятельности и присутствия. Женщин, утверждают они, следует рассматривать:

- а) как биологических воспроизводителей членов этнических общностей;
- б) как воспроизводителей границ этнических/национальных групп;
- в) как играющих центральную роль в идеологическом воспроизводстве общности и как передатчиков ее культуры;
- г) как означающих этнических/национальных различий – как фокусную точку и символ в идеологических дискурсах, используемых при конструировании, воспроизводстве и преобразовании этнических/национальных категорий;
- д) как участников национальной, экономической, политической и военной борьбы.

(Yuval-Davis and Anthias 1989: 7)

В более позднем побуждающем к размышлениям систематическом исследовании данной области Нира Ювал-Дэвис использует деконструктивистский анализ применительно к отношениям между гендером и нацией и называет идеологические и символические формы классификации женщин (пункты «в» и «г») жизненно важными составляющими культурного воспроизводства. Культура или «культурное содержание», утверждает она, должна восприниматься не как нечто неизменное и однородное, а как

богатый ресурс, как правило, полный внутренних противоречий, выборочно используемый различными социальными агентами в различных социальных проектах в рамках определенных властных отношений и полити-

ческого дискурса как внутри, так и за пределами общности.

(Yuval-Davis 1997: 43)

В результате гегемонистские символы и культуры, как правило, наиболее сильны в центре государства и всегда вызывают сопротивление, особенно на периферии. Гегемонистские националистические символы и нарративы провозглашают необходимость того, чтобы мужчины защищали и «Родину», и женщин нации, символизирующих и воплощающих ее «чистоту». Они призывают мужчин к самопожертвованию ради своих детей и женщин, чтобы их женщины могли проносить в их честь панегирики в духе повествований Плутарха о спартанских женщин, которыми так восхищался Руссо.⁵

Ювал-Дэвис отмечает, что женщины «часто конструируются как символические хранители идентичности и чести общности»:

Фигура женщины, часто — матери, символизирует во многих культурах дух общности, будь то Россия-Мать, Мать-Ирландия или Мать-Индия. Символом Французской революции была «*La Patrie*», фигура женщины, рождающей дитя; а на Кипре плачущая женщина-беженка на рекламных щитах, выставленных вдоль дорог, воплощала боль и гнев общины греков-киприотов после турецкого вторжения.

(Yuval-Davis 1997: 45)

Это согласуется с основной националистической конструкцией «дома». В доме гендерные отношения становятся основополагающей «сущностью» культур, которые в свою очередь должны рассматриваться как межпоколенческие образы жизни, включающие в себя такие аспекты, как семейные отношения, способы приготовления и употребления пищи, работа по дому, игра и детские сказки. (*ibid.*: 43).

ей новаторской книге определяют место женщин в этнических и национальных процессах. Они полагают, что женщины играют центральную роль в создании и воспроизводстве этнических и национальных проектов, и выделяют пять основных измерений их деятельности и присутствия. Женщин, утверждают они, следует рассматривать:

- а) как биологических воспроизводителей членов этнических общностей;
- б) как воспроизводителей границ этнических/национальных групп;
- в) как играющих центральную роль в идеологическом воспроизводстве общности и как передатчиков ее культуры;
- г) как означающих этнических/национальных различий – как фокусную точку и символ в идеологических дискурсах, используемых при конструировании, воспроизводстве и преобразовании этнических/национальных категорий;
- д) как участников национальной, экономической, политической и военной борьбы.

(Yuval-Davis and Anthias 1989: 7)

В более позднем побуждающем к размышлениям систематическом исследовании данной области Нира Ювал-Дэвис использует деконструктивистский анализ применительно к отношениям между гендером и нацией и называет идеологические и символические формы классификации женщин (пункты «в» и «г») жизненно важными составляющими культурного воспроизводства. Культура или «культурное содержание», утверждает она, должна восприниматься не как нечто неизменное и однородное, а как

богатый ресурс, как правило, полный внутренних противоречий, выборочно используемый различными социальными агентами в различных социальных проектах в рамках определенных властных отношений и полити-

ческого дискурса как внутри, так и за пределами общности.

(Yuval-Davis 1997: 43)

В результате гегемонистские символы и культуры, как правило, наиболее сильны в центре государства и всегда вызывают сопротивление, особенно на периферии. Гегемонистские националистические символы и нарративы провозглашают необходимость того, чтобы мужчины защищали и «Родину», и женщин нации, символизирующих и воплощающих ее «чистоту». Они призывают мужчин к самопожертвованию ради своих детей и женщин, чтобы их женщины могли проносить в их честь панегирики в духе повествований Плутарха о спартанских женщинах, которыми так восхищался Руссо.⁵

Ювал-Дэвис отмечает, что женщины «часто конструируются как символические хранители идентичности и чести общности»:

Фигура женщины, часто — матери, символизирует во многих культурах дух общности, будь то Россия-Мать, Мать-Ирландия или Мать-Индия. Символом Французской революции была «*La Patrie*», фигура женщины, рождающей дитя; а на Кипре плачущая женщина-беженка на рекламных щитах, выставленных вдоль дорог, воплощала боль и гнев общины греков-киприотов после турецкого вторжения.

(Yuval-Davis 1997: 45)

Это согласуется с основной националистической конструкцией «дома». В доме гендерные отношения становятся основополагающей «сущностью» культур, которые в свою очередь должны рассматриваться как межпоколенческие образы жизни, включающие в себя такие аспекты, как семейные отношения, способы приготовления и употребления пищи, работа по дому, игра и детские сказки. (*ibid.*: 43).

Национализм как мужской феномен

Следующий уровень анализа отношений гендера – нации занимается рассмотрением природы наций и национализмов как в значительной степени мужских организаций и проектов. Согласно Синтии Энлоу, нет никаких сомнений в том, что

национализм, как правило, происходил из мужской памяти, мужского унижения и мужской надежды.

(Enloe 1989: 44)

Таково основное направление изучения мужского патриотического самопожертвования у Джейн Бетке Элштайн. Подобные соображения заставили Сильвию Уолби заявить о том, что мужчины и женщины по-разному связаны с нацией и национализмом. Возможно, размышляет она, именно поэтому многие женщины, например, в движениях зеленых и против ядерного оружия, часто проявляют большую приверженность интернационализму и в меньшей степени поддерживают милитаризм; и наоборот, их больший пацифизм и интернационализм могут привести к тому, что женщины будут менее привязаны к нации и национализму, нежели мужчины (Elshtain 1993; Walby 1992: 92–93; Уолби 2002: 322–323).

Вопреки такому представлению у нас есть много примеров политической и даже военной вовлеченности женщин в национально-освободительную борьбу, даже если мотивы ее были столь же инструментальными, сколь выразительной была она сама. Это говорит о том, что, по крайней мере, иногда национальная борьба заменяет или подводит под себя все остальные виды борьбы, включая классовую и гендерную. Это не значит, что «национализм» как дискурс не ориентируется в первую очередь на потребности мужчин и потому обладает «мужским» символическим содержанием. В век революционного национализма, в конечном итоге, такие неоклассические образы, как полотна «Клятва Горациев» (1784)

Давида, «Смерть генерала Вулфа» (1770) Уэста и «Клятва на Рютле» (1779) Фюзели, открыто ставили в центр внимания традиционно присущие мужчинам атрибуты — энергию, силу и долг.⁶

Как нам объяснить этот мужской по своей основе характер национализма? Джордж Моссе использовал свои более ранние новаторские исследования хореографии массового национализма, чтобы показать, что его возникновение и развитие, особенно в Центральной Европе, было обусловлено западной буржуазной этикой семьи, озабоченной «респектабельностью», моральной репутацией и внешней (греческой) красотой. Это обусловило серьезные различия не только в гендерных ролях, но и гендерных атрибутах и стереотипах, очевидных уже в антиреволюционно настроенных немецко-говорящих областях, отождествлявших французские войска с «разгульностью» в противоположность немецкой респектабельной мужской этике, предлагавшейся националистами, вроде Эрнста Морица Арндта. В двадцатом веке широкие националистические поиски некой мужской этики, «арийской» мужской красоты и заслуживающего уважения особого «национального характера» слился с расистским фашистским культом мужской активности и агрессивной мужественности (Mosse 1985, 1995; ср.: Leoussi 1997).

Совсем недавно Гленда Слуга в своем проникательном историческом исследовании проследила гендерный характер наций и националистических идеологий от их истоков во Французской революции, когда в 1793 году «законодатели новой Французской республики определили народный национальный суверенитет с точки зрения граждан мужского пола». Во имя социального порядка женщин водворили обратно в частную сферу как жен патриотов и матерей граждан, как и советовал Руссо. Опираясь на работу Джоан Ландес, Слуга показывает, как разделение публичной и частной сфер, будучи результатом начатого Просвещением установления границ, не только не позволило женщинам требовать от Революции универсальных прав, но и стало причиной совершенно мужского характера государства-нации. Подобно

Руссо, Фихте, Мишле и Мадзини особое внимание уделяли различным ролям полов в национальном воспитании — поддерживающей, обучающей функции женщин и героической, военной роли мужчин:

Мадзини, как Мишле и Фихте, использовал образ патриархальной семьи (с отцом во главе) как естественной единицы для поддержания легитимности братского национального государства и отдавал предпочтение гражданину-мужчине как активному и воинственному патриоту.

(Sluga 1998: 9, 24; см. также: Landes 1988)

Феминизм и политика идентичности

Наконец, есть нормативный уровень анализа: способы, которыми феминисткам следует осуществлять «политику идентичности» и политику мультикультурализма. Согласно Нире Ювал-Дэвис, проблема «политики идентичности» заключается в том, что она несет в себе элементы усиления этнических и гендерных границ и делает однородными и естественными категории и групповые различия (Yuval-Davis 1997: 119). То же относится и к мультикультурализму. Здесь также возможность овеществления и эссенциализации культур приводит к тому, что игнорируются различия в степени влияния между меньшинствами и в них самих, чрезмерно подчеркиваются различия между культурами и отдается предпочтение как «подлинным» голосам большинства невестернизированных «представителей сообщества». Это может оказать отрицательное воздействие на женщин в смысле установления контроля над их поведением со стороны мужчин. Даже учитывая «контр-нарративы», возникающие на окраинах нации и у «гибридов», всегда существует опасность того, что однородность и эссенциализм

приписаны однородным общностям, из которых возникли «гибриды», тем самым заменяя мифический об-

раз общества как «плавильного тигля» мифическим образом общества как «овощного салата».

(Yuval-Davis 1997: 59; ср.: Kymlicka 1995)

Учитывая различное положение меньшинств и женщин среди них, невозможно существование какого-то простого подхода к «феминистской повестке дня». Согласно Ювал-Дэвис, феминистки могут лишь конструировать идентичности при помощи различия, прибегнув к «политике взаимопонимания», опирающейся на различные культурные источники и нацеленной на «сдвиг» и сближение с другими культурами, ценности и цели которых совместимы с твоими собственными (*ibid.*: 130).

Из этого краткого изложения некоторых основных тем становится очевидно, что поле «гендера-нации» имеет большой потенциал для исследования характера и влияний наций и национализма. Вопрос о том, насколько полезно деконструировать концепции и проблемы в терминах различных «нарративов» и «дискурсов» и надо ли нам описывать их как гегемонистские (или иные) конструкты. Конечно, применение такого рода постмодернистского подхода позволяет нам осознать чрезвычайно сложную проблему положения женщин в этнических и национальных проектах, но это делается слишком большой ценой — путем открытого отказа от задачи объяснения причин. Примечательно, что при всех их аналитических прозрениях лишь немногие рассмотренные выше работы (особенно те, в которых предпочтение отдано историческому модернистскому подходу) интересуются происхождением и образованием наций, ролью гендерных отношений в этих процессах или тем, почему нации и национализм распространились повсюду, или — мимоходом — проблемой того, почему нации и национализмы пробуждают столь сильные страсти у столь многих людей (в том числе и многих женщин) на всем земном шаре. Это значит, что теориям «гендера-нации» придется серьезно поработать над тем, чтобы подготовить всестороннее причинное исследование того, как сложные взаимоотношения гендера и нации

способствовали формированию наций и распространению и усилению национализма.

ЛИБЕРАЛИЗМ И ГРАЖДАНСКИЙ ИЛИ ЭТНИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

Поддержка Ювал-Дэвис «политики взаимопонимания» имеет смысл лишь в либеральной демократии, где национализм носит включающий, относительно открытый характер и одновременно подразумевает активное участие. Именно о национализме такого типа говорили теоретики «строительства нации», и именно «гражданская» версия национализма противопоставляется некоторыми либералами и социал-демократами своей антитезе, «этническому» национализму.

Обширная литература посвящена рассмотрению отношений между либерализмом и/или социал-демократией и этой формой национализма, но в большинстве своем она является философской и нормативной, а потому лежит за рамками рассматриваемой мною проблематики. Следует только упомянуть о дебатах, вызванных рассудительной защитой Дэвида Миллера гражданской версии доктрины национальности (он предпочитает этот термин «национализму»). Миллер начинает с обсуждения идеи национальной идентичности или нации и приводит пять отличительных признаков нации как сообщества:

Она (1) образуется общей верой и взаимными обязательствами; (2) длительное время существует в истории; (3) активна по своему характеру; (4) связана с определенной территорией; (5) отделена от других сообществ своей особой общественной культурой.

(O'Leary 1996a: 414; см.: Miller 1993: 6–8,
и Miller 1995: ch. 1)

По Миллеру, существование наций можно оправдать тремя причинами. Во-первых, они представляют собой действенные источники личной идентичности. Во-вторых, они явля-

ются этническими сообществами, и у нас, как у их членов, имеются особые обязательства перед нашими соотечественниками. Наконец, нации обоснованно претендуют на самоопределение, чтобы дать возможность своим членам самостоятельно решать проблемы. Несмотря на нашу приверженность этическому универсализму, утверждает Миллер, в действительности мы являемся этическими партикуляристами, и нация представляет собой серьезную и хорошую основу для исполнения обязательств и достижения социальной справедливости. Более того, нация служит наилучшей ареной для достижения либеральных и социал-демократических целей, нежели радикальный мультикультурализм, который не в состоянии обуздать богатых и сильных и лишь усиливает фрагментацию. Национальность также превосходит гражданство и совершенно абстрактный «конституционный патриотизм» в духе того, что проповедуется Юргеном Хабермасом, поскольку она связывает политические принципы и практику с чувством общей истории и культуры и духом места и времени (Miller 1995: chs 2–3; O’Leary 1996a: 419–420).

Одна из трудностей подхода Миллера, как отмечает Брендон О’Лири, состоит в том, что он определяет претензии на национальное самоопределение в манере, которая благосклонна по отношению к сильным мира сего и особенно критична к притязаниям этнических сообществ в полиэтнических нациях. В действительности Миллер, как и многие другие, приходит к поддержке гражданской формы национализма, которая в конечном итоге зависит от государства и его либеральных порядков. Тем не менее, Миллер также с осторожностью проводит различие между нациями и государствами. Как же тогда быть со всеми теми этническими группами, которые стремятся получить статус национальности и желают самостоятельно определять свою судьбу? Как нам расценивать требования сепаратистов и ирредентистов? (O’Leary 1996b: 445–447; ср.: Beitz 1979).⁷

Признание того, что этничность обладает политической силой, вызвало множество подобных дискуссий, главным образом в политической науке, о методах управления этни-

ческими различиями и конфликтами или их устранении. Как показывают МакГарри и О'Лири, методы эти варьируются от крайностей разделения, переселения и геноцида до ассимиляции, общности и федерации, и они позволяют многое понять относительно последствий национализма в мире, где существуют главным образом полиэтнические государства. Особенно острые споры вызвали три темы. Первая — это достоинства (и особенности) модели «общественной демократии», ассоциирующейся с работой Аренда Лейпхарта, и ее связь с либерализмом и классовой борьбой. Вторая — это значение и политическое использование концепций «этнической демократии» и/или «демократии *herrenvolk*» для описания исключаящей демократии господствующей этнической общности (*ethnie*) в полиэтнических государствах, а также отличия таких режимов от либерально-демократических государств. Третья тема — превратности прав этнических меньшинств и их отношений с государствами и межгосударственной системой — лишь недавно стала связываться с вопросами нации и национализма. Однако в основной массе литературы эти проблемы имеют исключительно нормативное (и юридическое) содержание и лишь поверхностно связаны с проблемами национальной идентичности и национализма. Поэтому они лежат за рамками данного исследования (Lijphart 1977; Лейпхарт 1997; McGarry and O'Leary 1993).⁸

Споры о гражданском или этническом характере национализма, с другой стороны, непосредственно связаны с нашими проблемами. Основное внимание им, как можно было ожидать, было уделено исследователями иммигрантских обществ, вроде Канады и Австралии. Исследование развития англо-говорящей Канады, проведенное Раймондом Бретоном, например, особый акцент делает на длительном переходе от «этнического» национализма к «гражданскому». Даже в Квебеке он может проследить схожее, хотя и более медленное развитие: в результате иммиграции французский язык и католицизм во все большей степени стали отделяться от своей квебекской этно-культурной основы, и

членство стало невозможно определить с точки зрения этнических признаков, но только с точки зрения гражданства. Как и в английской Канаде, коллективная идентичность должна быть переопределена таким образом, чтобы включить людей нефранцузского происхождения, которые по закону являются гражданами государства.

(Breton 1988: 99–102)

В действительности, немногие современные национальные государства обладают только одной формой национализма. Тем не менее, мы *можем* провести различие между «этническими», «гражданскими» и «смешанными» типами нации и национализма; и эти аналитические различия могут способствовать объяснению, например, различных традиций государственной иммиграционной политики. Так, Роджерс Брубейкер показал, что территориальная концепция принадлежности, оформившаяся во французской традиции, положила начало гражданской политике натурализации иммигрантов на основе длительного проживания во Франции (*ius soli*); тогда как немецкая концепция этнической принадлежности связана с генеалогической политикой (*ius sanguinis*), до недавнего времени отказывавшей в немецком гражданстве иммигрантам и гастарбайтерам, несмотря на длительное проживание на территории Германии, и одновременно предоставлявшая прямые права гражданства этническим немцам, переселявшимся с Востока. Подобным образом Даниэль Конверси противопоставил модели культурных ценностей у басков и каталонцев, показав, что под влиянием Сабино Арана у басков появилась озабоченность чистотой крови и исключительными правами, тогда как каталонская традиция лингвистического и культурного национализма способствовала более открытому, ассимиляционистскому и включающему каталонскому национализму, гораздо более благожелательному по отношению к иммигрантам (Brubaker 1992; Conversi 1997).

Однако на практике эти типы часто сочетаются, и конк-

ретное национальное государство часто будет обнаруживать как этническую, так и гражданскую составляющие в форме своего национализма, иногда в историческом преломлении, или же типы его национализма могут меняться с одного на другой и обратно. Кроме того, каждый тип, как я утверждал, имеет свои специфические сложности. Если этно-генеалогический тип склоняется к исключительности (хотя и не с необходимостью), гражданско-территориальный тип, берущий начало во Французской революции, часто нетерпимо относится к этническим различиям; он склонен к радикальной ассимиляции культурных различий и меньшинств, которую кое-то вполне мог бы назвать «этноцидом». Что касается «смешанного» типа национализма, встречающегося главным образом в иммигрантских обществах, вроде Канады и Австралии, то прославление культурного разнообразия в нем грозит обернуться утратой политического единства и национальной нестабильностью, которая может в свою очередь стать причиной реактивных национализмов (а в крайних случаях, вроде Квебека, движения за отделение) (A. D. Smith 1995a: ch. 4).⁹

Поэтому те ученые, которые вслед за Гансом Коном и Джоном Пламенацем противопоставляют «хороший» гражданский национализм «плохому» этническому, не придают значения проблемам, связанным с обоими типами, и, в частности, преобразуют гражданскую версию таким образом, чтобы она соответствовала новой политике мультикультурализма. Дело не только в неисторическом сочетании гражданского и смешанного типов национализма; дело в том, что не происходит осознания того, что все три концепции нации на практике тесно переплетаются и что под давлением обстоятельств легко совершить переход от одной версии к другой. Национализм не так уж легко усмирить и заставить следовать рекомендациям моральных и политических философов (Kohn 1967a: ch. 7; Plamenatz 1976; Ignatieff 1993; Kristeva 1993).

При этом мы вполне могли бы согласиться с рекомендациями тех, кто, как и Хабермас, заменили бы национализм

формой «конституционного патриотизма», который сделал бы политические институты и конституцию основой всеобщей лояльности. Быть может, наиболее убедительная из таких рекомендаций была выдвинута Маурицио Вироли, который выступил за разрыв с национализмом и возврат к модернизированной форме демократического республиканства. После подробного обзора республиканских и националистических традиций (национализм здесь представляет собой исключительно немецкое «этнокультурное» отличие), Вироли утверждает, что территориально и исторически обоснованное республиканство могло бы заменить националистическую исключительность подлинно демократической и гражданской лояльностью, соответствующей современной эпохе. Но, можем мы задаться вопросом, действительно ли такой проект выполним в крупных индустриальных обществах? Если это так, то почему весь мир охвачен именно национализмом, а не республиканством, почему он втянул на свою орбиту такое количество народов и территорий? Кроме того, как известно, нет никаких доказательств того, что республиканство не оказалось бы столь же исключительным, как и (этнический) национализм; разве Афины после принятия закона о гражданстве 451 г. до н. э., Спарта и республиканский Рим или многие средневековые итальянские города-государства не были столь же исключительными и жесткими? (Viroli 1995).¹⁰

Это хороший знак того, что произошло возрождение интереса к этике национализма, спустя десятилетия после того, как национализм был приравнен к фашизму и стал считаться этически неприемлемым. Но до тех пор, пока этнический национализм (а он по-прежнему является наиболее популярной и часто встречающейся версией, пользующейся признанием элит и простых людей во всем мире) будет находиться в положении изгоя и, как голова медузы Горгоны, превращать философскую мысль в камень, большая часть предмета, причем наиболее острая и взрывоопасная, будет оставаться непонятой и неизученной.

НАЦИОНАЛИЗМ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Можно ли представить время, когда на смену не только этническому национализму, но и национальным государствам, национальным идентичностям и национализму как таковому придет космополитическая культура и наднациональное правление? Это (последняя важная тема в литературе, в которой совершаются попытки отхода от модернизма) предвещает неминуемую замену национальных государств и национализма более свободными наднациональными или глобальными организациями и идентичностями в эпоху «пост-модерна».

Обычное представление о таком замещении состоит из трех основных компонентов, которые часто соединяются: (1) неизбежный упадок «национального государства», (2) замена национализма и (3) преодоление этничности. Все эти тенденции, как нас пытаются убедить, постепенно набирают обороты, поскольку национальные государства, национализм и этничность медленно, но верно замещаются наднациональными (например, европейской) и/или глобальными идентичностями и объединениями.

За исключением Хобсбаума, большинство модернистов в самом деле не так уж часто говорит о судьбе национального государства и перспективах национализма. На долю так называемых «постмодернистов» выпало заявить об упадке «национального государства» вследствие подавляющего сочетания политического влияния, экономической глобализации, массовых коммуникаций и культурной гибридизации. Так, согласно Стивену Кастельсу и его коллегам, национальное государство «становится все более нерелевантным как на экономическом, так и на культурном уровнях» из-за глобальной экономической взаимозависимости и культурной гомогенизации. В мультикультурном государстве, вроде Австралии, попытки обращения к примордиальным темам национализма, как и ожидалось, терпят провал из-за нехватки героических мифов и влияния иммигрантов и их культур (Castles *et al.* 1988: 140–144).¹¹

Но даже если все обстоит именно так, то так ли уж типичны иммигрантские общества, наподобие австралийского? Порождают ли силы глобализации и массовой коммуникации подобные «наднациональные нации» где-то еще? Или же на самом деле полный отход от более не жизнеспособных национальных государств и национализмов расширит пространство для «племени» и «чужака», как утверждает Зигмунт Бауман? Можем ли мы отправить национализм в «огромный музей» истории для туристов, как это делает с ним занимательный справочник Дональда Хорна? (Baumann 1992; Horne 1984).

Таков основной довод — и надежда — тех, кто пользуется понятиями «наднационализм» и «глобальная культура». Они отмечают не только фрагментацию национальных идентичностей, рассмотренную выше, но и утрату экономического суверенитета, и растущую политическую зависимость всех национальных государств. И действительно, есть серьезные свидетельства в пользу этого утверждения — если, конечно, мы признаем, что были времена, когда «национальное государство» было в значительной степени автономным в обеих сферах, что, как признает даже МакНейл, в лучшем случае сомнительно; достаточно лишь рассмотреть множество небольших государств, вроде Люксембурга, Непала и Гватемалы, которые действительно были суверенными государствами, но едва ли можно сказать, что когда-то они были автономными. Еще важнее то, что после Второй мировой войны политическая и экономическая зависимость большинства государств сопровождалась широкой экспансией государственной власти внутри государства и проникновением в социальную и культурную сферы, особенно в таких областях, как всеобщее образование, средства культурной коммуникации, здравоохранение и социальное обеспечение. Такая экспансия легитимировалась националистическими идеологиями и в значительной мере возмещала и «компенсировала» внешнюю зависимость «национального государства» (A. D. Smith 1995a: ch. 4; Billig 1995: 141).¹²

Схожие проблемы возникают и в связи с утверждением о

том, что массовые коммуникации и электронные технологии порождают глобальную потребительскую культуру, которая делает национальные культуры все более открытыми, похожими друг на друга и даже ненужными. По утверждениям отдельных ученых, идея «глобальной культуры» может рассматриваться как еще одна форма (потребительского) империализма, действующего сквозь призму средств культурной коммуникации; хотя она и выдает себя за универсальную, она несет на себе печать своего происхождения и происходит из одного источника, Соединенных Штатов. В предлагаемой альтернативе глобальная культура выглядит как игриво эклектичный и «поверхностный» пастиш, приспособленный к «стилизованной (*pastiche*) индивидуальности» утонченного эмоционально, децентрированного «я», обитающего в «электронном, глобальном мире». Здесь глобальная культура предстает в виде совершенно новой технической конструкции, названной Лиотаром «самостоятельной электронной сферой», одновременно лишенной измерений времени, пространства и памяти, противоречащей всем нашим представлениям о культурах, которые должны олицетворять собой особые исторические традиции, мифы и воспоминания, а также определенные образы жизни, этнические сообщества и нации (Billig 1995: ch. 6; ср.: Tomlinson 1991: ch. 3; A. D. Smith 1995a: ch. 1).¹³

Кроме того, как показал Филипп Шлезингер, электронные средства культурной коммуникации и информационные технологии, на которых главным образом и базируется тезис о культурной глобализации, совершенно иначе воздействуют на различные классы, регионы и этнические сообщества, чем предполагается в этой аргументации. Как это ни парадоксально, в действительности электронные средства коммуникации служат укреплению старых этнических идентичностей или способствуют (вос)созданию новых. Такова также направленность исследования Энтони Ричмонда, посвященного тому, какими путями новейшая технологическая революция приводит к замене индустриального общества «обществом услуг». В этих «постиндустриальных» обществах

новые формы электронных средств коммуникации способствуют возрождению этнических сообществ, пользующихся этими плотными сетями лингвистических и культурных коммуникаций (Schlesinger 1987; 1991: Part III; Richmond 1984).

Альберто Мелуччи, придерживающийся интеракционистской точки зрения, к тому же говорит, что с наступлением кризиса и падением национального государства можно ожидать возрождения этничности в современных обществах, хотя и по совершенно иным причинам, нежели те, что были предложены МакНейлом. В эпоху добровольных сетей социального взаимодействия, основывающихся на потребностях и деятельности индивидов, этнонациональная организация служит важным каналом для индивидуальной идентификации и солидарности, «потому что она отвечает потребности в коллективе, приобретающей особое значение в сложносоставных обществах». Этнонациональные движения политически активны и к тому же служат основой для формирования культуры:

Поскольку иные критерии группового членства (например, классовый) ослабевают или уходят в прошлое, этническая идентичность к тому же отвечает потребности в идентичности, носящей в значительной степени символический характер. Опираясь на язык, культуру и древнюю историю, она делает возможным возникновение требований, выходящих за рамки специфических условий существования этнической группы.

(Melucci 1989: 89–92)

Это говорит не о преодолении этничности, но о возрождении этнических уз самими процессами глобализации, с точки зрения которых они выглядят чем-то устаревшим и ненужным, — это весьма похоже, причем, возможно, по схожим причинам, на возрождение сильных религиозных идентичностей среди этнических сообществ в тех обществах, где представлено множество религий и культур, вроде Англии и Соединенных Штатов, или в этнически и религиозно раско-

лотых обществах, вроде Нигерии и Индии. Как выразился бы Гидденс, глобальное и локальное питают друг друга (см.: Igwara 1995; Jacobsen 1997; Deol 1996).¹⁴

Последние события в мире, по-видимому, подтверждают такую точку зрения на глобальное этническое возрождение. После окончания холодной войны мы стали свидетелями удивительного всплеска движений за этническое отделение. Тем не менее, несмотря на вновь возросшее влияние этнического национализма, нормы международного сообщества, в сущности, остаются прежними, и они в течение долгого времени с враждебностью относились к любым попыткам изменения политической карты силой или оспаривания суверенитета отдельных государств со стороны сепаратизма или ирредентизма. Международное сообщество готово примириться с отделением только там, где оно является результатом взаимного и мирного соглашения (как в Сингапуре) или где имеется сильный региональный патрон, одобряющий такое отделение, как, например, Индия, выступившая за отделение Бангладеш от Пакистана. Недавнее возникновение примерно двадцати новых этнических государств в значительной степени является следствием исключительных событий — распада советской и эфиопской империй, хотя это не вполне объясняет отделение Словакии, Словении, Хорватии, Боснии и Македонии. Согласно Джеймсу Мейялу, как мы видели ранее, межгосударственная система доказала значительную устойчивость перед вызовом, брошенным национализмом еще во времена Французской революции, отстаивая приоритет принципа государственного суверенитета перед принципом национального самоопределения, вопреки вильсоновской попытке включить последний в структуру международного сообщества. Мейял поддерживает реалистическую точку зрения большинства теоретиков международных отношений, хотя он и показывает, что территориальный национализм служил опорой государственной власти и — шире — сообщества национальных государств, нуждавшихся в народной легитимности (Mayall 1991, 1992; см. также четвертую главу этой книги).¹⁵

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И НАДНАЦИОНАЛИЗМ

Но, если мы все же не можем ожидать скачка от этнонациональной идентичности к глобальному космополитизму, то не наблюдаем ли мы хотя бы и менее драматический, но все же беспрецедентный сдвиг лояльностей с наций и национальных государств к «наднациональным» континентальным регионализмам, которые могут мириться с субнациональными этническими идентичностями и культурными различиями?

Свидетельства в пользу этой более ограниченной и реалистической позиции берутся главным образом из изучения европейской политической и культурной интеграции. И вновь, литература уже настолько обширна, чтобы здесь можно было подвести какой-то итог. Одна из тем — возникновение европейского гражданства, выходящего за рамки или дополняющего существующие национальные гражданства. Так, гастарбайтеры и беженцы могут получить большинство социальных, экономических и даже политических прав граждан в форме «прав человека», не имея формального гражданства принимающей страны, куда они эмигрировали или бежали, даже если организация обеспечения этих прав человека остается национальной и потому специфической для каждого конкретного принимающего национального государства. По этой причине, исследователи, вроде Ясемина Сойсала, утверждают, что мы можем наблюдать возникновение «постнационального» типа гражданства в Европе наряду с существующей национальной моделью, хотя вопрос о том, насколько распространенной и действенной стала такая модель, остается открытым, поскольку одновременно имеют место как национально-государственная и этническая лояльности, так и всплеск национализма в Восточной Европе и расистско-националистическая негативная реакция на Западе (Soysal 1994, 1996; ср.: Mitchell and Russell 1996; Delanty 1995: ch. 10; Husbands 1991).¹⁶

Еще одна тема — возможность создания европейской культурной «идентичности», существующей наряду с нацио-

нальными идентичностями или охватывающей их через централизованное использование средств культурной коммуникации, плановые студенческие обмены и трудовую мобильность, изобретение и распространение паневропейских мифов, воспоминаний и символов, а также отбор, новое истолкование и популяризацию паневропейской истории (см.: Duroselle 1990; ср.: A. D. Smith 1992b). Однако, как показали Филипп Шлезингер и другие, создание европейской «идентичности» стало культурным полем битвы. Принимая во внимание продолжающееся укрепление позиций существующих национальных идентичностей в Европе, а также неопределенность границ в Европе и множество линий разлома, Шлезингер заключает:

Трудно представить разработку коллективной [т. е. европейской] идентичности... Создание всеобъемлющей коллективной идентичности всерьез можно воспринимать только тогда, когда оно является результатом длительной социальной и политической практики.

(Schlesinger 1992: 16–17)

Неудивительно, что «европейские» культурные измерения проекта европейской интеграции окружает неразбериха и что существуют различные модели окончательного объяснения «Европы», многие из которых считают как нацию, так и национальное государство своими основными ориентирами. Майкл Биллиг отмечает, что границы продолжают играть важную роль в «Европе» как области торговли и обороны, так и в области предупреждения иммиграции.

Таким образом, Европу можно представить в виде тотальности либо как единое отечество, либо как отечество отечеств. В любом случае идеологические традиции статуса нации, включая представления о границах, не преодолеваются.

(Billig 1995: 142)

Как же мы можем размышлять о создании европейской «идентичности»? Ссылаясь на мнение Раймона Арона, высказанное им в 1960-х годах, о том, что «старые нации будут жить в сердцах людей, а любви к европейской нации до сих пор нет, если ей вообще когда-либо суждено появиться на свет», Монтсеррат Гиберно утверждает, что конструирование Европы потребует развития «европейского национального сознания»:

Инженеры новой Европы должны будут рассмотреть «общеевропейские тенденции» и разработать миф о происхождении, переписать историю, изобрести традиции, ритуалы и символы, которые создадут новую идентичность. Но еще важнее то, что они должны будут найти общую цель, проект, способный мобилизовать энергию европейских граждан.

(Guibernau 1996: 114)

Но это значит, что придется создать определенную форму национализма, поднимающую проблемы не только «нехватки демократии», но и этнического и даже расового исключения иммигрантов. «Европа» должна быть выкована сверху по немецкой (*Zollverein*) или американской (федеральной) модели со всеми вытекающими отсюда проблемами широкого отклика, рассмотренными нами в связи с тезисом Хобсбаума. В то же самое время новая европейская культурная идентичность вынуждена будет соперничать с чрезвычайно устойчивыми *национальными* идентичностями и инкорпорировать их, а следовательно, воздвигнуть внешние культурные (а также экономические) барьеры. Если перспектива этнической «крепости под названием „Европа“» малопривлекательна, то таков и ассимиляционный потенциал гражданской модели, которая в любом случае может оказаться не состоянием завладеть привязанностями и лояльностями большинства граждан Европы, которые остаются закрытыми в исторически сложившейся мозаике этнокультурных наций (см. Pieterse 1995; A. D. Smith 1995a: ch. 5).¹⁷

ПОСЛЕ МОДЕРНИЗМА?

Говорит ли все это о том, что мы преодолели националистическую эпоху в тандеме с отходом от модернизма? Является ли эпоха «постмодерна» *ipso facto* «постнациональной», и отражается ли это в исследованиях «постмодернистской» направленности?

Подозрение, что «объективные» референты и эмпирические тенденции в определенном смысле являются отражением особого направления анализа, наводит на мысль о мерах предосторожности при соглашении с последней частью макнейловской трехчастной периодизации. Быть может, наблюдаемая нами реальность представляет собой отражение своеобразного зеркала, «показывающего характер»; очевидность «фрагментации» может оказаться в значительной степени продуктом использования деконструктивистских методов анализа применительно к какой-либо эмпирической тенденции. Как перенниалистская парадигма ищет и находит преемственность и укорененность, так и разнообразные постмодернистские методы анализа ищут и находят споры, непрерывное изменение и фрагментацию. И, разумеется, можно найти множество свидетельств в пользу обоих подходов.

Ни один подход, рассматривающий нации и национализм с позиций только одной теории или, по крайней мере, с плодотворной точки зрения, не кажется особенно полезным. Обоим есть что сказать нам об отдельных аспектах области этнических и национальных феноменов; и, конечно, даже из проведенного мной краткого обзора становится очевидно, что темы фрагментации и глобализации, снисходительно называемые «постмодернистским/постнациональным» подходом, вносят ценный вклад в анализ *современных* проблем этничности и национализма и способствуют их ясному пониманию. Но в этом и состоит основная трудность. За исключением некоторых феминистских работ, во многих исследованиях, ведущихся в данном направлении, наблюдается нехватка исторической глубины, — в области, которая как раз

и требует такой глубины, причем в отношении уже сложившихся исторически явлений. Как если бы исследователи перешли к третьему акту драмы (в периодизации Уильяма МакНейла), посчитав самоочевидной определенную версию модернистского сценария двух предыдущих актов. Но какую версию? И почему именно модернизма? В конечном счете, и МакНейл, и постмодернистская школа культурной фрагментации подчеркивают особую роль «культурного различия». Что говорит о заключении пакта с перенниализмом за спиной у модернистов. Да, нация, национальное государство и все его продукты могут быть современными, противоречивыми, запутанными и изменчивыми, но, несмотря на это, современные общества заново открыли силу основополагающих культурных различий. Но разве это не является, по замечанию Ниры Ювал-Дэвис, всего лишь еще одной формой «эссенциализма» и даже, возможно, примордиализма? (Yuval-Davis 1997: 59).

Не только в нехватке исторической глубины большинства современных исследований наблюдается их неполнота и «фрагментарность». И опять-таки, за исключением отдельных феминистских исследований, они не предлагают никакого общего объяснения наций и национализма и не пытаются раскрыть механизмы, при помощи которых они возникли, росли и развивались. В большинстве случаев это является следствием постмодернистского антифундаментализма и децентрированного исследования. Но это также явно присутствует в дискуссиях о глобализации и европеизации, гражданском или этническом типах национализма, твердо придерживающихся предметно ориентированного и причинного анализа. Они также склоняются к оценке феноменов этничности и национализма и их культурного и политического значения как исторических данностей, даже когда они рассматриваются как дискурсивные повествования и подвергаются смысловой деконструкции. Но в них не предлагается никакого общего объяснения их присутствия, изменений и значения, нет попыток осмысления проблемы возникновения наций, а также того, где и почему вообще появились на-

ции и национализмы и отчего они пробуждают столь сильные страсти.

Такая нехватка теоретических построений в какой-то мере может быть связана с глубоко двойственным отношением или — в случае национализма — открытой враждебностью к этим явлениям со стороны большинства исследователей. Небезынтересно, что вне связи с политикой сама по себе этничность как «культурное различие» вызывает определенную симпатию; а, с другой стороны, отдельные исследователи с одобрением отзываются об исключительно гражданской форме национализма. Именно фатальное сочетание этничности и национализма как «этнонационализма», в духе Эли Кедури, вызывает самые серьезные опасения и осуждение. Но в понимании многих исследователей именно это сочетание — будь оно молчаливым и «неявным», как кое-где на Западе, или открытым и взрывоопасным, как в Восточной Европе и отдельных областях Азии и Африки — больше всего требует внимания ученых и его объяснения. То, что оно столь глубоко укоренено и стало повседневным («привычным», как выразился Майкл Биллиг) на Западе, тоже требует объяснения. Рассматривать это как лишённую этнических черт, гражданскую форму национализма — это, я бы сказал, не только историческая и аналитическая, но также и политическая ошибка, и к тому же бесполезная и вводящая в заблуждение (см.: Billig 1995: 42–3).

Общим для большинства этих исследований, за исключением небольшой работы МакНейла и некоторых исторических гендерных исследований, является отход от любых «великих нарративов», вроде модернизма или перенниализма, как раз тогда, когда идет процесс возрождения этнонационализма и когда национальное государство и национальная идентичность вновь становятся центральными в спорах о направлении развития политики и общества. Без четко разработанной теории характера, возникновения и развития наций и национализма такие споры испытывают нехватку глубины и обоснованности. При отсутствии нового всеобъемлющего великого нарратива все неполные «малые нарра-

тивы» вынуждены будут находиться в зависимости и молчаливо заимствовать свое значение у той или иной версии существующих великих нарративов. А это ни в коей мере не способствует ни систематическому социальному осмыслению, ни государственной и социальной политике. Конечно, исследование может охватить лишь небольшую часть целого полотна, но и его смысл и значение могут сделаться понятными только на фоне более широкой структуры или картины. Если наличие такой структуры молчаливо признается в исследовании, оставаясь при этом нерассмотренным, то результаты такого исследования будут поставлены под сомнение вместе с его исследовательской программой. В этих обстоятельствах полезней связать исследование непосредственно с той или иной версией основных парадигм или создать новую, которая сможет оправдать определенную исследовательскую программу.

На мой взгляд, большинство исследований, вкратце рассмотренных мной в данной главе, соглашаются с той или иной версией модернистской парадигмы, которую они затем пытаются «преодолеть», говоря о новом периоде или «стадии» развития самих явлений. Едва ли в своем теоретическом осмыслении деконструктивистские исследования смогут как-то преодолеть присущее модернистам, вроде Геллнера, Андерсона или Хобсбаума, понимание наций и национализма. Но если эти модернисты (в том числе теоретики «гендера-нации») предлагают нам полные и всеобъемлющие исторические, политические и социологические объяснения наций и национализма, постмодернистские и близкие к ним исследования в своем желании показать изменчивые, фрагментарные и сконструированные качества этих явлений, отказываются признавать необходимость таких всеохватных работ или же просто принимают их как данность. При этом они освещают часть более широкого полотна лишь затем, чтобы оставить оставшуюся его часть в непроницаемой темноте. С точки зрения теории наций и национализма такое развитие можно рассматривать лишь как отступление от достижений модернизма.

Нельзя сказать, что сосредоточение на постмодернистском характере и этапе развития национализма не внесло важного эмпирического вклада в наше понимание проблемы, но эти эмпирические открытия несопоставимы с подобными широкими теоретическими достижениями. Некоторые из этих находок, особенно сделанные с позиции «гендера-нации», заимствовавшие концепции из других областей, с некоторыми поправками прекрасно могут быть включены в ту или иную из существующих парадигм и тем самым обогатить наше понимание более широких феноменов этничности, наций и национализма. Будет ли возможно создание новой всеобъемлющей парадигмы или же достаточно будет соединить гендерные концепции с уже имеющимися в данной области парадигмами — покажет время. Но до тех пор, пока исследования «фрагментации» и «постмодерна» не дадут ясного изложения своих исходных посылок в рамках более широкой социологической и исторической системы, они не в состоянии будут продвинуть вперед теорию наций и национализма и объяснить многие проблемы в данной области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ, ПАРАДИГМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Так в каком же положении сегодня находится теория наций и национализма?

ПРОБЛЕМЫ

Много лет тому назад Макс Вебер предупреждал о сложностях, связанных с попыткой построения «социологической типологии» «общности чувств солидарности», и его предостережение в равной степени относится и к общей теории наций и национализма. Среди проблем, рассмотренных в нашем исследовании:

- 1 Неспособность достигнуть согласия при определении области исследования; в частности, расхождение во мнениях между теми, кто стремится трактовать проблемы наций и национализма как совершенно особые и отличные от проблем этничности, и теми, кто считают, что этнические и национальные феномены включают в себя различные аспекты одной и той же теоретической и эмпирической области, — разграничение, соответствующее разграничению между модернистской и перенниалистской (а также примордиалистской) парадигмами.
- 2 Известные терминологические трудности в данной области и неспособность достигнуть даже предварительного согласия в определении ключевых понятий. Также очевидно, что ученые совершенно по-разному подходят к вопросу об определениях и, в частности, к вопросу о том, применимо ли понятие «нация» только в том случае, когда большинство определенного населения включено в нацию (и участвует в ней).
- 3 Проблемы определений возникают отчасти из-за серьез-

ных разногласий между основными парадигмами и методологическими подходами в данной области. Опять-таки нет согласия в вопросе об основополагающих теоретических задачах, не говоря уж об основных составляющих, например, процесса объяснения: следует ли в ходе него искать причины того или иного явления, должно ли оно применяться только к конкретным случаям, какова допустимая степень редукционизма и т. д.

- 4 Из всех этих общих различий возникает множество различных исследовательских программ и интересов в данной области. Принимая во внимание быстрое развитие политики этничности и национализма, вряд ли может вызвать удивление тот факт, что исследование должно охватывать широкий спектр тем и проблем в рамках обширной области этнических и национальных явлений, а также то обстоятельство, что зачастую бывает весьма сложно связать между собой различные исследования для получения относительно полной картины прогресса в данной области.
- 5 Наконец, существует проблема различного ценностного отношения к проблемам этничности и национализма. Вследствие чего зачастую возникают совершенно противоположные точки зрения на этнические и национальные явления, которые, в свою очередь, стимулируют различные исследовательские проблемы и интересы — как, например, нынешний интерес к гражданскому национализму, гибридным идентичностям и глобализации.

Есть и еще одна сложность — трудность, связанная с определением значимых проблем в данной области. Очень часто мы имеем дело с теориями, моделями и подходами, которые в равной степени убедительны и обоснованны, даже если кажется, что они основываются на противоположных предположениях, потому что они ищут ответы на совершенно разные вопросы. Наиболее явное различие здесь — это разница между оценками причин и следствий национализма. Но точно так же, как мы видели, различные теории и точки зрения

могут быть направлены на совершенно различные объекты объяснения, к примеру, на этнические идентичность и сообщество в отличие от наций и/или национализма или на политически значимые национализмы в отличие от национальной идентичности. Это означает, что мы не в состоянии с первого взгляда оценить относительные достоинства конкурирующих теорий и моделей и что их хвастливое соперничество является скорее мнимым, чем реальным, если принять во внимание совершенно различные вопросы, на которые они стремятся ответить, и, следовательно, различные аспекты, на которых они фокусируют внимание. Вместо подлинного теоретического диалога мы зачастую сталкиваемся с частично пересекающимися монологами.

В сущности, ни одна из теорий не пытается охватить весь спектр даже самых общих вопросов, которые можно поставить в отношении явлений, имеющих место в данной области. Сюда могли бы войти вопросы о происхождении и формировании этнических общностей (*ethnies*), условиях этноцентризма, основе этнического сообщества, а также о природе и значении национальной идентичности, социальных, культурных и политических основах наций и современности или противоположности наций, о (гендерном, классовом и культурном) характере националистических идеологий и движений, их роли в возникновении наций и национальных идентичностей и о вкладе националистических интеллектуалов и т. д., и, наконец, о значении для общества и культуры мира национальных государств, о геополитическом влиянии наций и национализма и о возможностях создания соответствующего межгосударственного сообщества.

ПАРАДИГМЫ

Принимая во внимание все эти проблемы и сложности, нетрудно было бы найти оправдание как нежелательности, так и невозможности осмысления задачи развития теории наций и национализма. И все же подобный вывод был бы необоснованным и излишне пессимистичным. Общая теория жела-

тельна и по интеллектуальным, и по социально-политическим причинам: чтобы понять и объяснить еще больший сегмент области этнических и национальных явлений и осознать механизмы и взаимосвязи между различными аспектами, измерениями и процессами в этой разветвленной области, как ради их же собственного блага, так и по причине заметного воздействия этнических и национальных явлений на другие области общественной жизни, особенно на международную политику и стабильность в мире. Учитывая взаимосвязь явлений в данной области, общая теория позволила бы нам понять конкретные явления или аспекты и тем самым показать перспективы и пределы политических проектов.

Но возможна ли такая теория? Существует ли хоть какая-то вероятность объяснения огромного множества явлений, рассмотрения множества различных вопросов и аспектов при помощи одной единственной теории? В свете приведенного выше критического рассмотрения существующих подходов ответ в настоящее время может быть только отрицательным. Данная область настолько расколота фундаментальными разногласиями и настолько разделена конкурирующими подходами, каждый из которых обращается только к тому или иному аспекту этой обширной области, что единый подход должен показаться совершенно нереалистичным, а какая-либо общая теория попросту утопией.

Однако, даже если мы пока что далеки от какого-то теоретического сближения, мы все же можем обратить внимание на целый ряд существенных достижений, заметно расширивших наши познания в данной области. В сравнении с довольно грубыми моделями 1950-х — начала 1960-х годов эти достижения выказывают куда большую степень искушенности и понимания сложностей в данной области. В отличие от ранних подходов и моделей, которые фокусировали внимание либо на идеологиях национализма *per se*, либо на социодемографических коррелятах «строительства нации», в работах последних трех десятилетий значительно большее внимание уделялось *субъективным* аспектам коллективных

культурных идентичностей — влиянию языка и массовой культуры, стратегиям политических и интеллектуальных элит, свойствам дискурсивных сетей и ритуализированных видов деятельности, а также воздействию этнических символов, мифов и памяти. Эти успехи серьезно расширили наше понимание этнических и национальных феноменов. И это, конечно, дает определенные основания для оптимизма.

В сущности, каждая из крупных парадигм в данной области внесла свой теоретический вклад, способствовавший улучшению нашего понимания динамики наций и национализма. Приведу некоторые примеры.

П р и м о р д и а л и с т ы пытаются осмыслить такие черты наций и национализма, как страсть и самопожертвование, выводя их из «примордиальных» атрибутов основных социальных и культурных феноменов, вроде языка, религии, территории и в особенности родства. Примордиалистские подходы — в культурной или социобиологической их разновидности — позволили нам ощутить тесную взаимосвязь между этничностью и родством, этничностью и территорией, и показали, каким образом они могут порождать сильные чувства коллективной принадлежности. Это очевидно не только в отношении работ ван ден Берге и Гирца, но также и в отношении исследования древнего Израиля у Кросби.

П е р е н н и а л и з м рассматривает нации с точки зрения *longue durée* и пытается осмыслить их роль в качестве долговременных составляющих исторического развития — рассматриваются они как непрерывные во времени или периодически вновь возникающие в истории. Перенниалисты склонны выводить современные нации из фундаментальных этнических уз, а не из процессов модернизации. Перенниалистские подходы, вроде подходов Фишмана, Армстронга, Сетон-Уотсона и — в том, что касается этничности, — Коннора и Горовитца, в значительной степени способствовали нашему осознанию

функций языка и этнических уз, а также силы мифов о происхождении и наследственных метафор в горячей народной поддержке национализма. Они служат ценными коррективами более крайних модернистских интерпретаций и напоминают нам о преемственности и периодическом повторении этнических феноменов.

Этно-символизм стремится открыть символическое наследие этнических идентичностей для отдельных наций и показать, как современные национализмы и нации заново открывают и истолковывают символы, мифы, воспоминания, ценности и традиции своих этноисторий, когда они сталкиваются с проблемами современности. Здесь попытки Армстронга, Хатчинсона, а также мои собственные, проследить роль мифов, символов, ценностей и воспоминаний в создании этнических и национальных привязанностей и выковывании культурных и социальных сетей также дополнили наше понимание субъективного и исторического измерений наций и национализма. Этому соответствует одновременная заинтересованность в исследовании того, каким образом националисты заново открывали и использовали с национальными целями этно-символический репертуар, особенно мифы и воспоминания об этнической избранности, святой земле, общей судьбе и золотом веке.

Модернисты стремятся вывести и нации, и национализм из недавних процессов модернизации и показать, как государства, нации и национализмы, и особенно их элиты, мобилизовали и объединили население при помощи новых средств для того, чтобы совладать с условиями и политическими требованиями современности. Модернистские подходы, вроде подходов Андерсона и Хобсбаума, детально осветили роль дискурсивных сетей коммуникации и ритуализированных видов деятельности и символики в создании национальных сооб-

ществ. Такие исследователи, как Манн, Бройи, Тилли и Гидденс, многое сделали для того, чтобы показать определяющую роль государства, войны и бюрократии, в то время как зачастую имеющая решающее значение роль политических элит и их стратегии исследовались такими учеными, как Брасс и Хечтер. Параллельно работу по исследованию конструктивной роли интеллигенции вели Хрох, Нейрн и другие, обеспечившие дальнейшее развитие ярких прозрений и масштабных исследований Геллнера и Кедури.

Постмодернистские исследования показали фрагментацию современных национальных идентичностей. Они говорят о наступлении нового «постнационального» порядка политики идентичности и глобальной культуры. Исследования таких постмодернистских тем, как фрагментация, феминизм и глобализация, могут считаться развитием отдельных составляющих модернистской парадигмы. Некоторые из них, особенно Бхабха, Чаттерджи и Ювал-Дэвис, избрали «постмодернистский» деконструктивизм, тогда как другие – к примеру, Моссе, Шлезингер, Кандийоти, Брубейкер и Биллиг – сосредоточились на исследовании новых измерений постмодерна. Хотя они с подозрением относятся к общей теории национализма, им удастся добиваться заметного прогресса в нашем осмыслении динамики идентичности в плюральных западных обществах.

Пять этих позиций обнаруживают, я полагаю, определенный порядок и последовательность в том, что на первый взгляд кажется зачаточной и неопределенной областью рассматриваемых явлений. Хотя некоторые исследовательские проблемы по-прежнему могут оставаться нерассмотренными, большая часть наиболее важных для ученых проблем может быть охвачена и осмыслена в рамках той или иной из этих основных парадигм. Они, в свою очередь, позволяют нам оценить основные достижения и успехи в данной области, обнаружи-

вая высокий уровень и широкий спектр исследовательской активности и то, что в последние десятилетия был сделан целый ряд новых теоретических достижений. Хотя в большинстве своем это были монологи, некоторые важные теоретические дебаты все же имели место, например, дебаты между примордиалистами и инструменталистами, а также между модернистами и перенниалистами; и по сравнению с положением 1960-х годов, когда данной областью занималось совсем незначительное число ученых, теоретическое исследование наций, национализма и этничности заметно выросло в своих масштабах, стало более глубоким и тонким.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Мы сталкиваемся здесь не с таким уж незнакомым парадоксом. С одной стороны, мало что указывает на теоретическое сближение в данной области, не говоря уже о единой теории или согласованной парадигме. Исследование наций и национализма глубоко расколото. С другой стороны, множество значительных теоретических и эмпирических достижений расширило наш кругозор и углубило наше осознание проблем, существующих в данной области. При этом исследование национализма остается делом весьма трудным. Чем больше важных вопросов остается без ответа, тем меньшее число ученых готово условиться о принципах даже в первом приближении. Принимая во внимание скорость возникновения новых идей и совершения открытий, наши трудности, скорее всего, возрастут. Хотя мы можем наблюдать некоторую консолидацию, поскольку эта область становится учебным предметом, а число лекционных курсов по нему быстро растет, теоретические послышки, исследовательские интересы и ценностные ориентации исследователей остаются слишком различными, чтобы гарантировать большую степень слаженности при исследовании этничности и национализма. Пока же все, на что мы можем надеяться, — это возникновение новых идей, которые высветят тот или иной угол этого обширного полотна, тем более что очень многие

ученые отказались от великих нарративов и работают, подгоняя парадигмы в соответствие со своими частными интересами. Будем надеяться, что через несколько лет ученые вернутся к основным парадигмам и возьмутся за поиск какого-то решения оставшихся нерешенными проблем. Разумеется, успех в этой области в значительной степени зависит от систематических попыток ответить на вопросы, а также от обсуждения проблем, которые были поставлены основными парадигмами, ибо только так рождаются новые идеи и исследования.

Означает ли это, что нет никакой перспективы преодоления пропасти между различными парадигмами и особенно между перенниалистами и модернистами? Подобный вывод опять-таки был бы излишне пессимистичным. Я могу обозначить два пути, которыми мы могли бы придти если не к согласию, то к определенному компромиссу не только между историками средневековья (и древнего мира) и историками нового времени, но и между перенниалистами и модернистскими социологами.

Первый находится на уровне теории. Мы можем рассмотреть сценарии по крайней мере частичного теоретического сближения, в которых интересы и послышки отдельных парадигм могли бы плодотворно сочетаться. Но этого можно достигнуть, только признав тесную взаимосвязь между этничностью, нациями, национализмом и утверждением перенниалистских историков о том, что *отдельные* нации и их конкретные национализмы существовали задолго до наступления современности (но в ограниченном виде). Это, в свою очередь, означает, что мы мысленно отделяем нации и определенные национализмы от «модернизации». В то же самое время модернисты, конечно, справедливо настаивают на современном характере *многих* наций, равно как и «национализма вообще» (идеологии и теории). Условия современности, несомненно, способствуют распространению наций, национальных государств и национализмов по всему миру. Это также привело бы нас к признанию справедливости идеи этно-символистов о том, что большинство наций возникло

на основе ранее существовавших этнических уз и чувств, даже если со временем они преодолеваются, и что их национализмы обязательно используют те этнические символы, воспоминания, мифы и традиции, встречающие наибольший отклик у большей части «народа», который требуется мобилизовать. Такого рода комбинированный подход мог бы также помочь нам в объяснении некоторых характерных для постмодерна проблем, связанных с глобализацией, этнической фрагментацией и возрождением этнических уз, а также глубоких исторических оснований ощущения древности и непрерывности, которое служит основой глубокой привязанности столь многих людей к своим этническим общностям (*ethnies*) и нациям.

Во-вторых, мы также можем попытаться в определенной степени согласовать парадигмальные допущения на уровне исследовательской работы. Здесь я имею в виду исследовательскую программу, которая могла бы побудить историков и социологов к сравнению различных форм ключевых институциональных и культурных измерений наций и национализма с целью обнаружения того, чем именно недавние и «современные» их формы отличаются от более ранних, «досовременных». В качестве первого шага мы могли бы провести сравнение по шести основным институциональным измерениям, как то:

- 1 Г о с у д а р с т в о. Сравнение форм политической организации от ранних монархий и городов-государств до самых современных многоэтнических демократических национальных государств помогло бы обнаружить, насколько схожи чувства преданности во всех них и насколько сильно они могли мобилизовать различные страты и выковыивать сплоченность в рамках государства. В частности, этот проект должен пролить свет на то, насколько необходимой составляющей любой идеи нации и национализма служат «гражданство» и права граждан.
- 2 Т е р р и т о р и я. Здесь мы также могли бы сравнить формы территориальной привязанности и характер границ

как общин, так и государств, на всех континентах в эпоху античности, средневековья и Нового времени. Также необходимо было бы изучить более сложные проблемы связанные с тем, как ландшафты и святые места способствовали возникновению представлений о «родине» и национальной территории, а также связанные с ними проблемы этнических ландшафтов, «естественных рубежей» и национальных границ.

- 3 Я з ы к. В свете значимости, придаваемой языку различными теориями национализма, этот проект должен был бы сопоставить то, каким образом языки и системы письма влияли на этнические и национальные чувства в различные периоды истории, и особенно, в какой степени и когда разнообразные движения за родной язык и языковое возрождение, а также связанные с ними литературные сочинения, способствовали росту этнической преданности и национальных чувств.
- 4 Р е л и г и я. Учитывая всплеск религиозных национализмов, еще более важным становится определение того, насколько ранние формы этнических чувств и поздние формы национализма были наполнены религиозными верованиями и настроениями. Здесь нам следовало бы предпринять сравнительное исследование воздействия систем верований различных мировых религий и особенностей их идей относительно этнической избранности, чтобы понять, насколько они способны мобилизовать народы и оказывать воздействие на современные, даже светские, национализмы. Нам также следовало бы показать, насколько успешными в распространении этих верований и настроений в различных этнических культурах и на различных этапах истории были священные писания, литургии, духовенство и церкви.
- 5 И с т о р и я. Принимая во внимание центральную роль «истории» и историописания в формировании национальных сообществ, нам следует сравнить различные формы исторического сознания и историографии в различных культурах и на различных исторических этапах,

чтобы определить, насколько современные формы отличаются от более ранних и насколько жизненно важным при возникновении и сохранении этнических сообществ и наций — в каждый период истории — было чувство общей истории. Такой проект сосредоточил бы особое внимание на разного рода «этно-историях» и значении различных образов «золотого века» общины.

- 6 Ритуалы и церемонии. Данный проект исследовал бы роль государственных церемоний, праздников, символов и ритуалов в формировании и поддержании коллективной идентичности и солидарности в различных культурах и на различных этапах истории. С учетом центральной роли мифов об истоках и происхождении, роль родовых памятников и обрядов поминовения, особенно тех, в ходе которых чтят память «великих усопших» и павших героев как в досовременных, так и в современных обществах, нуждается в особом рассмотрении.

Следуя этой логике, сочетание перспектив, парадигм и совокупности исследовательских программ не пытается скрыть глубокие теоретические расхождения, которым было отведено главное место в данном исследовании. Это также не означает того, что мы можем тем или иным образом «преодолеть» совершенно реальные проблемы, поднятые во время дебатов о парадигмах. Проблемы никуда не денутся, и расхождения не исчезнут. Но речь в приведенном выше наброске идет о том, что парадигмальные расхождения не увековечены в камне, что на практике ученые пересекают разделительные линии, и что мы можем предугадать плодотворные превращения и исследовательские программы, которые могут привести к дальнейшему прогрессу в нашем осмыслении этничности и национализма. И здесь у нас есть основания для осторожного оптимизма.

В чем мы можем быть уверены, так это в том, что, поскольку былые разделительные линии национализма вновь пересекают мир во всех направлениях и поскольку область этни-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ческих и национальных явлений становится все более притягательной для исследований, потребность в объяснении и понимании множества проблем, которые они ставят, становится все более настоятельной. Это значит, что мы не можем уклониться от задачи построения теории. Если прежние великие нарративы наций и национализма больше не внушают почтения, веления времени, в которое мы живем, заставляют нас давать новые объяснения, более созвучные нашему восприятию и проблемам, с которыми мы сталкиваемся.

ПРИМЕЧАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

- 1 Критику такого рода группового реализма и эссенциализма с точки зрения «нового институционализма» в социологии см. в работе Брубейкера (Brubaker 1996: ch. 1). Брубейкер утверждает, что традиционный «субстанциалистский» подход овеществляет нации, рассматривает их как реальные сообщества и как «субстанциальные, устойчивые общности». Следует избегать овеществления концепции «нации» и «мыслить национализм без наций». Краткое рассмотрение этой точки зрения см. в четвертой главе данной книги.
- 2 Анализ подобного «индивидуалистического» рецепта развития был предпринят применительно к национальному развитию в довольно-таки психологической манере Дэниелом Лернером (Daniel Lerner 1958) и в гораздо более социологически тонкой форме — У. Смитом (W. Smith 1968) и Рональдом Дором (Ronald Dore 1969). Мои соображения относительно этого подхода изложены в работе: A. D. Smith (1983a: ch. 5).
- 3 Брубейкер справедливо обращает наше внимание на явления в области социальной теории, бросившие вызов устоявшемуся «реалистическому» пониманию нации: они включают развитие «сетевой теории», теорий рационального действия, распространение «конструктивистских» теоретических воззрений и, наконец, возникшую постмодернистскую восприимчивость, подчеркивающую «фрагментарное, эфемерное и эрозию устоявшихся форм и четких границ» (Brubaker 1996: 13). На самом деле не все эти процессы развиваются в одном направлении. См. мои соображения о модели рационального выбора в третьей главе данной книги, о «конструктивистской» теории в шестой главе и о «постмодернистских» подходах в девятой главе.
- 4 К сожалению, мы не располагаем адекватным, учитывающим современную литературу библиографическим описанием в данной области, по крайней мере, на английском языке. На смену старой работе Коппела Пинсона (Pinson 1935) пришел более амбициозный труд Карла Дойча (Deutsch 1956); впоследствии они были дополнены краткими аннотированными библиографиями, составленными Стейном Рокканом и его коллегами (Rokkan 1972) и Э. Д. Смитом (A. D. Smith, 1973a). Краткие библиографические сведения также содержатся в хрестоматиях по национализму и этничности под редакцией Джона Хатчинсона и Энтони Д. Смита (*Nationalism and Ethnicity*, John Hutchinson and A. D. Smith 1994, 1996).
- 5 Пример такой приверженности воссозданию (этнического) прошлого посредством настоящего с опорой на современные предубеждения и интересы см.: Tonkin *et al.* (1989: Introduction). Критика такого под-

хода как проповедующего «блокирующий презентизм» содержится в очерке Пила (Peel 1989) об этногенезе народов йоруба в том же издании.

1 РОЖДЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО МОДЕРНИЗМА

- 1 J. Michelet: *Historical View of the French Revolution*, tr. C. Cocks, London: S. Bell & Sons, 1980: III, chs 10–12, 382–403, цит. по: Kohn (1955: 97–102). О Мишле см.: Kohn (1961); об аббате Сийесе см.: Cobban (1957).
- 2 О Гердере и Мозере см.: Barnard (1965), а также: Berlin (1976). См. также: Viroli (1995: ch. 4). О взглядах Милля см.: Mill (1972). О развитии взглядов раннего национализма см. подробное исследование Кемилайнена (Kemilainen, 1964) и краткий обзор Любера (Llobera, 1994: ch. 7).
- 3 О расистских схемах национализма см.: Poliakov (1974) (Поляков 1996) и A. D. Smith (1979: chs 3–4). Гегельянское наследие в марксизме и особенно его влияние на взгляды Энгельса рассмотрены в работе: Rosdolsky (1964); ср. также: Davis (1967: chs 1–3).
- 4 Bauer (1924). Значительный фрагмент на английском языке приведен в кн.: Balakrishnan (1996: 39–77) (Бауэр 2002). Об австромарксистах см.: Talmon (1980: Part III, ch. 7) и Nimni (1994).
- 5 Мне неизвестны какие-либо исследования отражения этих противоречий в трудах основоположников или ведущих представителей национализма. Тем не менее, см.: Baron (1960) и A. D. Smith (1979: ch. 5). О Мадзини см.: Mack Smith (1994).
- 6 См., например, известную работу Сталина 1913 года (Stalin 1936; Сталин 1936). О ранних марксистских взглядах на национализм см.: Fisera and Minnerup (1978). О позднейших марксистских представлениях см. рассмотрение точки зрения Тома Нейрна Эриком Хобсбаумом: Hobsbawm (1977).
- 7 Об использовании моделей поведения толпы в функционализме см.: Kornhauser (1959); Smelser (1962), а также мои критические замечания в работе: A. D. Smith (1983a: ch. 3). О влиянии позднего Фрейда, Зиммеля и Мида см.: Grodzins (1956), Doob (1964) и Barbu (1967).
- 8 Это влияние особенно заметно у исследователей, которых я отношу к государственно-ориентированному модернизму, таких как Гидденс, Бройи и Манн. См. четвертую главу данной книги.
- 9 См. также: Hertz (1944); Shafer (1955). Критика схемы, предложенной Коном, содержится в работе: Hutchinson (1987: ch. 1). Критику типологий Кона, Хейса, Снайдера и др. см. в работе: A. D. Smith (1983a: ch. 8).
- 10 О Великой французской революции и национализме см.: Shafer (1938), Cobban (1969), Kohn (1967b), O'Brien (1988b). Точку зрения о том, что национализм появился в XVI веке, см.: Marcu (1976), а критику подобного подхода: Breuilly (1993: 3–5). Вопрос о европейских корнях национализма в Азии и Африке рассмотрен в работе: Hodgkin (1964) и Ке-

- dourie (1971). См. также его критический анализ в работе: Chatterjee (1986).
- 11 См., напр.: Walek-Czernecki (1929), Handelsman (1929), Levi (1965), Brandon (1967). См. также дебаты в сборнике статей под редакцией Типтона (Tipton 1972) и критику взглядов Хью Сетон-Уотсона (Seton-Watson 1965 and 1977) со стороны Сьюзен Рейнгольдс (Susan Reynolds 1984), рассмотренную в восьмой главе данной книги.
 - 12 Это особенно справедливо применительно к теории Геллнера, который, например, пишет, что «национализм — это не пробуждение древней, скрытой, дремлющей силы... Нации как естественный, данный от Бога способ классификации людей... — это миф» (Gellner 1983: 48–49; Геллнер 1991: 112–114). О «натурализации» националистических конструкций нации см.: Renfroe (1995); Vrubacker (1996: ch. 1). О примордиализме см. седьмую главу данной книги.
 - 13 О концепции «государства-нации» см. работу Зартмана (Zartman 1964), который выводит ее из африканского опыта территориальных форм национализма. См. также: A. D. Smith (1983b; chs 1–3).
 - 14 Истоки этой модели содержатся в работах Карла Дойча (Karl Deutsch 1966, 1st edn 1953), Дэниела Лернера (Daniel Lerner 1958), а также в совместном труде Карла Дойча и Уильяма Фольца (Karl Deutsch and William Foltz 1963). См. также среди прочего: Pye (1962), Apter (1963a), Binder (1964), Almond and Pye (1965), Bellah (1965); Eisenstadt (1965, 1968). Критику их функционалистских идей см.: A. D. Smith (1983a: ch. 3; 1973b).
 - 15 Эти ранние модернистские представления и теории, появившиеся до 1970 г. были проанализированы мной в работе: A. D. Smith (1983a: chs 1–6).

2 КУЛЬТУРА ИНДУСТРИАЛИЗМА

- 1 См. также лекцию Геллнера 1982 года: Gellner (1987: ch. 2). Критику ранней редакции см.: Kedourie (1971: 19–20, 132); A. D. Smith (1983a: ch. 6).
- 2 Геллнер добавляет, что, хотя другие события Нового времени, от Реформации до колониализма, способствовали его распространению, национализм, по сути своей, является продуктом индустриальной организации общества именно из-за того, что индустриальное общество нуждается в культурной гомогенности, так что в конечном итоге всякое современное государство должно быть легитимным с точки зрения национального принципа (Gellner 1983: 40–43; Геллнер 1991: 95–103).
- 3 Возможно, в своем описании руританцев и мегаломанцев Геллнер вспоминал опыт чешской миграции на немецкоязычные территории Богемии в Габсбургской империи; точно так же, как опыт бидонвильей Марокко, с которым он столкнулся при проведении своего исследования, посвященного берберам, в значительной степени повлиял на раннюю редакцию его теории.
- 4 Здесь Геллнер, безусловно, имеет в виду образцовые общины армянских

- и еврейских диаспор, которые, несмотря на владение многими языками и выполнение требующих известной гибкости функций экономических посредников, полагали, что религия их священного писания стала непреодолимым препятствием, «моральной пропастью», между ними и принимающим обществом; ср.: Armstrong (1976) и Zenner (1991).
- 5 Геллнер использует термин «пролетариат» не в традиционном марксистском смысле слова (наемные работники, занимающиеся ручным трудом), а включает также всех крестьян и сельских жителей физически и ментально оторванных модернизацией от своих корней.
 - 6 Критику исторических связей между националистическими движениями и индустриализмом см.: A. D. Smith (1983a: ch. 6); см. также: Nettl and Robertson (1968: part I).
 - 7 Общую критику эволюционных теорий модернизации и их приложения к современному социальному и политическому сдвигу см.: Geiger (1967), Gusfield (1967), Dore (1969), Nisbet (1969) и A. D. Smith (1973b).
 - 8 В недавней полемике по данному вопросу в Уорике Геллнер (Gellner 1996) сослался на эстонцев как на пример вполне современной «высокой» культуры, которая возникла *ex nihilo* в девятнадцатом веке. По-прежнему остается открытым вопрос о том, почему эстонцы не переняли высокую культуру их немецких господ или российских соседей, а модернизировали свою собственную «низкую» культуру? См.: A. D. Smith (1996b). В посмертно опубликованной работе «Национализм» Геллнер (Gellner 1997) далее развил свою точку зрения об исключительно современном происхождении наций. О развитии эстонского национального сознания см.: Raun (1987: 23–24, 32–33, 53–66, 62–67, 74–80). Применение Геллнером своей теории к восточноевропейским национализмам см.: Gellner (1994: esp. ch. 2).
 - 9 О проблеме этнического добровольчества в годы Первой мировой войны см.: Breuilly (1993: ch. 2).
 - 10 О французской Третьей республике и учебнике Лависса см.: Citron (1988); в более общем плане см.: Ozouf (1982). О Японии см.: Lehmann (1982); о Турции: Berkes (1964) и Kushner (1976); и о Нигерии: Igwara (1993).
 - 11 О представлениях Руссо о нациях и патриотизме см.: Cohler (1970) и Viroli (1995: ch. 3). О национализме Фихте см.: Reiss (1955) и критику в работе: Kedourie (1960). О Гокалле см.: Lewis (1968: ch. 10) и Kedourie (1971: Introduction). О Бен-Цион Динуре см.: Dinur (1969).
 - 12 Именно Уокер Коннор первым обратил внимание на неоднородный в этническом отношении характер девяности процентов стран мира в контексте критики модели «строительства нации» в выдающейся статье под названием «Строительство или разрушение нации?» (Connor 1972; переиздана в: Connor 1994: ch. 2). См. также рассмотрение территориального и этнического национализмов в работе: A. D. Smith (1991: chs 5–6). Все национализмы борются за единство нации, но не все рассматривают такое единство с точки зрения этнической чистоты.

- ты или культурной гомогенности. Именно непостоянство природы *explanandum*, понятия нации, делает столь затруднительным универсальное использование одной единственной общей теории.
- 13 Проблемы поддержания или восстановления национальной идентичности в мультикультурных обществах овладели умами теоретиков «постсовременности», озабоченных культурными различиями в западных либерально-демократических государствах. Некоторые из этих проблем я затрагиваю в девятой главе данной книги. См., напр.: Miller (1995: ch. 4) и Tamir (1993), а о политике мультикультурализма: Kymlicka (1995).
 - 14 О чехах и их национализме см.: Zacek (1969), Seton-Watson (1977: 149–157), Agnew (1993) и Pynsent (1994: chs 2, 4). О финнах и возникновении финского национализма см.: Branch (1985: Introduction), Singleton (1989) и Tagil (1995: part III). Об украинцах см.: Portal (1969), а о растущем ощущении отличия от великороссов см.: Saunders (1993). О словаках и возникновении словацкого национализма см.: Brock (1976), Paul (1985) и Pynsent (1994: ch. 2).
 - 15 Об этом общем представлении см.: Tonkin *et al.* (1989: Introduction); но ср.: A. D. Smith (1997b). Образы национальных *exempla virtutis* см.: Rosenblum (1967: ch. 2).
 - 16 О националистическом использовании Тилаком индуистской религии и эпизодов из прошлого см.: Adenwalla (1961) и Kedourie (1971: 70–74). О современном развитии индуистского национализма в Индии см.: van der Veer (1994).
 - 17 Об этом «блокирующем презентизме» см.: Peel (1989); более общую критику см.: A. D. Smith (1988, 1997b).
 - 18 Всестороннее обсуждение «этничности» см.: Tonkin *et al.* (1989) и Erikson (1993). Об отношениях этнических общностей (*ethnies*) и наций см. седьмую и восьмую главы данной книги.

3 КАПИТАЛИЗМ И НАЦИОНАЛИЗМ

- 1 Существует обширная литература, посвященная марксистским подходам к вопросу о национализме. См., напр.: Shaheen (1956), Davis (1967), Fisera and Minnerup (1978), Connor (1984).
- 2 По вопросу о теории народов без истории см.: Rosdolsky (1964) и Cummins (1980).
- 3 Об идее «неравномерного развития» в ранней формулировке Геллнера см.: Gellner (1964: ch. 7). Идеи Франка см.: Frank (1969), а их критику см.: Laclau (1971), Warren (1980). О более непосредственной связи с национализмом: Orridge (1981).
- 4 Общее рассмотрение исследования Нейрна см.: James (1996: ch. 6). О двух видах национализма см.: A. D. Smith (1991: chs 5–6).
- 5 См.: Nairn (1977: ch. 5). О раннем индийском национализме см.: MacGulley (1966), Seal (1968) и Chatterjee (1986). О популизме см.: Pearson (1993), и о националистических романтических движениях см.: Porter

- и Teich (1988). Марксистскую критику значения, придаваемого Нейром популистскому национализму, см.: Hobsbawm (1977).
- 6 О новой «становящейся нации» см.: Rotberg (1967). Национализм Французской революции превозносил «народ», но в доромантической, неоклассической манере; см.: Minogue (1967) и Kohn (1967b). О взаимосвязи неоклассической и романтической составляющих см.: A. D. Smith (1976).
- 7 Критику см. в статьях: Stone (1979). О Франции конца девятнадцатого века см.: E. Weber (1979). О возникновении национализма у «чрезмерно развитых» народов см.: Horowitz (1985: ch. 6) и Gellner (1983: 101–109).
- 8 Этот тезис был выдвинут в работе: Rostow (1960), но вряд ли его можно назвать общей закономерностью. О взаимосвязи культурного национализма и экономического роста в Японии см.: Yoshino (1992). О концепции ограничения гражданских прав (*atimia*) см.: Netti and Robertson (1968: Part I).
- 9 В конце 1950-х и в 1960-х годах эта тема была особенно популярной: эпоха деколонизации в Африке и Азии ассоциировалась у колониальных правителей и их оппонентов с деятельностью интеллектуалов и, в более общем смысле, интеллигенции, на которую возлагалась ответственность за распространение социалистического национализма во многих странах «третьего мира». См. особенно: Hodgkin (1956), Coleman (1958), Shils (1960), Seton-Watson (1960), J. H. Kautsky (1962), Worsley (1964), Binder (1964), также как и теории Геллнера – Gellner (1964), Kedourie (1960, 1971) и A. D. Smith (1983a: ch. 10; 1979: chs 4–5, 7; 1981a: chs 5–6). Вследствие придания особого значения интеллектуалам была заслонена роль других страт, а также отношений между элитами и народными массами.
- 10 Некоторые примеры взаимоотношений между светскими националистами, традиционными элитами и народными массами см.: D. Smith (1974) и Brass (1991). О случае Эритреи см.: Cliffe (1989); о борьбе Бельуджистана см. пронциательную статью С. Харрисона «Этничность и политический тупик в Пакистане»: Banuazizi and Weiner (1986: 267–298, особ. 271–277); и, в более общем плане, см.: Brown (1989).
- 11 В соответствии со сделкой, заключенной в ходе переговоров об унии в 1707 году, шотландские элиты согласились отказаться от собственного парламента, но сохранили свою автономию в образовании, местном самоуправлении, правовой системе и церковной организации; см.: Napham (1969) и Webb (1977).
- 12 См., напр., исследование Квебека: McRoberts (1979), венгров в Трансильвании при Габсбургской империи – Verdery (1979).
- 13 Здесь меня интересует лишь применение теории «рационального выбора» к национализму, а не общее обсуждение ее обоснованности и полезности. Однако см.: Olson (1965) и Hechter (1987).
- 14 Хечтер считает, что издержки сецессии общеизвестны и понятны. О средних классах как главных сторонниках сепаратистского национа-

- лизма см.: Hroch (1985) и Breuilly (1993: ch. 2). Детальное исследование, подтверждающее это положение на примере Квебека, см.: Pinard and Hamilton (1984).
- 15 Рассмотрение общей теории Горовитца см. в седьмой главе данной книги. Другие исследования сецессионистских движений, придающие большее значение геополитическим факторам, а также международным отношениям и юридическим нормам, см.: Beitz (1979: Part II), Wiberg (1983), Mayall (1990: ch. 4) и Heraclides (1991).

4 ГОСУДАРСТВО И НАЦИЯ

- 1 Имеется обширная литература о бюрократии и государстве, но литература об их связи с нациями и национализмом невелика. Помимо теоретиков, рассматриваемых в этой главе, см.: Bendix (1996; 1st edn 1964), Poggi (1978) и Tivey (1980). Отдельные исследования конкретных проблем см.: Corrigan and Sayer (1985), Brass (1985) и Brubaker (1996: ch. 2).
- 2 Опять-таки, имеется обширная литература, посвященная марксистскому анализу государства, но очень мало работ, подробно разбирающих его связь с нациями или национализмом; но см.: Alavi (1972), Markovitz (1977), Saul (1979) и Amin (1981); а также: Poggi (1978).
- 3 О колониальном и постколониальном государстве в Африке см.: Montagne (1952), Zartmann (1964), A. D. Smith (1983b: ch. 2) и Neuberger (1986).
- 4 Кроме этих типичных западноевропейской и восточноевропейской моделей, существуют, по крайней мере, две другие: колониальная модель «от государства к нации» в Азии и Африке, которая вследствие иноземного правления не совпадает с характерной для Запада моделью «от нации к государству»; и модель иммигрантов-поселенцев, в которой этнический фрагмент создает государство, а затем пытается включить другие иммигрантские этнические фрагменты, как в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии; см.: Laczko (1994) и Castles *et al.* (1988).
- 5 О взаимовлиянии национализма и межгосударственного порядка см.: Hinsley (1973) и Azar and Burton (1986). Потребности безопасности государств и сообществ в качестве необходимых составляющих в ходе возникновения национализма рассматриваются в работах: Posen (1993) и Snyder (1993).
- 6 Манн приводит пример «шумеров» (Mann 1986: 90–93) как союзного «народа», чьи «профессиональные писцы использовали единую систему письменности, учились торговле при помощи одинаковых перечней слов и заявляли, что они действительно представляют собой единый народ, шумеров». Он предостерегает от заимствования тезисов этнографии девятнадцатого века о том, что «шумеры объединялись этнической культурой, образуя единый генофонд» (*ibid.*: 92). Здесь смешивается этническая культура и идеология и нельзя дать действительную оценку субъективных факторов, вроде представлений шумеров о своей коллек-

тивной идентичности. Тем не менее, Манн соглашается с тем, что шумеры, возможно, были «этническим сообществом» и имели пусть «слабое, но все же реальное чувство коллективной идентичности, подкрепляемое языком, мифами об истоках и изобретенными генеалогиями» (*ibid.*: 92). Вообще, за исключением древнего Египта, досовременные этнические сообщества были «незначительными и племенными», наподобие евреев, тогда как крупные социальные единицы (империи или племенные конфедерации) «были слишком стратифицированными для того, чтобы сообщества могли преодолевать классовые барьеры» (*ibid.*: 159). (Исключениями в древнем мире, по-видимому, будут ассирийцы, которые создали то, что Манн считает аристократической формой «национализма», и греки, у которых было три концентрических культурных общности — полис, Эллада и человечество.) В других обстоятельствах Манн соглашается с тезисом Геллнера о том, что никакое межклассовое культурное единство на конкретной территории, а следовательно, нации и национализм, не было возможно до начала Нового времени (Mann 1993: 215–216; ср.: Hall 1985).

- 7 О немецком национализме и объединении см.: Droz (1967: 147–152) и Hughes (1988); об объединении Италии см.: Beales (1971) и Riall (1994); и об объединении Германии и Италии см.: Alter (1989: ch. 3) и Breuilly (1993: 96–115).
- 8 О национализме и территории см.: Anderson (1991: ch. 10) (Андерсон 2001: гл. 10), статьи в сборнике: Hooson (1994), а также: A. D. Smith (1996a) и (1997a).
- 9 О тесной связи между народным языком и этничностью, особенно в Восточной Европе, см.: Fishman (1972, 1980) и Petrovich (1980). Примеры тесной связи между мобилизацией народного языка и национализмом см.: Branch (1985) — о финском национализме и «Калевале», Kitromilides (1979, 1989) — о греческом языке и национализме, и Conversi (1990, 1997) — о баскском и каталонском национализме. См. также анализ роли устного общения и народного языка в распространении сикхских этнонационалистических притязаний на создание Калистана в работе: Deol (1996). О позднесредневековой Англии, христианстве и народном языке см.: Hastings (1997: ch. 2).
- 10 Бройи противопоставляет свой набор националистических суждений тому, что был выделен мной (A. D. Smith 1983a: ch. 1; 1973a: section I), открыто отвергая мое предположение об универсальности и полицентричности современного национализма.
- 11 Другие исследования социального состава националистических движений см.: Hroch (1985) и A. D. Smith (1983a: ch. 6).
- 12 Джон Бройи справедливо выступает против оценки национализма как политики интеллектуалов (которая явно умаляет его силу и резонанс). В то же самое время он недооценивает и ошибочно понимает причины того, почему национализм особенно привлекателен для интеллектуалов. На мой взгляд, это связано не столько с его интеллектуальными абстракциями, сколько с его обращением к эстетическому вообра-

- жению. Именно эстетические и поэтические свойства нации (как признает и сам Бройи в отношении значения церемоний и ритуалов буров), а также моральное и дидактическое измерения национализма, столь привлекательны для художников, писателей, поэтов, историков, журналистов и педагогов. Это прекрасно исследовано и показано на примерах в работах Джорджа Моссе (Mosse 1964, 1976, 1994).
- 13 Об бурских мифах предопределения и переселения см.: Thompson (1985) и Cauthen (1997); о мифах и статусе нации в целом см.: Hosking and Schöppflin (1997).
 - 14 Подобный довод, выдвинутый против марксистских эволюционистов, см.: Orridge (1981). В этой работе отмечается множество аспектов и проблем, включаемых в понятие «национализм».
 - 15 Вебер, разумеется, дополнял «сопереживание» «достаточным причинным» анализом; см.: Freund (1970) и Giddens (1971); см. третью главу данной книги (о Хечтере).
 - 16 По вопросу о методе определения понятия «нации» см.: A. D. Smith (1983a: ch. 7); Connor (1978); Greenfeld (1992: ch. 1); Hastings (1997: ch. 1); а также: Calhoun (1997: Introduction and ch. 1).
 - 17 Об этих национализмах и их культурных ценностях см.: Conversi (1997) и Brand (1978). Другие примеры — Уэльс, Бретань и, возможно, Квебек; см.: Mayo (1974), Williams (1977) и McRoberts (1979).
 - 18 Мой ответ на геллеровскую версию формирования нации вследствие национализма см. во второй главе данной книги. Представление о том, что мы не можем отделить исследование «национальной идентичности» от исследования «национализма», см.: Billig (1995).
 - 19 Об этих национализмах диаспор см.: Sheffer (1986) и A. D. Smith (1995c); вообще о диаспорах см.: Armstrong (1976) и Cohen (1997).
 - 20 Я исключаю здесь случай нацистов, самим Бройи выдвигаемый на первый план, ибо он связан с другими — расовыми и ненационалистическими — идеологическими аспектами и мотивами; см.: A. D. Smith (1979: ch. 3).

5 ПОЛИТИЧЕСКОЕ МЕССИАНСТВО

- 1 О функционалистской точке зрения на политику и религию см. особенно: Apter (1963b) и Eisenstadt (1968). Критику см.: A. D. Smith (1983a: ch. 3).
- 2 О Дюркгейме и национализме см.: Mitchell (1931). См. также: A. D. Smith (1983b) и Guibernau (1996: 26–31).
- 3 По Кедури, национализм — это совершенно светская и современная, а равно изобретенная идеология. Он также является доктриной, которая требует культурного единообразия, а также обращается к интеллектуалам, чей статус зависит от языковых и культурных знаний и сознания. Кедури также отмечает, что грамотность и рационалистическое образование были специфически европейскими заботами и приобретениями и что европейское научное изучение чужеземных народов и

- территорий наряду с распространением грамотности способствовало открытию и классификации неевропейцев как этнических групп и наций, а также возникновению «маргиналов» (Kedourie 1971: 27).
- 4 Отдельные примеры склонности национализма к ассимиляции традиционной религии см.: Binder (1964), A. D. Smith (1973c) и D. Smith (1974). Однако см. более общий анализ Юргенсмайера (Juergensmeyer 1993), который доказывает обратное — попытку возрожденной традиционной религии подобрать под себя нацию в борьбе против светского государства.
- 5 Кедури (Kedourie 1971) также исследует религиозно-политические идеалы и деятельность Нкрума, Ганди, Дедана Кимати, Симона Кимбангу, Андре Матва, Джон Чилембве, Кениатта, Сукарно и Маркуса Гарвея, которые были увлечены характерным для «маргиналов» экстремизмом; см. также: Kedourie (1966).
- 6 Исследование рецепции националистических идей в Африке района Сахары с учетом местных условий см.: Markovitz (1977: ch. 3), а об Индии см.: Chatterjee (1986; 1993).
- 7 Например, никакое милленаристское движение в Египте (но не в Судане) не предшествовало возникновению египетского национализма в 1880-х годах или турецкого национализма в Турции в 1900-х. Напрасно мы ищем индийский милленаризм, предшествовавший возникновению индийского национализма в 1880-х годах, или какое-либо милленаристское движение, предшествовавшее становлению французского или немецкого национализма; см.: A. D. Smith (1979: ch. 2).
- 8 Конечно, в одном отношении Кедури прав: «локальных аномалий» — множество, а их глобальные проявления указывают на более широкое видение национализма, посредством которого должна быть раскрыта «истинная природа» мира. Именно это «натурализующее» качество национализма делает его столь радикальным. Кедури (Kedourie 1992) исследует переход к такой радикальной политике на Ближнем Востоке.
- 9 Они, конечно, рассматриваются как преимущественно мужские добродетели (с женщинами, выступающими в роли матерей воинов), о чем см.: Nira Yuval-Davis (1997) и Sluga (1998), а также мой краткий обзор в девятой главе данной книги. О самоотверженных, стоических национализах см.: Herbert (1972) и Draper (1970); и Elshtain (1993).
- 10 Название классического протосионистского памфлета Пинскера — «Автоэмансипация» (1882). *Fraternité* (оно не включало *sonorite*) требовало самоотречения и самопожертвования, о визуальной репрезентации которых см.: Rosenblum (1967: ch. 2), Honour (1968: ch. 3) и Detroit (1975).
- 11 Также не ясно, считает ли Кедури, что этнические общности (*ethnies*) предвосхищают национализм и возникновение наций. Временами он, кажется, говорит о том, что существует некоторое этническое сообщество, (религиозное) прошлое которого может использоваться и искажаться, как происходит у современных турецких, греческих и еврейских националистов.
- 12 О различиях и сходствах между религиозными и националистическими

- ми установками и практиками см. раннюю работу: von der Mehden (1963); ср. также: Brass (1974) и Brass (1991). Точка зрения Кедури — это не обычный инструментализм. Для него сдвиг от религии к национализму является частью глубокой, если не катастрофической, революции, возвещающей о конце терпимого, плюралистического мира и приходе на смену ему грубого, усредняющего и губительного мира. Это не отклонение, но и не обычный заговор. Ущерб здесь значительно больше, а опасность намного выше.
- 13 Можно усомниться в методе Юргенсмайера, который в своих интервью встает на сторону властей (а в ряде случаев поддерживает конкретных их представителей), и поставить под вопрос его вывод о глобальном противостоянии светского западного и религиозного национализма, учитывая отсутствие каких-либо признаков единства между различными формами религиозных (в том числе фундаменталистских) национализмов, о чем см.: Marty and Appleby (1991). Но Юргенсмайер, конечно, справедливо отмечает сохранение значения религии и религиозных общин во многих странах и то, что религиозные убеждения и чувства лежат в основе многих национализмов.
 - 14 Исследование Капферера значительно помогает пониманию и осмыслению отношений между религиозными традициями и национализмом, но могут поинтересоваться: сплачивает ли и сегодня пример АНЗАК, который разбирается им с такой пронизательностью, большинство австралийцев и может ли он сохранить национальное чувство в условиях становящегося все более мультикультурным иммигрантского общества; см.: Castles *et al.* (1988).
 - 15 Более полное рассмотрение этих тем см.: A. D. Smith (1996a) и статьи в: Hosking and Schöpflin (1997).
 - 16 Каузальное значение *ressentiment* для национализма можно поставить под сомнение, но Гринфельд (Greenfeld 1992) предлагает богатое и всестороннее исследование, прибегая к множеству других каузальных факторов при рассмотрении конкретных исторических примеров.

6 ИЗОБРЕТЕНИЕ И ВООБРАЖЕНИЕ

- 1 Исследовательская литература о постмодернизме обширна, но, хотя постмодернисты много говорят о социальных идентичностях, феминизме и постколониализме, они никогда не уделяли такого внимания национализму. Но см.: Bhabha (1990: ch. 16) и Chatterjee (1993), вкратце рассмотренные в девятой главе данной книги, а также ряд статей в работах: Ringrose and Lerner (1993) и Eley and Suny (1996). В столь кратком обзоре, как этот, невозможно по достоинству оценить эту быстро растущую литературу. По теме «национализм и постмодерн» см. краткий очерк в работе: Smart (1993: 139–145).
- 2 Хобсбаум ссылается на исследование Рудольфа Брауна о швейцарском культурном и общественном развитии: *Sozialer und kultureller Wandel in einem ländlichen Industriegebiet im 19. und 20. Jahrhundert*, ch. 6 (Erlenbach-

- Zurich 1965). Но то же касается проблемы швейцарских мифов о происхождении: Kreis (1991); ср.: Kohn (1957).
- 3 Отметим, что здесь Хобсбаум переносит акцент с «нации» и национализма на «национальное государство», поскольку он полагает, что бессмысленно говорить о «нации» вне связи с территориальным государством. Но на самом деле проблема заключается в том, насколько новы израильская и палестинская «нации» вне связи с государством; см.: Kimmerling and Migdal (1994) и Shimoni (1995: ch. 1).
 - 4 В определенном смысле в этом заключается основная идея его критиков, хотя Хобсбаума интересует волна производства «изобретенных традиций», нежели их рецепция. О французских мемориалах и памятниках см. тома под редакцией Пьера Нора (Nora 1984, 1986) (vols I, *La République*; II, *La Nation*).
 - 5 Здесь Хобсбаум следует бартовскому анализу этничности (Barth 1969) как социального разграничительного феномена исключительности.
 - 6 Разумеется, значительную роль французского национализма в Революции можно не заметить, лишь провозглашая первенство немецкого романтизма и органической версии национализма. О дореволюционных представлениях о нации во Франции см.: Palmer (1940), Godechot (1965) и Baker (1990: ch. 2). О значении языковой политики во время Революции см.: Kohn (1967b) и Lartichaux (1977). О художественной пропаганде и образах до Революции и во время нее см. также: Leith (1965) и Crow (1985: ch. 7).
 - 7 О национализмах в этот период на Западе см.: Kohn (1967b) и Seton-Watson (1977: ch. 3); о Латинской Америке см.: Phelan (1960), Humphreys and Lynch (1965), Brading (1985) и Anderson (1991: ch. 4); Андерсон (2001: гл. 4).
 - 8 О нормативных и аналитических дебатах по поводу «гражданского» и «этнического» национализмов см. девятую главу данной книги. О двух видах национализма во Франции см.: Kedward (1965) и Gildea (1994).
 - 9 Представления Эрика Хобсбаума об «этничности» колеблются между культурой и «расой» (*ibid.*: 63–67; *там же*: 101–108), а его рассмотрение этнического сообщества в неевропейских смешанных государствах (*ibid.*: 153–162; *там же*: 242–257) вкупе с примечанием относительно термина этническая общность (*ethnie*) (*ibid.*: 160, note 24; *там же*: 253, прим. 1) показывает, насколько далеки этнические конфликты от того, что марксисты называют «национальным вопросом» и национализмом. Представление о том, что отдельные этнические общности могут служить основой (как культурная сеть, социальный институт и народный миф, память и система веры) для формирования наций и национальных государств, является, по Хобсбауму, столь же мертворожденным, как и его «протонации». Это не мешает ему признать необходимость этничности и существование непрекращающихся этнических конфликтов, начало которым было положено событиями 1989–1992 годов.

К схожему инструментализму, на сей раз с использованием фрейд-

- ской теории «нарциссизма малых различий», обращается Майкл Игнатъефф (Ignatieff 1998: ch. 2), чтобы объяснить, почему «нейтральные факты о народах», «малые различия» — сами по себе не имеющие никакого значения» национализм превращает в серьезные различия; а также, почему незначительные этнические различия между сербами и хорватами превратились в прочные линии фронта сербско-хорватской этнической ненависти. И опять-таки, это предполагает, что этничность и национализм в значительной степени являются вымышленными нарративами, сконструированными для того, чтобы наделять властью и поддерживать привилегии одних и исключать других (*ibid.*: 38–39, 50–53, 56–57). В то же самое время Игнатъефф допускает реальность этнических групп, признает историю этнических различий и даже антагонизмов на Балканах и частоту, с которой национализм удовлетворяет действительные нужды (*ibid.*: 39, 44, 59). К этому мы можем добавить, что титоистская Югославия институционализировала основные этнические сообщества в шести республиках, придав политическое и экономическое выражение их этническим мифам и воспоминаниям.
- 10 Известны факты массовых самопожертвований во время Первой мировой войны, о которых см.: Gillis (1994) и Winter (1995).
 - 11 Тем не менее, контекст, в котором он употребляет термин «изобретение», служит мощным инструментом для деконструирования и очернения наций и национализмов.
 - 12 Образование Пакистана — предмет продуктивных дебатов между Полем Брассом и Фрэнсисом Робинсоном о «примордиальном» или «инструментальном» методах исследования этничности и национализма в: Taylor and Yapp (1979); также см.: Brass (1991). Дальнейшее обсуждение см. в седьмой главе данной книги.
 - 13 Дойч и теоретики коммуникации выделили значимость средств массовой информации при создании «публики», пригодной для политического участия и деятельности. Но исследование Андерсона преодолевает довольно грубый детерминизм, свойственный более раннему подходу, сочетая эти «объективные» технологические, экономические и политические процессы с дискурсивными сетями и субъективными факторами.
 - 14 В отличие от постмодернистской веры в значительную социологическую реальность наций (но не в их собственный миф и представления о самих себе), которую можно встретить в работах Эрнеста Геллнера или Тома Нейрна, Андерсон отрицает такую реальность наций, независимую от представлений ее членов и тех, кто ее описывает. Ибо как, в таком случае, мы можем объяснить тот очевидный факт (отмеченный Андерсоном), что нации и их национализмы по-прежнему существуют и даже возрождаются? См. критику в работе: Hastings (1997: ch. 1) и рассмотрение точки зрения Брубейкера в четвертой главе данной книги.
 - 15 Здесь «интеллектуализм» — это не только проблема человеческой способности (воображения), но также и особого средства (печатное сло-

- во) в противоположность другим средствам аудиовизуальной информации. Об идее нации как переживания и изображения см. мое краткое рассмотрение работы: Fishman (1980) в седьмой главе данной книги.
- 16 О расизме и национализме вообще см.: Poliakov (1974); Поляков (1996), A. D. Smith (1979: chs 3–4) и Balibar and Wallerstein (1991: ch. 6). Конкретные исследования, демонстрирующие сложные отношения между ними, см.: Geiss (1974), MacDougall (1982), Thompson (1985) и Mosse (1994, 1995).
 - 17 Критику таких субъективистских и волюнтаристских определений нации см. в работе: Gellner (1983: ch. 5); Геллнер (1991: гл. 5).
 - 18 Говорят, что Массимо д'Азельо, бывший глава правительства Пьемонта, заметил после объединения Италии: «Мы создали Италию: теперь мы должны создать итальянцев» (цит. по: Seton-Watson 1977: 107). О росте чувства *italianità* у средних классов в Италии см.: Riall (1994: ch. 5). О политическом значении устной культуры в районе Сахары в Африке см.: Mazgui (1985). Может показаться странным, что Бенедикт Андерсон приуменьшает роль религии за пределами Европы (и в ней самой), учитывая его признание ее решающего значения в отношении смерти и желания бессмертия. Выстраивая излишне резкую дихотомию между «религией» и ее преемником, «национализмом», Андерсон, повидимому, принимает традиционную марксистскую схему «замены религии».
 - 19 О «культурном популизме» Гердера см.: Berlin (1976). Роль средств массовой информации, особенно телевидения, рассмотрена в работе: Schlesinger (1991); см. также: Deol (1996).
 - 20 См. ниже в седьмой главе данной книги об идеях Уокера Коннора относительно сохранения родственных чувств и политической роли аналогии с семьей. Об «обращении к потомкам» в неоклассических образах наций и национальных героев см.: Hopour (1968: ch. 3).
 - 21 О мифах этнической избранности, которые есть у многих народов от армян, евреев и греков до русских, поляков, швейцарцев, французов, англичан, шотландцев, валлийцев, ирландцев, африканцев, американцев и мексиканцев, а также у нехристианских народов, вроде персов, арабов, китайцев, японцев, сингалцев, см.: Cherniavsky (1975), Armstrong (1982: ch. 7), A. D. Smith (1992a) и Akenon (1992).

7 ПРИМОРДИАЛИЗМ И ПЕРЕННИАЛИЗМ

- 1 Кон (Kohn 1967a) различает в рамках «западного» типа национализма «коллективистскую» французскую и «индивидуалистическую» англосаксонскую версии нации. Однако в обеих версиях нация считалась рациональным объединением свободных граждан.
- 2 Об истоках «органического» национализма у немецких романтиков см.: Reiss (1955) и Barnard (1965); а также яркую критику в работе: Kedourie (1960).

- 3 С подобными сложностями можно встретиться и у других «издревле существующих народов» — египтян, армян, китайцев, японцев и евреев. По вопросу о преемственности египтян см.: Gershoni and Jankowski (1987: ch. 6); а об армянской этно-истории см.: Lang (1980). О преемственности евреев см.: Seltzer (1980), Zerubavel (1995). О японцах и их культуре см.: Lehmann (1982) и Yoshino (1992).
- 4 Таково решение, предложенное Горовитцом (Horowitz 1985), подход которого описан мной ниже.
- 5 Гирц ссылается здесь на Б. Р. Амбедкара: *Thoughts on Linguistic States*, Delhi (ca. 1955, 11). О субнационализме в Африке см.: Olorunsola (1972), и в Европе: Petersen (1975).
- 6 Фрэнсис Робинсон утверждал, что рост мусульманских настроений на северо-западе Индии и концентрация, коллективные воспоминания и культурные ресурсы мусульман в Соединенных провинциях серьезно ограничивали свободу действий мусульманских элит в Индии. Но Робинсон не останавливается на этом и заявляет, что «исламские идеи и ценности... составляли большую часть системы норм и желаемых целей, в рамках которых мусульманская элита принимала рациональные политические решения, а иногда играли роль движущей силы», благодаря глубокой исламской традиции общины, уммы (Robinson 1979: 78–82).
- 7 Обзор некоторых «примордиалистских» позиций см.: Stack (1986: Introduction). О взглядах «инструменталистов» см., среди прочего: Vonnacich (1973), Cohen (1974), Okamura (1981) и Banton (1983, 1994), Eriksen (1993), а также большинство статей сборника: Wilmsen and McAllister (1996). Широкий спектр различных точек зрения представлен в сборнике: Glazer and Moynihan (1975), авторы которого придерживаются промежуточных позиций. Попытки осуществить синтез конкурирующих точек зрения см. в работах: McKay (1982) и Scott (1990).
- 8 Согласно Эдвину Вилмсену (Wilmsen and McAllister 1996: 3), «примордиалистские этнические притязания — это не что иное, как притязания на владение прошлым и право его использования ради достижения целей настоящего». Таково совершенно иное понимание проблемы, но, быть может, не столь уж несовместимое с пониманием теоретика, вроде Гросби, чье исследование значения национальной территории как объекта примордиальных верований основывается на подобных широко распространенных верованиях.
- 9 См. об этом: Brass (1991), A. D. Smith (1984b, 1995b), а также McKay (1982) и Scott (1990).
- 10 В этом также заключается проект Мэннинга Нэша, для которого простейшим обозначением границы этноса является родство, совместное проживание и общая вера. Эта метафора крови, субстанции, божественности символизирует существование группы и в то же самое время об разует группу... Три эти пограничных маркера и механизма являются глубинной или базовой структурой этнической дифференциации группы (*ibid.*: 111). Нэш с подозрением относится к «примордиальным узам» в том, что касается этничности: кирпичики, из которых состоит этнич-

- ность (люди, язык, общая история, религия, территория) могут оставаться относительно неизменными, но «примордиальные узы», «как и любые другие узы, образуются в процессе исторического развития, подвержены смысловым сдвигам, неопределенности референта, политическому манипулированию и превратностям прославления и поношения». Это значит, что история, политика и другие обстоятельства всегда различаются по образующим их блокам и характеру границ (*ibid.*: 4–6).
- 11 Юджин Вебер (E. Weber 1979) исследовал процесс объединения большинства населения во французское национальное государство благодаря общеобязательной системе образования, военной службе после поражения во Франко-прусской войне и созданию централизованной системы коммуникаций, связывавшей все области Франции. Коннор ссылается на затяжной процесс предоставления права голоса в Англии, достигший своей наивысшей точки только в 1918 году с предоставлением права голоса женщинам и остальным двадцати процентам мужчин; в то же самое время крайне элитарное представление о французской нации присутствовало во французской политике и до 1848 года.
 - 12 См. об этом: Doob (1964) и Billig (1995). Совершенно иную точку зрения на силу и устойчивость межгосударственной системы см.: Mayall (1990), а также девятую главу данной книги.
 - 13 См. третью главу в работе Горовитца о причинах сепаратизма и ирредентизма. О различиях между этими типами этнического движения см.: Horowitz (1992).
 - 14 Неясно, считает ли Горовитц национализм главным образом связанным с государством идеологией и движением, или же мы можем говорить об «этнонациях» в новых государствах Азии и Африки. Другие оценки см.: D. Brown (1994).
 - 15 Название его книги и статьи (Armstrong 1992) может говорить о симпатии к «преемственному» перенниализму, но более поздняя статья (Armstrong 1997) подтверждает мысль о том, что Армстронга интересует *повторяемость* нации.
 - 16 О национальном чувстве в эпоху средневековья см.: Tipton (1972), Guepée (1985) и Hastings (1997). Об античности см.: Levi (1965), Tcherikover (1970) и Ally (1982).

8 ЭТНОСИМВОЛИЗМ

- 1 Еще одним историком, который датирует возникновение национализма шестнадцатым веком, является Марку (Marcu 1976). Но большинство историков переломным моментом, возмещающим о рождении идеологии «национализма», считает конец восемнадцатого века.
- 2 Это может рассматриваться как довод в пользу первенства Англии, но похожее развитие, когда государство использовало религиозную (католическую) и лингвистическую гомогенизацию для того, чтобы выковать нацию (из высших и средних слоев общества), имело место во

Франции по крайней мере с конца пятнадцатого столетия; см.: Beaune (1985). Но ср. работы Палмера (Palmer 1940) и Годешо (Godechot 1965) об относительной современности светского французского национализма.

Гастингс (Hastings 1997: ch. 3) также приводит доводы в пользу раннего формирования шотландской, ирландской и валлийской наций, первой главным образом на территориальной основе, остальных — на основе этнической, с явными проявлениями национализма в ответ на англо-норманнские вторжения с двенадцатого века.

- 3 Но, по Тилли, именно политическая и экономическая деятельность, особенно возможность государства вести войны и рост буржуазии, а не идеи или символы, формируют как старые национальные государства, так и нации в соответствии с определенным проектом.
- 4 Прекрасным примером служат шотландские летописцы четырнадцатого-пятнадцатого веков, о которых см.: Webster (1997: ch. 5); ср. швейцарских летописцев пятнадцатого-шестнадцатого веков, о которых см.: Im Hof (1991).
- 5 Воздерживаясь от всяких упоминаний о примордиализме, Рейнгольдс также не соглашается с исследованием Жене (Guenée 1985); ср. также полемику у Типтона (Tipton 1972) и совершенно иной анализ у Бартлетта (Bartlett 1994: ch. 8) и рассмотрение отдельных аспектов преемственного перенятия у Гастингса (Hastings 1997).
- 6 Об этом каталоге см.: Webster and Backhouse (1991). Историческое введение Николаса Брукса открывается следующими словами:

Англосаксы, художественные, технологические и культурные достижения которых седьмого, восьмого и девятого веков представлены на данной выставке, были настоящими предками сегодняшних англичан. В ту пору, когда были созданы эти произведения, существовало несколько соперничающих англосаксонских королевств, у каждого из которых была своя династия, своя аристократия и свои собственные особые традиции и лояльности. Разговорный английский уже тогда обнаруживал широкое региональное разнообразие диалектов. Тем не менее, англосаксы ощущали себя одним народом.

(*ibid.*: 9).

Путеводители и музейные каталоги также склонны подчеркивать неразрывную связь настоящего с национальным прошлым. Доводы о том, что самую приблизительную территориальную и культурную преемственность можно обнаружить в Западной Европе, в Испании, Франции и Германии, например, см.: Llobera (1994) и Hastings (1997: ch. 4), а в отношении Испании: Barton (1993).

- 7 О подъеме культурного национализма крестьянских культур в Восточной Европе см.: Hofeg (1980). См. также: Argyle (1976), Kitromilides (1979) и Hroch (1985).

- 8 Здесь исследование Хатчинсона сближается с работами: Kapferer (1988), Juergensmeyer (1993) и van der Veer (1994). См. также: Petrovich (1980) и ряд очерков в работе: Ramet (1989), свидетельствующих о сохранении влияния религиозных уз, а в некоторых случаях и религиозных институтов во многих восточноевропейских и бывших советских республиках. О религии и национализме см.: O'Brien (1988a) и Hastings (1997: ch. 8).
- 9 Хатчинсон занимает здесь ту же позицию, что и Френсис Робинсон в своей полемике с Полем Брассом об образовании Пакистана и роли религии при определении политических действий элиты; см.: Taylor and Yapp (1979). Также Хатчинсон неявно соглашается с представлением Джона Армстронга о том, что досовременные этнические узы оказывают определяющее воздействие на нации, оставаясь при этом верным модернистской точке зрения, согласно которой нации возникли недавно и в качественном отношении являются «современными». См. также: Hutchinson (1992).
- 10 Акцент Хатчинсона на культуре придает особое значение связям между современными нациями и досовременными этническими узами, потому делает акцент на большой длительности (*la longue durée*). В этом смысле он не разделяет точку зрения Тонкина и других (Tonkin *et al.* 1989: Introduction), которые рассматривают прошлое как неизбежно определенное интересами, потребностями и предрассудками настоящего, но он оказывается ближе к идее Хосе Льобера (Llobera 1994) о том, что досовременные (средневековые) культурные и территориальные структуры формируют длительные основы современных европейских наций. Льобера (Llobera 1996) также придает особое значение роли общей памяти в формировании современных наций, к примеру, каталонской.
- 11 В отличие от названия его работы и его более позднего очерка (Armstrong 1992), которые подчеркивают досовременный характер наций; ср.: Hastings (1997: ch. 1, note 10).
- 12 Анализ «транзакционной» модели границ этнических групп Барта см. в работе: Jenkins (1988).
- 13 Хотя в более поздней работе (Armstrong 1995) особое значение придается сближению в отдельных сферах с преимущественно модернистскими исследованиями участников пражской конференции, о чем см.: Regiwal (1995: особ. 34–43).
- 14 Подчеркивание Бартом относительной устойчивости аскрипции стало основным пунктом критики его модели у Уоллмана (Wallman 1988).
- 15 Не все националисты соглашались с пятым принципом. Культурные националисты склонны с подозрением относиться к государству вообще, а следовательно, и к «собственному государству». Кроме того, отдельные националисты (например, в Уэльсе и Каталонии, хотя о Шотландии, видимо, сказать этого уже нельзя) стремятся добиться самоуправления, при котором нация обладала бы внутренней социальной, культурной и экономической автономией, но предпочитала бы остаться

- частью более обширного федерального государства, в ведении которого находилась бы оборонная и внешняя политика.
- 16 Критику проводимых Коном различий см.: A. D. Smith (1983a: ch. 8), Hutchinson (1987: ch. 1). Термин «этноцентрический» означал в данном случае довольно слабое, солипсистское и размытое чувство национализма, не имевшего четких политических целей, и сочетал в себе дихотомию «традиция-современность» и соответствующую хронологию. Безусловно, здесь смешивается ряд имеющих самостоятельное аналитическое значение переменных. Оправданием этому служит отсутствие ясно очерченной идеологии национализма (операционалистская теория «национализма вообще») в античности или в средневековье, такой, которая дала бы нам совокупность понятий, идей и символического языка, подходящую для использования во всех случаях, свидетелями чего мы сегодня являемся.
 - 17 Это было ранним и нечетким определением понятия «нации», которое не принимало в расчет самоназвание и «массовый, публичный» характер обычной культуры и вело речь о чувствах солидарности и общих переживаниях в целом как о единственной субъективной составляющей.
 - 18 Целый ряд специальных проблем способствовал изменению моей позиции, в числе которых: исследование воздействия войны на этничность и нации; конференция о «легитимации по происхождению»; влияние статей Уокера Коннора, обозначивших ключевую роль этничности и мифов о происхождении; рост религиозных национализмов в 1980-х годах, вынудивший к критическому пересмотру проблемы «светского национализма».
 - 19 Были внесены соответствующие изменения в мое определение «нации» как *носящей определенное имя группы людей, имеющей общую историческую территорию, общие мифы и исторические воспоминания, массовую, публичную культуру, общую экономику и общие законные права и обязанности для всех членов* (A. D. Smith 1991: 14). По сравнению с более ранним определением (см. выше примечание 17) эта пересмотренная версия углубляет составляющие и пытается привести в равновесие более «субъективные» компоненты с более «объективными» (например, речь теперь идет об «исторической», а не просто об «общей» территории). На мой взгляд, это следует из метода определения понятия нации как идеального типа, вобравшего в себя все, что только можно, из различных концепций и идей относительно нации, данных самозваными националистами (см.: A. D. Smith 1983a: ch. 7).
 - 20 Здесь я соглашаюсь с положением о неравных культурных ресурсах Брасса (Brass 1991) и Хатчинсона (Hutchinson 1994). Некоторые из этих ресурсов: этно-история и «золотой век», священная территория, мифы о происхождении и этнической избранности, — приведены в работе: A. D. Smith (1996a). О роли разнообразных досовременных этнических сообществ см.: A. D. Smith (1986a: chs 2–5); о роли этнических мифов см.: Hosking and Schöpflin (1997).

- 21 О предпринятой селевкидами эллинизации Иудеи и противодействии Маккавеев см.: Tcherikover (1970); об этнических и лингвистических различиях у греков см.: Altу (1982). Попытку применения «этно-символического» подхода к проблеме национальной идентичности в древнем мире и в средневековье см.: A. D. Smith (1994); об особенностях национализмов в средневековье см.: Hastings (1997: chs 2–4).
- 22 Другие примеры раннего национализма элит см. в исследованиях о Франции: Beaune (1985); англо-саксонской Англии: Howe (1989), Hastings (1997: ch. 2); и Польше: Knoll (1993). Вопрос о том, в какой мере, несмотря на их раннюю политизацию, мы можем или должны рассматривать эти чувства коллективной культурной идентичности верхушки общества и среднего класса в качестве примеров этничности, связанной с государственностью, или *национальной* идентичности, или партикуляристского национализма (едва ли мы можем говорить о «национализме» как об оформленном идеологическом движении до восемнадцатого века), довольно спорен.

9 ПОСЛЕ МОДЕРНИЗМА?

- 1 О коулменовской концепции «концентрических кругов лояльности» см.: Coleman (1958: Appendix); ср.: Yuval-Davis (1997).
- 2 МакНейл не пользуется понятием «постмодерн», но предложенная им схема связана со многими его положениями. При этом ни одного из «посмодернистских» положений он не разделяет.
- 3 Я прекрасно осознаю крайне дискуссионный характер основных подходов к «этничности»; см., среди множества прочих, статьи в: Glazer and Moynihan (1975), de Vos and Romanucci-Rossi (1975), Rex and Mason (1988), Wilmsen and McAllister (1996), а также выдержки в хрестоматии: Hutchinson and Smith (1996).

Вступление в эти дебаты потребовало бы значительно более широкого обсуждения и отвлекло бы нас от главной цели этой книги — оценки объяснительных теорий наций и национализма. Я мог бы добавить лишь то, что проблемы изучения этничности обострились вследствие неудачной попытки сохранить различие между индивидуальным и коллективным уровнями анализа и склонности объяснять характерные особенности одного уровня, исходя из другого; см. об этом: Scheuch (1966).

- 4 Очерк Уолби (Walby 1992) был издан раньше последней работы Ювал-Дэвис и др.; он переиздан в: Balakrishnan (1996); Уолби (2002).
- 5 См.: Elshiaín (1993). Из других исследований, затрагивающих символический аспект данной области см., напр.: South Bank Centre (1989) и Ades (1989: особ. chs 7, 9).
- 6 О «Клятве Горациев» Давида см.: Brookner (1980: ch. 7), а о «Смерти генерала Вулфа» Уэста: Abrams (1986: ch. 8); другие примеры см.: A. D. Smith (1993). Конечно, это только одна сторона вопроса, стереотипные женские атрибуты национализма также изображались романтически

- кими художниками, например, нация в виде сражающейся или скорбящей женщины, как у Рюда, Делакруа или Энгра (см.: South Bank Centre 1989), или женщина в роли мужчины, вроде Жанны д'Арк (Warner 1983).
- 7 Обсуждение книги Миллера и его ответ можно найти в книге: O'Leary (1996a and b).
- 8 Существует обширная литература по каждому из этих предметов, хотя большая ее часть лишь слегка касается затронутых здесь проблем. См., среди прочего: Lustick (1979), Smooha (1990), Smooha and Hanf (1992), Baron (1985) и Preece (1997).
- 9 О проблеме определения национализма у исследователей и (или о сравнении) этнических или гражданских концепций участников см. дебаты между Домиником Шнаппером и мной в работе: Schnapper (1997).
- 10 Об этих недостатках древнегреческих и средневековых итальянских городов-государств см.: Ehrenburg (1960) и Waley (1969).
- 11 Это, разумеется, стало политической проблемой, горячо оспариваемой некоторыми австралийцами, в том числе и учеными (например, историком Джеффри Блэйни); ср. также совершенно иной анализ в работе: Karferer (1988).
- 12 Здесь я сошлюсь лишь на широкие дебаты о кризисе и/или упадке «национального государства» (см.: Tivey 1980). Основное внимание в этих дебатах сосредоточено на функциях и суверенитете государства, а о трансформации нации и национальной идентичности, которая нуждается в отдельном рассмотрении, речь почти не идет; см.: Horgan and Marshall (1994), и краткое обсуждение: A. D. Smith (1996a).
- 13 Более полное рассмотрение проблем глобализации в связи с национализмом см.: Featherstone (1990) и Tomlinson (1991: ch. 3).
- 14 Согласно Георгу Шопфлину (George Schöpfung 1995), для возрождения этничности и этнического национализма в Европе важны скорее сами характер и степень модернизации и ее политические проявления. Но слабость демократии в восточной части континента делает этнический национализм куда более привлекательным, чем на Западе, где наблюдается большая приверженность демократической современности и гражданским институтам.
- 15 Другая крупная и относительно мало исследованная тема — растущий вклад теоретиков международных отношений в изучение этничности и национализма. Помимо ранних классиков — Коббана (Cobban 1969; 1st edn 1945) и Карра (Carr 1945), сюда также входят исследования Хинсли (Hinsley 1973), Битца (Beitz 1979), Бушита (Bucheit 1981), Льюиса (Lewis 1983), Азара и Бартонна (Azar and Burton 1986), Бюкенена (Buchanan 1991), Рингроза и Лернера (Ringrose and Lerner 1993) и М. Брауна (M. Brown 1993), особенно о геополитических условиях успеха движений за этническое отделение.
- 16 Иммиграция и национализм — еще одна крупная и растущая область анализа (см., напр.: Soysal 1994), как и изучение беженцев и этнонационалистических конфликтов (см. Newland 1993). Столь же важно изу-

чение геноцида и национализма, о котором см., среди прочего: Kuper (1981), Chalk and Jonassohn (1990), Fein (1993) и – в колониальном контексте – проницательный анализ в работе: Palmer (1998). «Мир наций» – это в равной степени мир диаспор, и исследование диаспор все теснее связывается с националистическими и наднациональными движениями; см.: Geiss (1974), Armstrong (1976), Landau (1981) и особенно статьи Якоба Ландау, Уокера Коннора и Милтона Эсмана в сборнике: Sheffer (1986); а также: Cohen (1997). Хотя все эти исследования оказывают влияние на наше понимание наций и национализмов, немногие из них внесли (или стремились внести) вклад в *теорию* наций и национализма – в отличие от развития нашего знания о его современных *проявлениях* и *последствиях*.

- 17 Широкий спектр точек зрения и исследований по проблемам европейской интеграции см.: Gowan and Anderson (1996).

- Abrams, Anne U. (1986) *The Valiant Hero: Benjamin West and Grand-Style History Painting*, Washington DC: Smithsonian Institution Press.
- Acton, Lord (1948) 'Nationality' (1862) in *Essays on Freedom and Power*, Glencoe IL: The Free Press.
- Adenwalla, Minoo (1961) 'Hindu concepts and the Gita in early Indian nationalism', in R. A. Sakai (ed.) *Studies on Asia*, Lincoln NE: University of Nebraska Press, 16–23.
- Ades, Dawn (1989) *Art in Latin America: The Modern Era, 1820–1980*, London: South Bank Centre, Hayward Gallery.
- Afshar, Haleh (1989) 'Women and reproduction in Iran', in N. Yuval-Davis and F. Anthias (eds) *Woman-Nation-State*, London: Sage, 110–25.
- Agnew, Hugh (1993) 'The emergence of Czech national consciousness: a conceptual approach', *Ethnic Groups*, 10, 1–3, 175–86.
- Akenson, Donald (1992) *God's Peoples: Covenant and Land in South Africa, Israel and Ulster*, Ithaca NY: Cornell University Press.
- Alavi, Hamza (1972) 'The state in post-colonial societies – Pakistan and Bangla Desh', *New Left Review*, 74, 59–81.
- Almond, Gabriel and Pye, Lucian (eds) (1965) *Comparative Political Culture*, Princeton NJ: Princeton University Press.
- Alter, Peter (1989) *Nationalism*, London: Edward Arnold.
- Alty, J. H. M. (1982) 'Dorians and Ionians', *Journal of Hellenic Studies*, 102, 1–14.
- Amin, Samir (1981) *Class and Nation*, London: Heinemann.
- Anderson, Benedict (1991) [1983] *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*, 2nd edn, London: Verso.
- Apter, David (1963a) *Ghana in Transition*, rev. edn, New York: Athenaeum.
- (1963b) 'Political religion in the new nations', in Clifford Geertz (ed.) *Old Societies and New States*, New York: Free Press.
- Argyle, W. J. (1969) 'European nationalism and African tribalism', in P. H. Gulliver (ed.) *Tradition and Transition in East Africa*, London: Pall Mall Press, 41–57.
- (1976) 'Size and scale as factors in the development of nationalism', in A. D. Smith (ed.) *Nationalist Movements*, London: Macmillan, 31–53.
- Armstrong, John (1976) 'Mobilised and proletarian diasporas', *American Political Science Review*, 70, 393–408.
- (1982) *Nations before Nationalism*, Chapel Hill NC: University of North Carolina Press.
- (1992) 'The autonomy of ethnic identity: historic cleavages and nationality relations in the USSR', in Alexander Motyl (ed.) *Thinking Theoretically about Soviet Nationalities*, New York: Columbia University Press, 23–44.

- (1995) 'Towards a theory of nationalism: consensus and dissensus', in Sukumar Periwal (ed.) *Notions of Nationalism*, Budapest: Central European University Press, 34–43.
- (1997) 'Religious nationalism and collective violence', *Nations and Nationalism*, 3, 4, 597–606.
- Avineri, Shlomo (1968) *The Social and Political Thought of Karl Marx*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Azar, Edward and Burton, John (eds) (1986) *The Theory and Practice of International Conflict Resolution*, Brighton: Wheatsheaf.
- Baker, Keith M. (1990) *Inventing the French Revolution: Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Balakrishnan, Gopal (ed.) (1996) *Mapping the Nation*, London and New York: Verso.
- Balibar, Etienne and Wallerstein, Immanuel (1991) *Race, Nation, Class*, London: Verso.
- Banton, Michael (1983) *Racial and Ethnic Competition*, Cambridge: Cambridge University Press.
- (1994) 'Modelling ethnic and national relations', *Ethnic and Racial Studies*, 17, 1, 1–19.
- Banuazizi, Ali and Weiner, Myron (eds) (1986) *The State, Religion and Ethnic Politics: Afghanistan, Iran and Pakistan*, Syracuse NY: Syracuse University Press.
- Barbu, Zevedei (1967) 'Nationalism as a source of aggression', in CIBA, *Conflict*, London: CIBA Foundation.
- Barnard, Frederick (1965) *Herder's Social and Political Thought: From Enlightenment to Nationalism*, Oxford: Clarendon Press.
- Baron, Salo (1960) *Modern Nationalism and Religion*, New York: Meridian Books.
- (1985) *Ethnic Minority Rights: Some Older and Newer Trends*, Oxford Centre for Postgraduate Hebrew Studies.
- Barth, Fredrik (ed.) (1969) *Ethnic Groups and Boundaries*, Boston: Little, Brown.
- Bartlett, Robert (1994) *The Making of Europe*, Harmondsworth: Penguin.
- Barton, Simon (1993) 'The roots of the national question in Spain', in M. Teich and R. Porter (eds) *The National Question in Europe in Historical Perspective*, Cambridge: Cambridge University Press, 106–27.
- Bauer, Otto (1924) [1908] *Die Sozialdemokratie und die Nationalitätenfrage*, 2nd edn, Vienna: Volksbuchhandlung.
- Baumann, Zygmunt (1992) 'Soil, blood and identity', *Sociological Review*, 40, 675–701.
- Beales, Derek (ed.) (1971) *The Risorgimento and the Unification of Italy*, London: Alien & Unwin.
- Beaune, Colette (1985) *Naissance de la nation France*, Paris: Editions Gallimard.
- Beetham, David (1974) *Max Weber and the Theory of Modern Politics*, London: Alien & Unwin.
- Beitz, Charles (1979) *Political Theory and International Relations*, Princeton NJ: Princeton University Press.
- Bell, Daniel (1975) 'Ethnicity and Social Change', in Nathan Glazer and Daniel

- Moynihan (eds) *Ethnicity: Theory and Experience*, Cambridge MA: Harvard University Press.
- Bellah, Robert (ed.) (1965) *Religion and Progress in Modern Asia*, New York: Free Press.
- Bendix, Reinhard (1996) [1964] *Nation-Building and Citizenship*, enlarged edn, New Brunswick NJ: Transaction Publishers.
- Bennigsen, Alexandre and Lemercier-Quelquejay, Chantal (1966) *Islam in the Soviet Union*, London: Pall Mall Press.
- Berkes, Niyazi (1964) *The Development of Secularism in Turkey*, Montreal: McGill University Press.
- Berkovitz, Michael (1996) *Zionist Culture and West European Jewry before the First World War*, Chapel Hill NC and London: University of North Carolina Press.
- Berlin, Isaiah (1976) *Vico and Herder*, London: Hogarth Press.
- Bhabha, Homi (ed.) (1990) *Nation and Narration*, London and New York: Routledge.
- Billig, M. (1995) *Banal Nationalism*, London: Sage.
- Binder, Leonard (1964) *The Ideological Revolution in the Middle East*, New York: John Wiley.
- Bonacich, Edna (1973) 'A theory of middlemen minorities', *American Sociological Review*, 38, 583–94.
- Brading, David (1985) *The Origins of Mexican Nationalism*, Cambridge: Centre for Latin American Studies, University of Cambridge.
- Branch, Michael (ed.) (1985) *Kalevala, The Land of Heroes*, trans. W. F. Kirby, London: The Athlone Press and New Hampshire: Dover.
- Brand, Jack (1978) *The Scottish National Movement*, London: Routledge and Kegan Paul.
- Brandon, S. G. F. (1967) *Jesus and the Zealots*, Manchester: Manchester University Press.
- Brass, Paul (1974) *Language, Religion and Politics in North India*, Cambridge: Cambridge University Press.
- (1979) 'Elite groups, symbol manipulation and ethnic identity among the Muslims of South Asia', in David Taylor and Malcolm Yapp (eds) *Political Identity in South Asia*, Dublin: Curzon Press, 35–77.
- (ed.) (1985) *Ethnic Groups and the State*, London: Croom Helm.
- (1991) *Ethnicity and Nationalism*, London: Sage.
- Breton, Raymond (1988) 'From ethnic to civic nationalism: English Canada and Quebec', *Ethnic and Racial Studies*, 11, 1, 85–102.
- Breuilly, John (1993) [1982] *Nationalism and the State*, 2nd edn, Manchester: Manchester University Press.
- (1996) 'Approaches to nationalism', in Gopal Balakrishnan, (ed.) *Mapping the Nation*, London and New York: Verso, 146–74.
- Brock, Peter (1976) *The Slovak National Awakening*, Toronto: Toronto University Press.
- Brookner, Anita (1980) *Jacques-Louis David*, London: Chatto and Windus.
- Brown, David (1989) 'Ethnic Revival: Perspectives on state and society', *Third World Quarterly*, 11, 4, 1–17.

- (1994) *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia*, London and New York: Routledge.
- Brown, Michael (ed.) (1993) *Ethnic Conflict and International Security*, Princeton NJ: Princeton University Press.
- Brubaker, Rogers (1992) *Citizenship and Nationhood in France and Germany*, Cambridge MA: Harvard University Press.
- (1996) *Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Buchanan, A. (1991) *Secession, The Morality of Political Divorce from Fort Sumter to Lithuania and Quebec*, Boulder CO: Westview.
- Bucheit, Lee (1981) *Secession, The Legitimacy of Self-determination*, New Haven CT: Yale University Press.
- Burridge, K. (1969) *New Heaven, New Earth*, Oxford: Blackwell.
- Calhoun, Craig (1997) *Nationalism*, Buckingham: Open University Press.
- Carr, Edward (1945) *Nationalism and After*, London: Macmillan.
- Castles, Stephen, Cope, Bill, Kalantzis, Mary and Morrissey, Michael (1988) *Mistaken Identity: Multiculturalism and the Demise of Nationalism in Australia*, Sydney: Pluto Press.
- Cauthen, Bruce (1997) 'The myth of divine election and Afrikaner ethnogenesis', in Geoffrey Hosking and George Schöpflin (eds) *Myths and Nationhood*, London: Macmillan, 107–31.
- Chalk, Frank and Jonassohn, Kurt (eds) (1990) *The History and Sociology of Genocide*, New Haven CT and London: Yale University Press.
- Chatterjee, Partha (1986) *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse*, London: Zed Books.
- (1993) *The Nation and Us Fragments*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Cherniavsky, Michael (1975) 'Russia', in Orest Ranum (ed.) *National Consciousness, History and Political Culture in Early Modern Europe*, Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 118–43.
- Citron, Suzanne (1988) *Le Mythe National*, Paris: Presses Ouvriers.
- Cliffe, Lionel (1989) 'Forging a nation: the Eritrean experience', *Third World Quarterly*, 11, 4, 131–47.
- Cobban, Alfred (1957) *A History of Modern France*, vol. I, Harmondsworth: Penguin.
- (1969) [1945] *The Nation-State and National Self-Determination*, rev. edn, London: Collins.
- Cohen, Abner (ed.) (1974) *Urban Ethnicity*, London: Tavistock.
- Cohen, Robin (1997) *Global Diasporas: An Introduction*, London: UCL Press.
- Cohler, Anne (1970) *Rousseau and Nationalism*, New York: Basic Books.
- Cohn, Norman (1957) *The Pursuit of the Millennium*, London: Seeker and Warburg.
- Coleman, James (1958) *Nigeria: Background to Nationalism*, Berkeley CA and Los Angeles CA: University of California Press.
- Colley, Linda (1992) *Britons: Forging the Nation, 1707–1837*, New Haven CT and London: Yale University Press.

- Connor, Walker (1972) 'Nation-building or nation-destroying?', *World Politics*, XXIV, 3, 319–55.
- (1978) 'A nation is a nation, is a state, is an ethnic group, is a...', *Ethnic and Racial Studies*, I, 4, 378–400.
- (1984) *The National Question in Marxist-Leninist Theory and Strategy*, Princeton NJ: Princeton University Press.
- (1990) 'When is a nation?', *Ethnic and Racial Studies*, 13, 1, 92–103.
- (1994) *Ethno-Nationalism: The Quest for Understanding*, Princeton NJ: Princeton University Press.
- Conversi, Daniele (1990) 'Language or race? The choice of core values in the development of Catalan and Basque nationalism', *Ethnic and Racial Studies*, 13, 1, 50–70.
- (1997) *The Basques, the Catalans and Spain: Alternative Routes to Nationalist Mobilisation*, London: C. Hurst & Co.
- Corrigan, Philip and Sayer, Derek (1985) *The Great Arch: English State Formation as Cultural Regulation*, Oxford: Blackwell.
- Crow, Thomas (1985) *Painters and Public Life*, New Haven CT and London: Yale University Press.
- Crowder, Michael (1968) *West Africa under Colonial Rule*, London: Hutchinson.
- Cummins, Ian (1980) *Marx, Engels and National Movements*, London: Croom Helm.
- Davies, Norman (1982) *God's Playground: A History of Poland*, 2 vols, Oxford: Clarendon Press.
- Davis, Horace (1967) *Nationalism and Socialism: Marxist and Labor Theories of Nationalism*, New York: Monthly Review Press.
- Delanty, Gerard (1995) *Inventing Europe: Idea, Identity, Reality*, Basingstoke: Macmillan.
- Deol, Harnik (1996) 'Religion and nationalism in India: the case of the Punjab, 1960–95', unpublished Ph. D. thesis, University of London.
- Detroit (1975) *French Painting: The Age of Revolution*, Detroit MI: Wayne State University Press.
- Deutsch, Karl (1956) *An Interdisciplinary Bibliography on Nationalism, 1935–53*, Cambridge MA: MIT Press.
- (1963) *The Nerves of Government*, New York: Free Press.
- (1966) [1953] *Nationalism and Social Communication*, 2nd edn, New York: MIT Press.
- Deutsch, Karl and Foltz, William (eds) (1963) *Nation-Building*, New York: Atherton Press.
- Dinur, Ben-Zion (1969) *Israel and the Diaspora*, Philadelphia PA: Jewish Publication Society of America.
- Doob, Leonard (1964) *Patriotism and Nationalism: Their Psychological Foundations*, New Haven CT: Yale University Press.
- Dore, Ronald (1969) *On the Possibility and Desirability of a Theory of Modernisation*, Communications Series no. 38, Lewes: Institute of Development Studies, University of Sussex.

- Draper, Theodore (1970) *The Rediscovery of Black Nationalism*, London: Seeker and Warburg.
- Droz, Jacques (1967) *Europe between Revolutions, 1815–48*, London and Glasgow: Collins.
- Dunn, John (1978) *Western Political Theory in the Face of the Future*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Durkheim, Emile (1915) *The Elementary Forms of the Religious Life*, trans. J. Swain, London: Alien & Unwin.
- (1964) *The Division of Labour in Society*, trans. G. Simpson, New York: Free Press of Glencoe.
- Duroselle, Jean-Baptiste (1990) *Europe, A History of Its Peoples*, trans. Richard Mayne, London: Penguin Books.
- Edwards, John (1985) *Language, Society and Identity*, Oxford: Blackwell.
- Ehrenburg, Victor (1960) *The Greek State*, Oxford: Blackwell.
- Eisenstadt, Shmuel (1965) *Modernisation: Protest and Change*, Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.
- (ed.) (1968) *The Protestant Ethic and Modernisation*, New York: Basic Books.
- Eley, Geoffrey and Suny, Ronald (eds) (1996) *Becoming National*, New York and London: Oxford University Press.
- Eller, Jack and Coughlan, Reed (1993) 'The poverty of primordialism: the demystification of ethnic attachments', *Ethnic and Racial Studies*, 16, 2, 183–202.
- Elshtain, Jean Bethke (1993) 'Sovereignty, identity, sacrifice', in Marjorie Ringrose and Adam Lerner (eds) *Reimagining the Nation*, Buckingham: Open University Press, 159–75.
- Enloe, Cynthia (1989) *Bananas, Beaches, Bases: Making Feminist Sense of International Politics*, London: Pandora.
- Epstein, A. L. (1978) *Ethos and Identity*, London: Tavistock.
- Eriksen, Thomas H. (1993) *Ethnicity and Nationalism*, London and Boulder CO: Pluto Press.
- Esman, Milton (ed.) (1977) *Ethnic Conflict in the Western World*, Ithaca NY: Cornell University Press.
- Featherstone, Michael (ed.) (1990) *Global Culture: Nationalism, Globalisation and Modernity*, London, Newbury Park CA and Delhi: Sage.
- Fein, Helen (1993) *Genocide, A Sociological Perspective*, London: Sage.
- Finley, Moses (1986) *The Use and Abuse of History*, London: Hogarth Press.
- Fisera, Vladimir and Minnerup, Gunter (1978) 'Marx, Engels and the national question', in Eric Cahm and Vladimir Fisera (eds) *Nationalism and Socialism*, 3 vols, vol. I, Nottingham: Spokesman, 7–19.
- Fishman, Joshua (1972) *Language and Nationalism: Two Integrative Essays*, Rowley MA: Newbury House.
- (1980) 'Social theory and ethnography: neglected perspectives on language and ethnicity in Eastern Europe', in Peter Sugar (ed.) *Ethnic Diversity and Conflict in Eastern Europe*, Santa Barbara CA: ABC-Clio, 69–99.
- Fishman, Joshua, Ferguson, C. and Das Gupta, J. (eds) (1968) *Language Problems of Developing Nations*, New York: John Wiley.

- Frank, André Gunder (1969) *Latin America: Underdevelopment or Revolution?*, New York: Monthly Review Press.
- Freund, Julian (1970) *The Sociology of Max Weber*, London: Alien Lane, The Penguin Press.
- Gans, Herbert (1979) 'Symbolic ethnicity', *Ethnic and Racial Studies*, 2, 1, 1–20.
- Garman, Sebastian (1992) 'Foundation myths and political identity: Ancient Rome and Saxon England compared', unpublished Ph. D. thesis, University of London.
- Geertz, Clifford (ed.) (1963) *Old Societies and New States*, New York: Free Press.
- (1973) *The Interpretation of Cultures*, London: Fontana.
- Geiger, I. (1967) *The Conflicted Relationship*, New York: McGraw-Hill.
- Geiss, Immanuel (1974) *The Pan-African Movement*, London: Methuen.
- Gella, Alexander (ed.) (1976) *The Intelligentsia and the Intellectuals*, Beverley Hills CA: Sage.
- Gellner, Ernest (1964) *Thought and Change*, London: Weidenfeld and Nicolson.
- (1973) 'Scale and nation', *Philosophy of the Social Sciences*, 3, 1 – 17.
- (1982) 'Nationalism and the two forms of cohesion in complex societies', *Proceedings of the British Academy*, 68, 165–87, London: Oxford University Press.
- (1983) *Nations and Nationalism*, Oxford: Blackwell.
- (1987) *Culture, Identity and Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- (1994) *Encounters with Nationalism*, Oxford: Blackwell.
- (1996) 'Do nations have navels?', *Nations and Nationalism*, 2, 3, 366–70.
- (1997) *Nationalism*, London: Weidenfeld and Nicolson.
- Gellner, Ernest and Ionescu, Gita (eds) (1970) *Populism, Its Meanings and National Characteristics*, London: Weidenfeld and Nicolson.
- Gershoni, Israel and Jankowski, Mark (1987) *Egypt, Islam and the Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900–1930*, New York and Oxford: Oxford University Press.
- Giddens, Anthony (1971) *Capitalism and Modern Social Theory*, Cambridge: Cambridge University Press.
- (1981) *A Contemporary Critique of Historical Materialism*, vol I, London: Macmillan.
- (1985) *The Nation-State and Violence*, Cambridge: Polity Press.
- (1991) *The Consequences of Modernity*, Cambridge: Polity Press.
- Gildea, Robert (1994) *The Past in French History*, New Haven CT and London: Yale University Press.
- Gillingham, John (1992) 'The beginnings of English imperialism', *Journal of Historical Sociology*, 5, 392–409.
- Gillis, John R. (ed.) (1994) *Commemorations: The Politics of National Identity*, Princeton NJ: Princeton University Press.
- Glazer, Nathan and Moynihan, Daniel (eds) (1975) *Ethnicity: Theory and Experience*, Cambridge MA: Harvard University Press.
- Godechot, Jacques (1965) *France and the Atlantic Revolution of the Eighteenth Century, 1770–99*, New York: Free Press.
- Gouldner, Alvin (1979) *The Rise of the Intellectuals and the Future of the New Class*, London: Macmillan.

- Gowan, Peter and Anderson, Perry (eds) (1996) *The Question of Europe*, London and New York: Verso.
- Greenfeld, Liah (1992) *Nationalism: Five Roads to Modernity*, Cambridge MA: Harvard University Press.
- Grodzins, Morton (1956) *The Loyal and the Disloyal: The Social Boundaries of Patriotism and Treason*, Cleveland OH and New York: Meridian Books.
- Grosby, Steven (1991) 'Religion and nationality in antiquity', *European Journal of Sociology*, XXXII, 229–65.
- (1994) 'The verdict of history: the inextinguishable tie of primordiality — a reply to Eller and Coughlan', *Ethnic and Racial Studies*, 17, 1, 164–71.
- (1995) 'Territoriality: the transcendental, primordial feature of modern societies', *Nations and Nationalism*, 1, 2, 143–62.
- Gruen, Erich (1993) *Culture and National Identity in Republican Rome*, London: Duckworth.
- Guenée, Bernard (1985) [1971] *States and Rulers in later medieval Europe* (French original 1971) trans. Juliet Vale, Oxford: Blackwell.
- Guibernau, Montserrat (1996) *Nationalisms: The Nation-State and Nationalism in the Twentieth Century*, Cambridge: Polity Press.
- Guibernau, Montserrat and Rex, John (eds) (1997) *The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism and Migration*, Cambridge: Polity Press.
- Gusfield, J. (1967) 'Tradition and modernity: misplaced polarities in the study of social change', *American Journal of Sociology*, 72, 351–62.
- Halecki, Oscar (1955) *A History of Poland*, rev. edn, London: Dent.
- Hall, Edith (1992) *Inventing the Barbarian: Greek Self-definition through Tragedy*, Oxford: Clarendon Press.
- Hall, John (1985) *Powers and Liberties: The Causes and Consequences of the Rise of the West*, Oxford: Blackwell.
- Hall, Stuart (1992) 'The new ethnicities', in J. Donald and A. Rattansi (eds) *Race, Culture and Difference*, London: Sage.
- Halpern, Manfred (1963) *The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa*, Princeton NJ: Princeton University Press.
- Handelman, Don (1977) 'The organisation of ethnicity', *Ethnic Groups*, 1, 187–200.
- Handelman, M. (1929) 'Le rôle de la nationalité dans l'histoire du moyen âge', *Bulletin of the International Committee of the Historical Sciences*, 1, 2, 235–46.
- Hanham, H. J. (1969) *Scottish Nationalism*, London: Faber.
- Hastings, Adrian (1997) *The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hayes, Carlton (1931) *The Historical Evolution of Modern Nationalism*, New York: Smith.
- Hechter, Michael (1975) *Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536–1966*, London: Routledge and Kegan Paul.
- (1987) *Principles of Group Solidarity*, Berkeley CA: University of California Press.
- (1988) 'Rational choice theory and the study of ethnic and race relations',

- in John Rex and David Mason (eds) *Theories of Ethnic and Race Relations*, Cambridge: Cambridge University Press, 264–79.
- (1992) 'The dynamics of secession', *Acta Sociologica*, 35, 267–83.
- (1995) 'Explaining nationalist violence', *Nations and Nationalism*, 1, 1, 53–68.
- Hechter, Michael and Levi, Margaret (1979) 'The comparative analysis of ethno-regional movements', *Ethnic and Racial Studies*, 2, 3, 260–74.
- Heracles, Alexis (1991) *The Self-determination of Minorities in International Politics*, London: Frank Cass.
- Herbert, Robert (1972) *David, Voltaire, Brutus and the French Revolution*, London: Alien Lane.
- Hertz, Frederick (1944) *Nationality in History and Politics*, London: Routledge and Kegan Paul.
- Hinsley, F. H. (1973) *Nationalism and the International System*, London: Hodder and Stoughton.
- Hobsbawm, Eric (1977) 'Some reflections on *The Break-Up of Britain*', *New Left Review*, 105, 3–23.
- (1990) *Nations and Nationalism since 1780*, Cambridge: Cambridge University Press.
- (1996) 'Ethnicity and nationalism in Europe today', in Gopal Balakrishnan (ed.) *Mapping the Nation*, London and New York: Verso, 255–66.
- Hobsbawm, Eric and Ranger, Terence (eds) (1983) *The Invention of Tradition*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hodgkin, Thomas (1956) *Nationalism in Colonial Africa*, London: Muller.
- (1964) 'The relevance of "western" ideas in the derivation of African nationalism', in J. R. Pennock (ed.) *Self-Government in Modernising Societies*, Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.
- Hofer, Tamas (1980) 'The ethnic model of peasant cultures: a contribution to the ethnic symbol building on linguistic foundations by Eastern European peoples', in Peter Sugar (ed.) *Ethnic Diversity and Conflict in Eastern Europe*, Santa Barbara CA: ABC-Clio, 101–45.
- Honour, Hugh (1968) *Neo-Classicism*, Harmondsworth: Penguin.
- Hooson, David (ed.) (1994) *Geography and National Identity*, Cambridge MA and Oxford: Blackwell.
- Horne, Donald (1984) *The Great Museum*, Sydney: Pluto Press.
- Horowitz, Donald (1985) *Ethnic Groups in Conflict*, Berkeley CA and Los Angeles CA: University of California Press.
- (1992) 'Irredentas and secessions: adjacent phenomena, neglected connections', in Anthony D. Smith (ed.) *Ethnicity and Nationalism: International Studies in Sociology and Social Anthropology*, volume LX, Leiden: Brill, 118–30.
- Horsman, Matthew and Marshall, Andrew (1994) *After the Nation-State*, London: Harper Collins.
- Hosking, Geoffrey and Schöpflin, George (eds) (1997) *Myths and Nationhood*, London: Routledge.
- Howard, Michael (1976) *War in European History*, London: Oxford University Press.

- Howe, Nicholas (1989) *Migration and Mythmaking in Anglo-Saxon England*, New Haven CT and London: Yale University Press.
- Hroch, Miroslav (1985) *Social Preconditions of National Revival in Europe*, Cambridge: Cambridge University Press.
- (1993) 'From national movement to the fully-formed nation: the nation-building process in Europe', *New Left Review*, 198, 3–20.
- Hughes, Michael (1988) *Nationalism and Society: Germany, 1800–1945*, London: Edward Arnold.
- Humphreys, R. A. and Lynch, J. (eds) (1965) *The Origins of the Latin American Revolutions, 1808–26*, New York: Knopf.
- Husbands, Christopher (1991) 'The support for the *Front National*: analyses and findings', *Ethnic and Racial Studies*, 14, 3, 382–416.
- Hutchinson, John (1987) *The Dynamics of Cultural Nationalism: The Gaelic Revival and the Creation of the Irish Nation State*, London: Alien & Unwin.
- (1992) 'Moral innovators and the politics of regeneration: the distinctive role of cultural nationalists in nation-building', in Anthony D. Smith (ed.) *Ethnicity and Nationalism: International Studies in Sociology and Social Anthropology*, volume LX, Leiden: Brill, 101–17.
- (1994) *Modern Nationalism*, London: Fontana.
- Hutchinson, John and Smith, Anthony D. (eds) (1994) *Nationalism*, Oxford and New York: Oxford University Press.
- (eds) (1996) *Ethnicity*, Oxford and New York: Oxford University Press.
- Ignatieff, Michael (1993) *Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalisms*, London: Chatto and Windus.
- (1998) *The Warrior's Honour: Ethnic War and the Modern Consciousness*, London: Chatto & Windus.
- Igwara, Obi (1993) 'State and nation building in Nigeria', unpublished Ph. D. thesis, University of London.
- (1995) 'Holy Nigerian nationalisms and apocalyptic visions of the nation', *Nations and Nationalism*, 1, 3, 327–55.
- Im Hof, Ulrich (1991) *Mythos Schweiz: Identität-Nation-Geschichte, 1291–1991*, Zurich: Neue Verlag Zürcher Zeitung.
- Isaacs, Harold (1975) *The Idols of the Tribe*, New York: Harper Collins.
- Jacobsen, Jessica (1997) 'Perceptions of Britishness', *Nations and Nationalism*, 3, 2, 181–99.
- James, Paul (1996) *Nation Formation: Towards a Theory of Abstract Community*, London and Delhi: Sage.
- Jayawardena, Kumari (1986) *Feminism and Nationalism in the Third World*, London and Atlantic Highlands NJ: Zed Books.
- Jenkins, Richard (1988) 'Social-anthropological models of inter-ethnic relations', in John Rex and David Mason (eds) *Theories of Ethnic and Race Relations*, Cambridge: Cambridge University Press, 170–86.
- Johnson, Lesley (1995) 'Imagining communities: medieval and modern', in Simon Forde, Lesley Johnson and Alan Murray (eds) *Concepts of National Identity in the Middle Ages*, Leeds: School of English, University of Leeds, 1–19.

- Jones, Sian (1997) *The Archaeology of Ethnicity: Constructing Identities in the Past and the Present*, London and New York: Routledge.
- Juergensmeyer, Mark (1993) *The New Cold War? Religious Nationalism confronts the Secular State*, Berkeley CA and Los Angeles CA: University of California Press.
- Just, Roger (1989) 'The triumph of the *ethnos*', in Elisabeth Tonkin, Maryon McDonald and Malcolm Chapman (eds) *History and Ethnicity*, London and New York: Routledge, 71–88.
- Kamenka, Eugene (ed.) (1976) *Nationalism: The Nature and Evolution of an Idea*, London: Edward Arnold.
- Kandiyoti, Deniz (1989) 'Women and the Turkish state', in Nira Yuval-Davis and Floya Anthias (eds) *Woman-Nation-State*, London: Sage, 126–49.
- (1991) 'Identity and its discontents: women and the nation', *Millennium Journal of International Studies*, 20, 3, 429–44.
- Kapferer, Bruce (1988) *Legends of People, Myths of State: Violence, Intolerance and Political Culture in Sri Lanka and Australia*, Washington DC and London: Smithsonian Institution.
- Kautsky, John H. (ed.) (1962) *Political Change in Underdeveloped Countries*, New York: Wiley.
- Keane, John (1995) 'Nations, nationalism and European citizens', in Sukumar Periwal (ed.) *Motions of Nationalism*, Budapest: Central European University Press, 182–207.
- Kedourie, Elie (1960) *Nationalism*, London: Hutchinson.
- (1966) *Afghani and Abduh*, London and New York: Frank Cass.
- (ed.) (1971) *Nationalism in Asia and Africa*, London: Weidenfeld and Nicolson.
- (1992) *Politics in the Middle East*, Oxford: Oxford University Press.
- Kedourie, Sylvia (ed.) (1998) *Elie Kedoune CBE, FBA, 1926–92: History, Philosophy, Politics*, London and Portland OR: Frank Cass.
- Kedward, Roderick (ed.) (1965) *The Dreyfus Affair*, London: Longman.
- Kemilainen, Aira (1964) *Nationalism: Problems Concerning the Word, the Concept and Classification*, Yvaskyla: Kustantajat Publishers.
- Kimmerling, Baruch and Migdal, Joel (1994) *Palestinians, The Making of a People*, Cambridge MA: Harvard University Press.
- Kitromilides, Paschalis (1979) 'The dialectic of intolerance: ideological dimensions of ethnic conflict', *Journal of the Hellenic Diaspora*, VI, 4, 5–30.
- (1989) '"Imagined communities" and the origins of the national question in the Balkans', *European History Quarterly*, 19, 2, 149–92.
- Knoll, Paul (1993) 'National consciousness in medieval Poland', *Ethnic Groups*, 10, 1–3, 65–84.
- Kohn, Hans (1940) 'The origins of English nationalism', *Journal of the History of Ideas*, I, 69–94.
- (1955) *Nationalism, Its Meaning and History*, New York: Van Nostrand.
- (1957) *Nationalism and Liberty, The Swiss Example*, London: Macmillan.
- (1960) *Pan-Slavism*, 2nd edn, New York: Vintage Books.
- (1961) *Prophets and Peoples*, New York: Collier.

- (1967a) [1944] *The Idea of Nationalism*, 2nd edn, New York: Collier-Macmillan.
- (1967b) *Prelude to Nation-States: The French and German Experience, 1789–1815*, New York: Van Nostrand.
- Kornhauser, William (1959) *The Politics of Mass Society*, London: Routledge and Kegan Paul.
- Kreis, Jacob (1991) *Der Mythos von 1291: Zur Entstehung des Schweizerischen Nationalfeiertags*, Basel: Friedrich Reinhardt Verlag.
- Kristeva, Julia (1993) *Nations without Nationalism*, New York: Columbia University Press.
- Kuper, Leo (1981) *Genocide*, Harmondsworth: Penguin.
- Kushner, David (1976) *The Rise of Turkish Nationalism*, London: Frank Cass.
- Kymlicka, William (1995) *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford: Clarendon Press.
- Laclau, Ernesto (1971) 'Imperialism in Latin America', *New Left Review*, 67, 19–38.
- Laczko, Leslie (1994) 'Canada's pluralism in comparative perspective', *Ethnic and Racial Studies*, 17, 1, 20–41.
- Landau, Jacob (1981) *Pan-Turkism in Turkey*, London: C. Hurst & Co.
- Landes, Joan (1988) *Women in the Public Sphere in the Age of the French Revolution*, Ithaca NY: Cornell University Press.
- Lang, David (1980) *Armenia: Cradle of Civilisation*, London: Alien & Unwin.
- Lartichaux, J.-Y. (1977) 'Linguistic politics in the French Revolution', *Diogenes*, 97, 65–84.
- Lehmann, Jean-Pierre (1982) *The Roots of Modern Japan*, London and Basingstoke: Macmillan.
- Leith, James (1965) *The Idea of Art as Propaganda in France, 1750–99*, Toronto: University of Toronto Press.
- Leoussi, Athena (1997) 'Nationalism and racial Hellenism in nineteenth-century England and France', *Ethnic and Racial Studies*, 20, 1, 42–68.
- Lerner, Daniel (1958) *The Passing of Traditional Society*, New York: Free Press.
- Levi, Mario Attilio (1965) *Political Power in the Ancient World*, trans. J. Costello, London: Weidenfeld and Nicolson.
- Lewis, Bernard (1968) *The Emergence of Modern Turkey*, London: Oxford University Press.
- Lewis, Ioann (ed.) (1983) *Nationalism and Self-Determination in the Horn of Africa*, London: Ithaca Press.
- Lijphart, Arend (1977) *Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration*, New Haven CT and London: Yale University Press.
- Llobera, Josep (1994) *The God of Modernity*, Oxford: Berg.
- (1996) *The Role of Historical Memory in (ethno-)Nation-Building*, London: Goldsmiths College.
- Lustick, Ian (1979) 'Deeply divided societies: consociationalism versus control', *World Politics*, XXXI, 3, 325–44.
- McCulley, B. T. (1966) *English Education and the Origins of Indian Nationalism*, Gloucester MA: Smith.

- MacDougall, Hugh (1982) *Racial Myth in English History: Trojans, Teutons and Anglo-Saxons*, Montreal: Harvest House, and Hanover NH: University Press of New England.
- McGarry, John and O'Leary, Brendan (eds) (1993) *The Politics of Ethnic Conflict Regulation: Case Studies of Protracted Ethnic Conflicts*, London and New York: Routledge.
- Mack Smith, Denis (1994) *Mazzini*, New Haven CT and London: Yale University Press.
- McKay, James (1982) An exploratory synthesis of primordial and mobilisationist approaches to ethnic phenomena', *Ethnic and Racial Studies*, 5, 4, 395–420.
- McNeill, William (1986) *Polyethnicity and National Unity in World History*, Toronto: University of Toronto Press.
- McRoberts, Kenneth (1979) 'International colonialism: the case of Quebec', *Ethnic and Racial Studies*, 2, 3, 293–318.
- Mann, Michael (1986) *The Sources of Social Power*, Volume I, Cambridge: Cambridge University Press.
- (1993) *The Sources of Social Power*, Volume II, Cambridge: Cambridge University Press.
- (1995) A political theory of nationalism and its excesses', in Sukumar Perival (ed.) *Notions of Nationalism*, Budapest: Central European University Press, 44–64.
- Marcu, E. D. (1976) *Sixteenth-Century Nationalism*, New York: Abaris Books.
- Markovitz, I. L. (1977) *Power and Class in Africa*, Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.
- Marty, Martin and Appleby, R. Scott (eds) (1991) *Fundamentalisms Observed*, Chicago IL and London: University of Chicago Press.
- Marwick, Arthur (1974) *War and Social Change in the Twentieth Century*, London: Methuen.
- Mason, R. A. (1985) 'Scotching the Brut: the early history of Britain', *History Today*, 35, January, 26–31.
- Mayall, James (1990) *Nationalism and International Society*, Cambridge: Cambridge University Press.
- (1991) 'Non-intervention, self-determination and the "new world order"', *International Affairs*, 67, 3, 421–9.
- (1992) 'Nationalism and international security after the Cold War', *Survival*, 34, Spring, 19–35.
- Mayo, Patricia (1974) *The Roots of Identity: Three National Movements in Contemporary European Politics*, London: Alien Lane.
- Mazrui, Ali (1985) African archives and oral tradition', *The Courier*, February, 13–15, Paris: UNESCO.
- Meadwell, Hudson (1989) 'Cultural and instrumental approaches to ethnic nationalism', *Ethnic and Racial Studies*, 12, 3, 309–28.
- Mehden, Fred von der (1963) *Religion and Nationalism in Southeast Asia*, Madison WI, Milwaukee WI and London: University of Wisconsin Press.

- Melucci, Alberto (1989) *Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society*, London: Hutchinson Radius.
- Mendels, Doron (1992) *The Rise and Fall of Jewish Nationalism*, New York: Doubleday.
- Michelet, Jules (1890) *Historical View of the French Revolution*, trans. C. Cocks, London: S. Bell and Sons.
- Mill, John Stuart (1872) *Considerations on Representative Government*, London.
- Miller, David (1993) 'In defence of nationality', *Journal of Applied Philosophy*, 10, 1, 3–16.
- (1995) *On Nationality*, Oxford: Oxford University Press.
- Milton, John (1959) *Areopagitica*, vol. II, New Haven CT: Yale University Press, 552.
- Minogue, Kenneth (1967) *Nationalism*, London: Batsford.
- Mitchell, Marion (1931) 'Emile Durkheim and the philosophy of nationalism', *Political Science Quarterly*, 46, 87–106.
- Mitchell, Mark and Russell, Dave (1996) 'Immigration, citizenship and the nation-state in the new Europe', in Brian Jenkins and Spyros Sofos (eds) *Nation and Identity in Contemporary Europe*, London and New York: Routledge.
- Montagne, Robert (1952) 'The "modern state" in Africa and Asia', *The Cambridge Journal*, 5, 583–602.
- Morgan, Prys (1983) 'From a death to a view: the hunt for the Welsh past in the Romantic period', in Eric Hobsbawm and Terence Ranger (eds) *The Invention of Tradition*, Cambridge: Cambridge University Press, 43–100.
- Mosse, George (1964) *The Crisis of German Ideology*, New York: Grosset and Dunlap.
- (1976) 'Mass politics and the political liturgy of nationalism', in Eugene Kamenka (ed.) *Nationalism: The Nature and Evolution of an Idea*, London: Edward Arnold, 39–54.
- (1985) *Nationalism and Sexuality: Middle Class Norms and Sexual Morality in Modern Europe*, Madison WI: University of Wisconsin Press.
- (1994) *Confronting the Nation: Jewish and Western Nationalism*, Hanover and London: Brandeis University Press.
- (1995) 'Racism and nationalism', *Nations and Nationalism*, I, 2, 163–73.
- Nairn, Tom (1977) *The Break-up of Britain: Crisis and Neo-Nationalism*, London: New Left Books.
- Nash, Manning (1989) *The Cauldron of Ethnicity in the Modern World*, Chicago IL and London: University of Chicago Press.
- Nettl, J. P. and Robertson, Roland (1968) *International Systems and the Modernisation of Societies*, London: Faber.
- Neuberger, Benjamin (1986) *National Self-determination in Post-Colonial Africa*, Boulder CO: Lynne Rienner.
- Newland, Kathleen (1993) 'Ethnic conflict and refugees', *Survival*, 35, 1, 81–101.
- Newman, Gerald (1987) *The Rise of English Nationalism: A Cultural History, 1740–1830*, London: Weidenfeld and Nicolson.

- Nimni, Ephraim (1994) *Marxism and Nationalism: Theoretical Origins of a Political Crisis*, 2nd edn, London: Pluto Press.
- Nisbet, Robert (1965) *The Sociological Tradition*, London: Heinemann.
- (1969) *Social Change and History*, London and New York: Oxford University Press.
- Nora, Pierre (ed.) (1984) *Les Lieux de Mémoire*, Vol. I: *La République*, Paris: Gallimard.
- (ed.) (1986) *Les Lieux de Mémoire*, Vol. II: *La Nation*, Paris: Gallimard.
- O'Brien, Conor Cruse (1988a) *God-Land: Reflections on Religion and Nationalism*, Cambridge MA: Harvard University Press.
- (1988b) 'Nationalism and the French Revolution', in G. Best (ed.) *The Permanent Revolution: The French Revolution and Its Legacy, 1789–1989*, London: Fontana, 17–48.
- Okamura, J. (1981) 'Situational ethnicity', *Ethnic and Racial Studies*, 4, 4, 452–65.
- O'Leary, Brendan (ed.) (1996a) 'Symposium on David Miller's *On Nationality*', *Nations and Nationalism*, 2, 3, 409–51.
- (1996b) 'Insufficiently liberal and insufficiently nationalist', in Brendan O'Leary (ed.) 'Symposium on David Miller's *On Nationality*', *Nations and Nationalism*, 2, 3, 444–51.
- Olorunsola, Victor (ed.) (1972) *The Politics of Cultural Nationalism in Sub-Saharan Africa*, New York: Anchor Books.
- Olson, Mancur (1965) *The Logic of Collective Action*, Cambridge MA: Harvard University Press.
- Orridge, Andrew (1981) 'Uneven development and nationalism, I and II', *Political Studies*, XXIX, 1 and 2, 10–15, 181–90.
- (1982) 'Separatist and autonomist nationalisms: the structure of regional loyalties in the modern state', in Colin Williams (ed.) *National Separatism*, Cardiff: University of Wales Press, 43–74.
- Ozouf, Mona (1982) *L'Ecole, L'Eglise et la République, 1871–1914*, Paris: Editions Cana/Jean Offredo.
- Palmer, Alison (1998) *Colonial Genocide*, Bathurst NSW: Crawford House Publishing.
- Palmer, R. R. (1940) 'The national idea in France before the Revolution', *Journal of the History of Ideas*, I, 95–111.
- Paul, David (1985) 'Slovak nationalism and the Hungarian state', in Paul Brass (ed.) *Ethnic Groups and the State*, London: Croom Helm, 115–59.
- Pearson, Raymond (1983) *National Minorities in Eastern Europe, 1848–1945*, London: Macmillan.
- (1993) 'Fact, fantasy, fraud: perceptions and projections of national revival', *Ethnic Groups*, 10, 1–3, 43–64.
- Peel, John (1989) 'The cultural work of Yoruba ethno-genesis', in Elisabeth Tonkin, Maryon McDonald and Malcolm Chapman (eds) *History and Ethnicity*, London and New York: Routledge, 198–215.
- Penrose, Jan (1995) 'Essential constructions? The "cultural bases" of nationalist movements', *Nations and Nationalism*, I, 3, 391–417.

- Periwal, Sukumar (ed.) (1995) *Notions of Nationalism*, Budapest: Central European University Press.
- Petersen, William (1975) 'On the sub-nations of Europe', in Nathan Glazer and Daniel Moynihan (eds) *Ethnicity: Theory and Experience*, Cambridge MA: Harvard University Press, 177–208.
- Petrovich, Michael (1980) 'Religion and ethnicity in Eastern Europe', in Peter Sugar (ed.) *Ethnic Diversity and Conflict in Eastern Europe*, Santa Barbara CA: ABC-Clío, 373–417.
- Phelan, John L. (1960) 'Neo-Aztecism in the eighteenth century and the genesis of Mexican nationalism', in Stanley Diamond (ed.) *Culture in History: Essays in Honor of Paul Radin*, New York: Columbia University Press, 760–70.
- Pieterse, Jan Nederveen (1995) 'Europe among other things: closure, culture, identity', in K. von Benda-Beckmann and M. Verkuyten (eds) *Nationalism, Ethnicity and Cultural Identity in Europe*, Utrecht: ERCOMER, 71–88.
- Pinard, Maurice and Hamilton, Richard (1984) 'The class bases of the Quebec independence movement: conjectures and evidence', *Ethnic and Racial Studies*, 7, 1, 19–54.
- Pinsker, Leo (1932) [1882] *AutoEmancipation*, trans. D. S. Blandheim, ed. A. S. Super, London.
- Pinson, Koppel (1935) *A Bibliographical Introduction to Nationalism*, New York: Columbia University Press.
- Plamenatz, John (1976) 'Two types of nationalism', in Eugene Kamenka (ed.) *Nationalism: The Nature and Evolution of an Idea*, London: Edward Arnold, 22–36.
- Poggi, Gianfranco (1978) *The Development of the Modern State*, London: Hutchinson.
- Poliakov, Leon (1974) *The Aryan Myth*, New York: Basic Books.
- Portal, Roger (1969) *The Slavs: A Cultural Historical Survey of the Slavonic Peoples*, trans. Patrick Evans, London: Weidenfeld and Nicolson.
- Porter, Roy and Teich, Mikulas (eds) (1988) *Romanticism in National Context*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Posen, Barry (1993) 'The security dilemma and ethnic conflict', *Survival*, 35, 1, 27–47.
- Preece, Jennifer Jackson (1997) 'Minority rights in Europe from Westphalia to Helsinki', *Review of International Studies*, 23, 75–92.
- Pye, Lucian (1962) *Politics, Personality and Nation-Building: Burma's Search for Identity*, New Haven CT and London: Yale University Press.
- Pynsent, Robert (1994) *Questions of Identity: Czech and Slovak Ideas of Nationality and Personality*, Budapest, London and New York: Central European University Press.
- Ramet, Pedro (ed.) (1989) *Religion and Nationalism in Soviet and East European Politics*, Durham NC and London: Duke University Press.
- Ranum, Orest (ed.) (1975) *National Consciousness, History and Political Culture in Early Modern Europe*, Baltimore MD: Johns Hopkins University Press.
- Raun, Toivo (1987) *Estonia and the Estonians*, Stanford CA: Hoover Press Institution.

- Reece, J. (1979) 'Internal colonialism: the case of Brittany', *Ethnic and Racial Studies*, 2, 3, 275–92.
- Reiss, H. S. (ed.) (1955) *The Political Thought of the German Romantics, 1793–1815*, Oxford: Blackwell.
- Renan, Ernest (1882) *Qu'est-ce qu'une Nation?*, Paris: Calmann-Lévy.
- Rex, John and Mason, David (eds) (1988) *Theories of Ethnic and Race Relations*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Reynolds, Susan (1983) 'Medieval *origines gentium* and the community of the realm', *History*, 68, 375–90.
- (1984) *Kingdoms and Communities in Western Europe, 900–1300*, Oxford: Clarendon Press.
- Reynolds, Vernon (1980) 'Sociobiology and the idea of primordial discrimination', *Ethnic and Racial Studies*, 3, 3, 303–15.
- Riall, Lucy (1994) *The Italian Risorgimento*, London and New York: Routledge.
- Richmond, Anthony (1984) 'Ethnic nationalism and post-industrialism', *Ethnic and Racial Studies*, 7, 1, 4–18.
- Riekman, Sonja Puntcher (1997) 'The myth of European unity', in Geoffrey Hosking and George Schöpflin (eds) *Myths and Nationhood*, London: Macmillan, 60–71.
- Ringrose, Marjorie and Lerner, Adam (eds) (1993) *Reimagining the Nation*, Buckingham: Open University Press.
- Roberts, Michael (1993) 'Nationalism, the past and the present: the case of Sri Lanka', *Ethnic and Racial Studies*, 16, 1, 133–66.
- Robinson, Francis (1979) 'Islam and Muslim separation', in David Taylor and Malcolm Yapp (eds) *Political Identity in South Asia*, Dublin: Curzon Press, 78–112.
- Rokkan, Stein, Saelen, K. and Warmbrunn, J. (1972) 'Nation-Building', *Current Sociology*, 19, 3, The Hague: Mouton.
- Rosdolsky, R. (1964) 'Friedrich Engels und das Problem der "Geschichtslosen Völker"', *Archiv für Sozialgeschichte*, 4, 87–282.
- Rosenblum, Robert (1967) *Transformations in Late Eighteenth Century Art*, Princeton NJ: Princeton University Press.
- Rostow, W. W. (1960) *The Stages of Economic Growth*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Rotberg, Robert (1967) 'African nationalism: concept or confusion?', *Journal of Modern African Studies*, 4, 1, 33–46.
- Sakai, R. A. (ed.) (1961) *Studies on Asia*, Lincoln NE: University of Nebraska Press.
- Sarkisyanz, Emmanuel (1964) *Buddhist Backgrounds of the Burmese Revolution*, The Hague: Martinus Nijhoff.
- Saul, John (1979) *State and Revolution in East Africa*, London: Heinemann.
- Saunders, David (1993) 'What makes a nation a nation? Ukrainians since 1600', *Ethnic Groups*, 10, 1–3, 101–24.
- Scheuch, Erwin (1966) 'Cross-national comparisons with aggregate data', in Richard Merritt and Stein Rokkan (eds) *Comparing Nations: The Use of Quantitative Data in Cross-National Research*, New Haven CT: Yale University Press.

- Schlesinger, Philip (1987) 'On national identity: some conceptions and misconceptions criticised', *Social Science Information*, 26, 2, 219–64.
- (1991) *Media, State and Nation: Political Violence and Collective Identities*, London: Sage.
- (1992) 'Europe – a new cultural battlefield?', *Innovation*, 5, 1, 11–23.
- Schnapper, Dominique (1997) 'Beyond the opposition: "civic" nation versus "ethnic" nation', *ASEN Bulletin*, 12, Winter, 4–8.
- Schöpflin, George (1995) 'Nationalism and ethnicity in Europe, East and West', in Charles Kupchan (ed.) *Nationalism and Nationalities in the New Europe*, Ithaca NY and London: Cornell University Press.
- Scott, George Jnr (1990) A resynthesis of primordial and circumstantialist approaches to ethnic group solidarity: towards an explanatory model', *Ethnic and Racial Studies*, 13, 2, 148–71.
- Seal, Anil (1968) *The Emergence of Indian Nationalism*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Seltzer, Robert (1980) *Jewish People, Jewish Thought*, New York: Macmillan.
- Seton-Watson, Hugh (1960) *Neither War, Nor Peace*, London: Methuen.
- (1965) *Nationalism, Old and New*, Sydney: Sydney University Press.
- (1977) *Nations and States*, London: Methuen.
- Shafer, Boyd (1938) 'Bourgeois nationalism in the Pamphlets on the eve of the Revolution', *Journal of Modern History*, 10, 31–50.
- (1955) *Nationalism: Myth and Reality*, New York: Harcourt, Brace.
- Shaheen, S. (1956) *The Communist Theory of Self-determination*, The Hague: Van Hoeve.
- Sheffer, Gabriel (ed.) (1986) *Modern Diasporas and International Politics*, London: Croom Helm.
- Shils, Edward (1957) 'Primordial, personal, sacred and civil ties', *British Journal of Sociology*, 7, 13–45.
- (1960) 'The intellectuals in the political development of the new states', *World Politics*, XII, 3, 329–68.
- (1995) 'Nation, nationality, nationalism and civil society', *Nations and Nationalism*, I, 1, 93–118.
- Shimoni, Gideon (1995) *The Zionist Ideology*, Hanover and London: Brandeis University Press.
- Simmel, George (1964) *The Sociology of George Simmel*, ed. Kurt Wolff, New York: Free Press.
- Singleton, Fred (1985) *A Short History of the Yugoslav Peoples*, Cambridge: Cambridge University Press.
- (1989) *A Short History of Finland*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Sluga, Glenda (1998) 'Identity, gender and the history of European nations and nationalisms', *Nations and Nationalism*, 4, 1, 87–111.
- Smart, Barry (1993) *Postmodernity*, London and New York: Routledge.
- Smelser, Neil (1962) *Theory of Collective Behaviour*, London: Routledge and Kegan Paul.
- Smith, Anthony D. (1973a) 'Nationalism, a trend report and annotated bibliography', *Current Sociology*, 21, 3, The Hague: Mouton.

- (1973b) *The Concept of Social Change*, Boston MA and London: Routledge and Kegan Paul.
- (1973c) 'Nationalism and religion: the role of reform movements in the genesis of Arab and Jewish nationalisms', *Archives de Sociologie des Religions*, 9, 35–55.
- (ed.) (1976) *Nationalist Movements*, London: Macmillan.
- (1979) *Nationalism in the Twentieth Century*, Oxford: Martin Robertson.
- (1981a) *The Ethnic Revival in the Modern World*, Cambridge: Cambridge University Press.
- (1981b) 'War and ethnicity: the role of warfare in the formation, self-images and cohesion of ethnic communities', *Ethnic and Racial Studies*, 4, 4, 375–97.
- (1983a) [1971] *Theories of Nationalism*, 2nd edn, London: Duckworth, and New York: Holmes and Meier.
- (1983b) 'Nationalism and classical social theory', *British Journal of Sociology*, XXXIV, 1, 19–38.
- (1984a) 'National identity and myths of ethnic descent', *Research in Social Movements, Conflict and Change*, 1, 95–130.
- (1984b) 'Ethnic persistence and national transformation', *British Journal of Sociology*, XXXV, 4, 452–61.
- (1986a) *The Ethnic Origins of Nations*, Oxford: Blackwell.
- (1986b) 'State-making and nation-building', in John Hall (ed.) *States in History*, Oxford: Blackwell, 228–63.
- (1988) 'The myth of the "modern nation" and the myths of nations', *Ethnic and Racial Studies*, 11, 1, 1–26.
- (1989) 'The origins of nations', *Ethnic and Racial Studies*, 12, 3, 340–67.
- (1990) 'Towards a Global Culture?', in Michael Featherstone (ed.) *Global Culture: Nationalism, Globalisation and Modernity*, London, Newbury Park CA and Delhi: Sage, 171–91.
- (1991) *National Identity*, Harmondsworth: Penguin.
- (1992a) 'Chosen peoples: why ethnic groups survive', *Ethnic and Racial Studies*, 15, 3, 436–56.
- (ed.) (1992b) *Ethnicity and Nationalism: International Studies in Sociology and Social Anthropology*, volume LX, Leiden: Brill.
- (1992c) 'Nationalism and the historians', in A. D. Smith (ed.) *Ethnicity and Nationalism: International Studies in Sociology and Social Anthropology*, volume LX, Leiden: Brill, 58–80.
- (1992d) 'National identity and the idea of European unity', *International Affairs*, 68, 1, 55–76.
- (1993) 'Art and nationalism in Europe', in J. C. H. Blom *et al.* (eds) *De Om-macht van het Grote: Cultuur in Europa*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 64–80.
- (1994) 'The problem of national identity: ancient, medieval and modern?', *Ethnic and Racial Studies*, 17, 3, 375–99.
- (1995a) *Nations and Nationalism in a Global Era*, Cambridge: Polity Press.

- (1995b) 'Gastronomy or geology? The role of nationalism in the reconstruction of nations', *Nations and Nationalism*, 1, 1, 3–23.
- (1995c) 'Zionism and diaspora nationalism', *Israel Affairs*, 2, 2, 1–19.
- (1996a) 'The resurgence of nationalism? Myth and memory in the renewal of nations', *British Journal of Sociology*, XLVII, 4, 575–98.
- (1996b) 'Memory and modernity: reflections on Ernest Gellner's theory of nationalism', *Nations and Nationalism*, 2, 3, 371–88.
- (1997a) 'Nations and ethnoscape', *Oxford International Review*, 8, 2, 11–18.
- (1997b) 'The Golden Age and national renewal', in Geoffrey Hosking and George Schöpflin (eds) *Myths and Nationhood*, London: Macmillan, 36–59.
- Smith, Donald (ed.) (1974) *Religion and Political Modernisation*, New Haven CT: Yale University Press.
- Smith, Wilfred (1965) *Modernisation of a Traditional Society*, London: Asia Publishing House.
- Smootha, Sammy (1990) 'Minority status in an ethnic democracy: the status of the Arab minority in Israel', *Ethnic and Racial Studies*, 13, 3, 389–413.
- Smootha, Sammy and Hanf, Theodor (1992) 'The diverse modes of conflict regulation in deeply divided societies', in A. D. Smith (ed.) *Ethnicity and Nationalism: International Studies in Sociology and Social Anthropology*, volume LX, Leiden: Brill, 26–47.
- Snyder, Jack (1993) 'Nationalism and the crisis of the post-Soviet state', *Survival*, 35, 1, 5–26.
- Snyder, Louis (1954) *The Meaning of Nationalism*, New Brunswick: Rutgers University Press.
- South Bank Centre (1989) *La France: Images of Woman and Ideas of Nation, 1789–1989*, London: South Bank Centre.
- Soysal, Yasemin (1994) *Limits of Citizenship: Migrants and Post-national Membership in Europe*, Chicago IL: University of Chicago Press.
- (1996) 'Changing citizenship in Europe: remarks on post-national membership and the national state', in David Cesarani and Mary Fulbrook (eds) *Citizenship, Nationality and Migration in Europe*, London and New York: Routledge.
- Spillman, Lyn (1997) *Nation and Commemoration: Creating National Identities in the United States and Australia*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Stack, J. F. (ed.) (1986) *The Primordial Challenge: Ethnicity in the Contemporary World*, New York: Greenwood Press.
- Stalin, Joseph (1936) *Marxism and the National and Colonial Question*, London: Lawrence and Wishart.
- Stone, John (ed.) (1979) 'Internal colonialism', *Ethnic and Racial Studies*, 2, 3.
- Subaratnam, Lakshmanan (1997) 'Motifs, metaphors and mythomoteurs: some reflections on medieval South Asian ethnicity', *Nations and Nationalism*, 3, 3, 397–426.
- Sugar, Peter (ed.) (1980) *Ethnic Diversity and Conflict in Eastern Europe*, Santa Barbara CA: ABC-CLIO.
- Tagil, Sven (ed.) (1995) *Ethnicity and Nation Building in the Nordic World*, London: Hurst & Co.

- Talmon, Jacob (1980) *The Myth of the Nation and the Vision of Revolution*, London: Seeker and Warburg.
- Tamir, Yael (1993) *Liberal Nationalism*, Princeton NJ: Princeton University Press.
- Taylor, David and Yapp, Malcolm (eds) (1979) *Political Identity in South Asia*, Dublin: Curzon Press.
- Tcherikover, Victor (1970) *Hellenistic Civilisation and the Jews*, New York: Athenaeum.
- Thaden, E. C. (1964) *Conservative Nationalism in Nineteenth-Century Russia*, Seattle WA: University of Washington Press.
- Thompson, Leonard (1985) *The Political Mythology of Apartheid*, New Haven CT and London: Yale University Press.
- Tilly, Charles (ed.) (1975) *The Formation of National States in Western Europe*, Princeton NJ: Princeton University Press.
- Tipton, Leon (ed.) (1972) *Nationalism in the Middle Ages*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Tivey, Leonard (ed.) (1980) *The Nation-State*, Oxford: Martin Robertson.
- Tomlinson, John (1991) *Cultural Imperialism: A Critical Introduction*, London: Pinter.
- Tonkin, Elisabeth, McDonald, Maryon and Chapman, Malcolm (eds) (1989) *History and Ethnicity*, London and New York: Routledge.
- Trevor-Roper, Hugh (1962) *Jewish and Other Nationalisms*, London: Weidenfeld and Nicolson.
- Tudor, Henry (1972) *Political Myth*, London: Pall Mall Press.
- Ullendorff, Edward (1973) *The Ethiopians: An Introduction to the Country and People*, 3rd edn, London: Oxford University Press.
- van den Berghe, Pierre (1978) 'Race and ethnicity: a sociobiological perspective', *Ethnic and Racial Studies*, 1, 4, 401–11.
- (1979) *The Ethnic Phenomenon*, New York: Elsevier.
- (1988) 'Ethnicity and the sociobiology debate', in John Rex and David Mason (eds) *Theories of Ethnic and Race Relations*, Cambridge: Cambridge University Press, 246–63.
- (1995) 'Does race matter?', *Nations and Nationalism* I, 3, 357–68.
- van der Veer, Peter (1994) *Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India*, Berkeley CA: University of California Press.
- Verdery, Katherine (1979) 'Internal colonialism in Austro-Hungary', *Ethnic and Racial Studies*, 1, 3, 378–99.
- Viroli, Maurizio (1995) *For Love of Country: An Essay on Nationalism and Patriotism*, Oxford: Clarendon Press.
- Vos, George de and Romanucci-Rossi, Lola (eds) (1975) *Ethnic Identity: Cultural Continuities and Change*, Chicago IL: University of Chicago Press.
- Walby, Sylvia (1992) 'Woman and nation', in A. D. Smith (ed.) *Ethnicity and Nationalism: International Studies in Sociology and Social Anthropology*, volume LX, Leiden: Brill, 81–100; reprinted in Gopal Balakrishnan (ed.) (1996) *Mapping the Nation*, London and New York: Verso, 235–54.
- Walek-Czernecki, M. T. (1929) 'Le rôle de la nationalité dans l'histoire de

- l'antiquité', *Bulletin of the International Committee of the Historical Sciences*, 2, 2, 305–20.
- Waley, Daniel (1969) *The Italian City-Republics*, London: Weidenfeld and Nicolson.
- Wallerstein, Immanuel (1965) 'Elites in French-speaking West Africa', *Journal of Modern African Studies*, 3, 1–33.
- Wallman, Sandra (1988) 'Ethnicity and the boundary process in context', in John Rex and David Mason (eds) *Theories of Ethnic and Race Relations*, Cambridge: Cambridge University Press, 226–45.
- Walzer, Michael (1985) *Exodus and Revolution*, New York: Basic Books.
- Warner, Marina (1983) *Joan of Arc*, Harmondsworth: Penguin.
- Warren, Bill (1980) *Imperialism, Pioneer of Capitalism*, New York: Monthly Review Press.
- Webb, Keith (1977) *The Growth of Nationalism in Scotland*, Harmondsworth: Penguin.
- Weber, Eugene (1979) *Peasants into Frenchmen: The Modernisation of Rural France, 1870–1914*, London: Chatto and Windus.
- (1991) *My France: Politics, Culture, Myth*, Cambridge MA: Harvard University Press.
- Weber, Max (1948) *From Max Weber: Essays in Sociology*, eds Hans Gerth and C. Wright Mills, London: Routledge and Kegan Paul.
- (1968) *Economy and Society*, 3 vols, New York: Bedminster Press.
- Webster, Bruce (1997) *Medieval Scotland: The Making of an Identity*, Basingstoke: The Macmillan Press.
- Webster, Leslie and Backhouse, Jane (eds) (1991) *The Making of England: Anglo-Saxon Art and Culture, AD 600–900*, London: British Museum Press.
- Wiberg, Hakan (1983) 'Self-determination as an international issue', in Ioann Lewis (ed.) *Nationalism and Self-Determination in the Horn of Africa*, London: Ithaca Press, 43–65.
- Williams, Colin (1977) 'Non-violence and the development of the Welsh Language Society, 1962–74', *Welsh Historical Review*, 8, 26–55.
- (ed.) (1982) *National Separatism*, Cardiff: University of Wales Press.
- Wilmsen, Edwin and McAllister, Patrick (eds) (1996) *The Politics of Difference: Ethnic Premises in a World of Power*, Chicago IL and London: University of Chicago Press.
- Winter, Jay (1995) *Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Wiseman, D. J. (ed.) (1973) *Peoples of the Old Testament*, Oxford: Clarendon Press.
- Worsley, Peter (1964) *The Third World*, London: Weidenfeld and Nicolson.
- Yoshino, Kosaku (1992) *Cultural Nationalism in Contemporary Japan*, London and New York: Routledge.
- Young, Crawford (1985) 'Ethnicity and the colonial and post-colonial state', in Paul Brass (ed.) *Ethnic Groups and the State*, London: Croom Helm, 57–93.
- Yuval-Davis, Nira (1993) 'Gender and nation', *Ethnic and Racial Studies*, 16, 4, 621–32.
- (1997) *Gender and Nation*, London: Sage.

- Yuval-Davis, Nira and Anthias, Floya (eds) (1989) *Woman-Nation-State*, London: Sage.
- Zacek, Joseph (1969) 'Nationalism in Czechoslovakia', in Peter Sugar and Ivo Lederer (eds) *Nationalism in Eastern Europe*, Seattle WA and London: University of Washington Press, 166–206.
- Zartmann, William (1964) *Government and Politics in Northern Africa*, New York: Praeger.
- Zenner, Walter (1991) *Minorities in the Middle: A Cross-Cultural Analysis*, Albany NY: State University of New York Press.
- Zernatto, Guido (1944) 'Nation: the history of a word', *Review of Politics*, 6, 351–66.
- Zerubavel, Yael (1995) *Recovered Roots: Collective Memory and the Mating of Israeli National Tradition*, Chicago IL and London: University of Chicago Press.
- Zubaida, Sami (1978) 'Theories of nationalism', in G. Littlejohn, B. Smart, J. Wakeford and N. Yuval-Davis (eds) *Power and the State*, London: Croom Helm.
- Актон, Лорд (2002) «Принцип национального самоопределения», *Нации и национализм*, Москва: Праксис, 26–51.
- Андерсон, Бенедикт (2001) *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*, Москва: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле.
- Бауэр, Отто (2002) «Национальный вопрос и социал-демократия», *Нации и национализм*, Москва: Праксис, 52–120.
- Бройи, Джон (2002) «Подходы к исследованию национализма», *Нации и национализм*, Москва: Праксис, 201–235.
- Вебер, Макс (1990) *Избранные произведения*, Москва: Прогресс.
- Геллнер, Эрнест (1991) *Нации и национализм*, Москва: Прогресс.
- Горовитц, Дональд (2000) «Теория межэтнического конфликта», *Этнос и политика: Хрестоматия*, Москва: Издательство УРАО, 227–231.
- Дюркгейм, Эмиль (1991) *О разделении общественного труда. Метод социологии*, Москва: Наука.
- (1996) «Коллективный ритуал», *Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии*, Москва: Аспект Пресс, 438–441.
- Лейпхарт, Аренд (1997) *Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное исследование*, Москва: Аспект Пресс.
- Лессинг, Готхольд (1995) «Воспитание человеческого рода», *Лики культуры: Альманах, I*, Москва: Юрист, 479–499.
- Мильтон, Джон (2001) «О свободе печати (Ареопагитика)», *История печати: Антология*, Москва: Аспект Пресс, 7–64.
- Поляков, Лев (1996) *Арийский миф. Исследование истоков расизма*, Санкт-Петербург: Евразия.
- Сталин, И. В. (1936) *Марксизм и национально-колониальный вопрос*, Москва: Партиздат ЦК ВКП(б).
- Уолби, Сильвия (2002) «Женщина и нация», *Нации и национализм*, Москва: Праксис, 308–331.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Хечтер, Майкл (2000) «Внутренний колониализм», *Этнос и политика: Хрестоматия*, Москва: Издательство УРАО, 202–210.
- Хобсбаум, Эрик (1998) *Нации и национализм после 1780 года*, Санкт-Петербург: Алетейя.
- (2002) «Принцип этнической принадлежности и национализм в современной Европе», *Нации и национализм*, Москва: Праксис, 332–346.
- Чаттерджи, Парга (2002) «Воображаемые сообщества: кто их воображает?», *Нации и национализм*, Москва: Праксис, 283–296.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «ГИЛЕЯ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ
«ЧАС 4. СОВРЕМЕННАЯ МИРОВАЯ
АНТИБУРЖУАЗНАЯ МЫСЛЬ»

ВЫШЛИ:

Субкоманданте Маркос

Другая революция: Сапатисты против нового мирового
порядка

Хахим-Бей

Хаос и анархия: Революционная сотериология

Исраэль Шамир

Хозяева Дискурса: Американско-израильский
терроризм

Эбби Хоффман

Сопри эту книгу! Как выживать и сражаться в стране по-
лицейской демократии

Революционные Вооруженные Силы Колумбии

FARC-EP: Исторический очерк

ГОТОВЯТСЯ:

«Красные бригады»

Опыт революционной борьбы в Италии

Кристоф Агитон

Краткий курс истории антиглобализма

Ульрика Майнхоф

Посягательство на человеческое достоинство

КНИГИ СЕРИИ ВСЕГДА МОЖНО КУПИТЬ

в магазине «ГИЛЕЯ»

Москва, Нахимовский проспект, 51/21

(помещение ИНИОН РАН)

тел. (095)332-47-28, e-mail: gileia@mail.ru

а также

в просветительском пункте «ФАЛАНСТЕР»

Москва, ст. метро «Пушкинская», Б.Козихинский
пер., 10 (вход в арке)

тел. 504-47-95, www.falanster.ru

В издательской группе «ПРАКСИС»
вышли в свет:

ПЬЕР БУРДЬЕ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ МАРТИНА
ХАЙДЕГГЕРА

В этой книге известный французский социолог пытается понять проблему взаимоотношений интеллектуала и власти на примере анализа неоднозначной политической карьеры одного из крупнейших философов XX столетия. Что привело М. Хайдеггера в ряды национал-социалистического движения? Какова связь между философскими взглядами и политическим действием? От этих вопросов Бурдьё переходит к более общим проблемам функционирования поля интеллектуального производства и вовлечения интеллектуала в политику.

В издательской группе «ПРАКСИС»
вышли в свет:

МАКС ВЕБЕР
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
(1895–1919)

Книга представляет собой сборник работ немецкого социолога. Статьи и выступления Макса Вебера, посвященные проблемам политики, несмотря на их актуальность, прежде никогда не публиковались в России и были известны узкому кругу специалистов. Между тем, вряд ли можно надеяться на выработку полноценного теоретического понимания происходящих в мире и нашей собственной стране политических процессов, не имея представления о подходе к их исследованию одного из наиболее выдающихся создателей современной политической теории. Данное издание ставит своей задачей восполнение этого досадного пробела.

Энтони Д. Смит

**НАЦИОНАЛИЗМ И МОДЕРНИЗМ
КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ
НАЦИЙ И НАЦИОНАЛИЗМА**

Перевод с англ. *А. В. Смирнов, Ю. М. Филиппов,
Э. С. Загашвили, И. Окунева*

Общая редакция *А. В. Смирнов*

Оформление обложки *А. Кулагин*
Оригинал-макет *А. В. Иванченко*
Корректор *М. А. Костина*

Издательская группа «Праксис»
ИД № 02945 от 03.10.2000

Подписано в печать 24.11.2003. Формат 60 × 90/16
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,0
Тираж 2000 экз. Заказ 2321

ООО «Издательская и консалтинговая группа „ПРАКСИС“»
127486, Москва, Коровинское шоссе, д. 9, корп. 2
<http://www.politizdat.ru>
<http://www.praxis.su>
e-mail: praxis@hotbox.ru

Отпечатано в ОАО «Типография „Новости“»
105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 46

ISBN 5-901574-39-7



9 785901 574393

Одно-единственное явление красной линией проходит через всю новейшую историю – от падения Бастилии до падения Берлинской стены. Возникая спорадически в Англии и Голландии шестнадцатого и семнадцатого веков, оно расцветает во Франции и Америке в конце восемнадцатого века. Многократно разделяя страны и народы, оно охватывает Центральную и Латинскую Америки, выплескивается через Южную, Центральную, Восточную, а затем и Северную Европу в Россию, Индию и на Дальний Восток, а затем продолжает свой путь во многих обликах по Ближнему Востоку, Африке, Австралии и Океании. Следом за ним идут протест и террор, война и революция, объединение немногих и изгнание многих. Наконец, по мере того, как мир развивается, эта красная линия становится прерывистой, фрагментированной, исчезающей. Имя этому явлению – национализм, и его история является той тонкой нитью, которая связывает и одновременно разделяет народы в современном мире. Несмотря на то, что национализм существует во многих формах, он все равно остается этой связующей нитью. История развития современного мира – это история возникновения и упадка роста и угасания наций и национализма

Энтони Смит